

К СЕБЕ ВОЗВРАЩАЮСЬ ИЗДАЛЕКА... МАЙЯ ГАНИНА



---

МАЙЯ ГАНИНА



К СЕБЕ

ВОЗВРАЩАЮСЬ

ИЗДАЛЕКА . . .

---



МАЙЯ ГАНИНА

К СЕБЕ



ВОЗВРАЩАЮСЬ

ИЗДАЛЕКА . . .

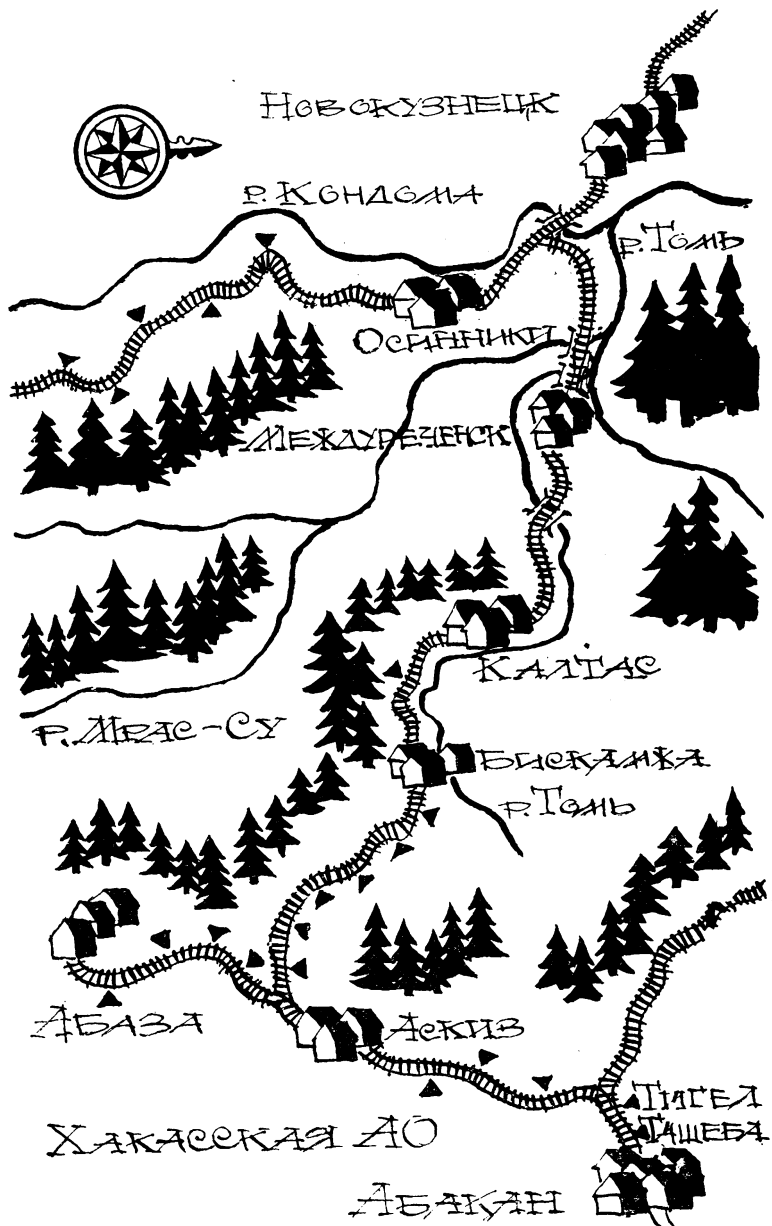
*Очерки*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1971

Книга Майи Ганиной о нашей необъятной земле, о ее людях. Писательница бывала на стройках Сибири, и на Памире, и на Командорских островах, на Камчатке, и на Байкале — в разных селениях и городах России, год от года открывая для себя новые берега, новых людей. Строители железных дорог, геологи, колхозники — каждый со своей судьбой, характером. С ними связана и авторская судьба. Искренне рассказывает Майя Ганина, как в поездках и встречах с новыми людьми менялось ее собственное мироощущение, росла потребность самой увидеть родное и испытать трудное, крепла непримиримость к фальши, безделью и равнодушию.

В рассветный час росой полны тюльпанов чаши,  
И тихий птичий стон ловлю я, прозвучавший;  
Вставайте... Належитесь под землей!  
Нам дан лишь час. Не упускайте часа!

*Пахлаван Махмуд*





# С ИБИРЬ, ГОДЫ 1954—1957

I

Т Е Я

Шесть дней ехала на поезде до Ачинска, потом, еще сутки, местным поездом до Абакана. Перезнакомилась со всеми, нараздавала адресов, просила непременно заходить в Москве. А что я видела до этого? Завод да заочное отделение Литинститута. Каждый новый человек, особенно здесь (здесь ведь все ездят люди бывалые, с биографией, таких я еще не встречала), кажется единственным в своем роде, страшно потерять его, непременно хочется дружить и дальше, слушать его рассказы — этим рассказам трудно верить, но я верю. Я и ожидала, что здесь все будет необыкновенным.

Это пятьдесят четвертый год, я только что окончила Литинститут, напечатала первую свою повесть в «Новом мире», там я выложила все, что было у меня за душой: завод, потом пионерлагерь, где одно лето была старшей вожатой, недавнее замужество, ребенок. Больше я ничего не знаю. Правда, есть еще моя военная тыловая юность, но об этом писать не хочется, слишком уж близко, потому кажется неинтересным. А потом мне все говорят, что надо писать посветлее: почему это, мол, вы ищете теневые стороны? Меня даже успели обругать в «Литературной газете» за мрачную точку

зрения на жизнь. Впрочем, эта ругань с меня как с гуся вода, пока еще так. Есть еще уверенность в себе, в том, что все будет, как надо, есть подпор под диафрагмой, желание двигаться...

И вот — еду. Первая моя командировка — куда? Конечно, в тайгу. Хотя все нормальные журналисты едут на целину: это первый целинный год. В Хакасии тоже есть целина, но я хочу в тайгу, в настоящую тайгу, хочу ездить верхом, ночевать у костра и прочее. Почему? А кровь, наверное, говорит, детская память о рассказах отца: он иркутянин, сибиряк в третьем поколении — прадед, когда-то в середине прошлого века, приехал на поселение с Украины в Сибирь. Ну вот и я еду в Сибирь, хотя она еще не стала модной темой, она станет такой через два года, когда поедет туда по комсомольскому призыву молодежь. А мне хочется мужественных, сильных героев, землепроходцев, как у Шишкова, хочется писать кондовую прозу с диалектизмами, прозу, которая бы густо пахла сибирской хвойной тайгой, Россией.

Дорога до Ачинска пролетела быстро: базарчики при станциях (на каждой станции свой говор), тут продают горячую картошку, соленые огурцы и грибы, мятую землянику в кулечках (листки выдраны из школьных тетрадей), топленое молоко, варенец. В Кирове продавали гармошки кустарного местного производства: очень большие, поменьше, совсем маленькие — кому какие надо. В Кунгуре гипсовые статуэтки, тоже местного производства: «Василий Теркин», «Хозяйка Медной горы», «Балерина», «Кавказец» — посеребренные, раскрашенные... Кроме меня, купили по статуэтке все пассажиры, на каждом столике стоит по две, по три. И гармошек накупили, особенно детских, теперь с утра до вечера только и слышно: «уйди — приди, уйди — приди»...

Названия станций: Шарья, Свеча, Юрга, Тайга — ничего, конечно, особенного, но у меня они отзываются сладко: то так, то эдак звучали они в рассказах отца. Еду в детство, еду к себе в Сибирь.

Абакан по-хакасски — медвежье ухо. Деревянный пыльный город, где множество лохматых собак, одна приличная улица с тополиной аллеей — тополя высокие,

но еще не сомкнулись вершинами. Когда я приеду в Абакан спустя десять лет, город разрастется, станет каменным, в тополиной аллее в самый жаркий солнечный день не будет видно солнца. Зато ходить по аллее станет рискованно: тополя сплошь усеяны грачиными и вороньими гнездами... Ну, а сейчас по немощеным улицам кустится толстолистая пикулька (вообще это вроде бы ирисы, но, возможно, я ошибаюсь: к моему приезду в Абакан пикулька всегда успевает отцвести), на базаре продают черемшу, жимолость и листовенническую серу для жевания. Я, конечно, пробую все, а серу покупаю в больших количествах: отец твердил, что у сибирячек белые зубы только оттого, что они постоянно жуют серу. Сера эта с виду похожа на ириски моего детства: коричневые плиточки, разделенные на квадратики,— порция. Сначала, когда возьмешь этот квадратик в рот, он трескается, как сургуч, да и вкусом от него не отличается. Но от тепла мягчеет, жуется бездумно — чуть горьковатый, чуть пахнет смолой. Впрочем, наверное, надо привыкнуть жевать серу сызмала, у людей неподготовленных (я имею в виду себя) от нее довольно быстро слезает эмаль... Местные огурцы почему-то очень горькие, а зеленый лук толстоперый, крупный и сладкий. Через месяц на обратном пути я попаду в Минусинск — тихий, в то время еще сохранивший свой купеческий сытый облик город, здесь нет почти никакой промышленности, в ресторанчиках вкусно и дешево кормят, рынок изобилует: таежный душистый мед, огромные помидоры — четыре рубля килограмм, а в Красноярске (полтора суток пути паромом) — двадцать рублей. Предприимчивые люди, а их в Минусинске много, возят помидоры в Красноярск, по этой причине попасть на очередной рейс довольно трудно. «Настоящих» яблок на рынке нет, но есть ранетки — терпко-сладкое маленькое сибирское яблоко, есть и местные арбузы! Мелкие, правда. Такое теплое местечко у бога за пазухой — словно бы и не Сибирь. Городок мне нравится: старые каменные, навек построенные дома, высокие заборы, чистые улочки, мощенные булыжником и каменными плитами. Тишина, ленивость... Приехав сюда в следующий раз, в шестидесятом году, я Минусинск не узнаю: рядом начала



строиться дорога Абакан — Тайшет, и городу словно вскрыли живот: растерзанный какой-то, растерянный, грязный, обросший временными постройками, кишащий техникой и людьми...

Ну вот, наконец-то в местном отделении Союза писателей мне находят провожатого, мы отправляемся с попутной обкомовской «Победой» в Верхнюю Тёю. Там хакасские поселки, лошади, тайга — все, о чем я мечтала.

Едем через Уйбатскую степь. Стучит взбрасываемый колесами машины гравий, дорогу перебегают суслики — рыжие, толстые, с черной полосой по спине. Далеко по горизонту идут синие, затянутые дымкой безлесные горы. Кучно, по пять-шесть плит, стоят могильники — плоские, грубо обработанные, из какого-то желтовато-серого камня — сланца, что ли? Иногда попадаются каменные бабы из серого песчаника — длинноголовые, плосколицые, безносые. Груды длинные, безобразные, животы отвислые, ноги короткие — или это они на коленях стоят? Нехороши бабочки, но ничего не поделаешь: от родителей не отказываются, — как-никак это наши дальние предки.

Когда проезжаем Хара-Таг — Черную гору, провожатый вспоминает легенду: у бабы угнали дочку замуж за монгола, она пошла через эту гору и привела ее обратно. За ними бросилась погоня, баба побежала, споткнулась, упала: на том месте — яма в горе; а дочка кинулась в речку, но не доплыла до берега, утонула. Речка так и называется Аскиз (Ахыз) — белая девушка.

Проехав от Аскиза еще километров пятьдесят, мы попадаем в Верхнюю Тёю. Тёя по-хакасски — узелок. Вероятно, потому так названо место, что сплелись тут в узелок три речки: Оты, Бейка и Тёя.

Здесь правление хакасского колхоза: нам дадут лошадей и еще одного проводника, и мы поедем дальше, в тайгу. Однако проходит три дня, прежде чем мы отправляемся в путь: у моего абаканского провожатого половина поселка родни, ну и, конечно, приезд городского родственника широко отмечается. Сначала пьют водку, после переходят на араку: ее перегоняют из кислого молока — и прямо тут же пьют, не дожидаясь, пока остынет. Мотаются верхом по степи, поюг

песни. Мне нравятся хакасские песни, в них нет восточного подвывания, они просто очень протяжные и грустные, напоминают чем-то настоящие сибирские песни.

...А-айан айда-ан

А-айа-ан...

Живут хакасы в обыкновенных избах — там есть стол, скамьи, кровать, сколоченные из досок. Грязь страшная. Рядом почти с каждой избой стоит юрта: в ней живут старики, летом там готовят.

Юрта круглая, стены деревянные, крыша из корья, сверху — круглое отверстие для выхода дыма. Внутри, по стенам, — полки, а на них, к моему великому удивлению, ровненько наставлены пустые бутылки: из-под шампанского, водки, вина, даже из-под чернил. Наверное, для красоты. Как и на Востоке, женщинам в юрте полагалось сидеть на одной половине, мужчинам — на другой. Обычай, конечно, теперь выполняются не строго, но молодые невестки, как правило, все-таки сидят на женской половине.

Одеваются хакаски довольно красиво: очень широкое длинное платье — кегенек, собранное у горла и сзади на спине в складки, рукава длинные, тоже присобранные на плечах. Платье яркое, одноцветное, из какой-нибудь плотной бумажной ткани, а воротник, вставки в плечах вроде погон и манжеты — из тисненого китайского шелка. Платок повязывают низко на лоб, концами назад, а из-под платка — две черные косы, заплетенные на конце в одну.

Ездят верхом они как ходят. Тут говорят так: жена родила сына, муж подводит коня. И вправду, двух-трехлетние ребята уже ездят верхом: с дерева, с порога вскарабкаются на неоседланную, невзнузданную лошадь и катаются. Свалился — ничего страшного. Ездят верхом все, даже беременные женщины, а как же? Расстояния в тайге большие, пешком идти долго. Существовали даже специальные седла для беременных, с выемкой для живота. Седла тут деревянные, с высокой передней лукой. Мне показывали монгольские седла, у которых обе луки очень высокие, — они как бы подхватывают тебя, поэтому манера ездить у монголов

совсем иная, чем у хакасов, тувинцев, не говоря уж о казацкой посадке. Монголы держатся очень прямо на любом галопе. Я видела на границе Тувы и Монголии, как идет по степи такой всадник: стелется в бешеном галопе конь — и, словно вросшая в него, прямая фигура человека.

Меня пригласили в юрту ужинать. Там на очаге вкохтала в котле пѳтха — мука, сваренная на сметане, густо сдобренная маслом. Кисловатая чуть-чуть от сметаны, очень сытная и довольно вкусная. Сначала хозяйка подала деревянный жбанчик с медовухой, старик хозяин стал разливать ее деревянным черпаком. Стакан поднесли мне первой, как гостье, потом он обошел всех — и снова вернулся ко мне. Медовуха, как и наша брага, готовится на дрожжах, только вместо сахара кладется мед — терпкий, припахивающий медом и дрожжами, не очень сладкий, вкусный напиток, достаточно хмельной. Затем хозяйка поставила две деревянные чашки: в одной черемша со сметаной, в другой — луговая мелкая клубника со сметаной. Каждому была дана алюминиевая ложка, и все дружно полезли ложками в эти чашки, потом стали есть потху. После хозяйка принесла большую сковороду с жареным налимом и хариусами. Запивали все чаем со сметаной. Когда я привыкла, мне даже стал нравиться такой чай, кисловатый, жирный — вполне заменяет обед, если долго ездил по тайге, а угостить тебя в юрте, куда ты заехал, кроме чая и лепешек, нечем...

Прежде чем налить первый стакан медовухи и прежде чем съесть первую ложку потхи, хозяин плеснул полчерпака в огонь. И усмехнулся неловко, взглянув на меня: старый, мол, обычай...

А я что? Я полна сейчас подобострастной доброжелательности к этим людям, мне нравится пить с ними из одного стакана и есть ложкой из одной чашки, нравятся их обычай — все нравится, потому что они меня, городскую неумеку, приняли с добром, угощают, пытаются объяснить то, что непонятно, хотя русского языка тут почти никто не знает, а провожатый мой пьян вусмерть... Тем не менее как-то мы объясняемся, существует еще и международный язык жестов...

Рыбу ловили мальчишки специально, чтобы угостить

меня. Хариусов — удочкой, а налимов — прямо руками в камнях под мостом через Тёю. И ту и другую рыбу я вижу и ем впервые. Хариус голубовато-серый, с полосками вдоль туловища, плавник — голубоватый с красными пятнышками. Говорят, это сибирская форель — ее близкий родственник, во всяком случае. Но до форели хариусу, конечно, далеко, хотя рыба вкусная. После, за десять лет скитания по сибирским дорогам, я ее съела, наверное, центнер — и жареная вкусная, и уха из нее отличная. Налим — темно-зеленый, под цвет речных замшелых камней, плоскобрюхий, широкомордый, усатый. Тоже великолепная рыба. Выбросив налима на берег, мальчишки тут же разрывают ему что-то под горлом: «А то печенку сосет, ничего не остается!..» Белые камешки, что в мозгу налима, пришивают к рубашке беспокойного ребенка, чтобы лучше спал. Наверное, по тому подобию, что налим сам вроде бы сутками спит, ну и дети спать будут. А щука считается рыбой, помогающей от полового бессилия, молодые парни ее есть стесняются.

Надо сказать, что тут еще в ходу свои способы лечения болезней. Корь лечат какими-то белыми древесными червяками, жарят на противне, обрывают головки и дают больным детям. Провожатый мой рассказывал, что и его в детстве врачевали подобным образом, червячки эти сладкие, как мед, ел он их с удовольствием. Существует тут действительно прекрасное народное лекарство — сухая медвежья желчь. Желчный пузырь убитого медведя вешают где-нибудь недалеко от печки, он высыхает, в итоге получается мешочек с твердой черной массой, ее разводят в теплой воде и дают больному. Лечат ею от простуды, от воспаления легких, говорят, будто она даже вылечивает рак. Последнее — вряд ли, но от простуды она помогает отлично, сама пила. Сбои и порезы у лошадей лечат дождевыми червями: натомят в печке в бутылке — и мажут. У одной лошади копыто сходило, вылечили. А вообще здесь очень распространен зоб, особенно у старух, — иной раз словно мешок болтается на высохшей шее: речки тут горные, вода фильтруется через известняки, йода в ней нет.

Пища, насколько я могу судить, у хакасов преиму-

щественно молочная и мучная. Молоко, сметана, айран — нечто вроде жирной простокваши, его пьют вместо воды в жаркую погоду, он хорошо утоляет жажду. Потом арча — казени, остающийся от перегонки кислого молока на самогон. Его сушат на солнце, запасают впрок, и зимой варят с ним суп или едят с картошкой.

Я три дня брожу по поселку, заговариваю с ребятишками: в каждой семье по пять, по шесть, мал мала меньше. Они предоставлены сами себе, как и обычно в деревнях, поэтому очень самостоятельны. Мне это особенно заметно: дома осталась трехлетняя дочка — нормальный городской ребенок, который умрет с голоду, если вы его не накормите. Ну, а маленькие хакасы, еще не начав ходить, хорошо ориентируются в жизни, все достанут, поедят без напоминаний, доберутся и до того, что мать спрячет. И в степь одни ходят, и купаются в речке, и играют сами в какие-то свои игры. Одежды на них — одни штанишки на помочах с разрезом внизу, чтобы не затруднять родителей сменой и частой стиркой белья. Огромные лохматые хакасские собаки, происшедшие неизвестно от какой породы, в тесной дружбе с ребятишками. Бегают за ними везде, играют, не растеряются и кусок выхватить у задумавшегося малыша. Едят эти собаки все, даже то, что есть вроде бы и не надо, зато сахар не едят: видно, не знают, что это такое. Понюхают брошенный кусок — и отойдут равнодушно, либо зарычат на тебя — наверное, думают, камнем швырнула.

Ребятишки и парни постарше спрашивают меня о Москве, но я чувствую, что представить им ее очень трудно. Во-первых, плохо понимают по-русски, а во-вторых, большинство из них даже в Аскизе не бывали, не говоря про Абакан — не с чем сравнивать.

Я уже выучила по-хакасски с десяток слов: изен-охтар — здравствуйте; амчжох-тар — до свидания (то же самое говорят, выпивая); чахсы — хорошо; азран — ешь; узу — спи; удыр — садись; чарам-литра — пол-литра; тур — вставай. Да еще знаю такое смешное слово: «харан-дас». Буквально оно переводится: «камень в животе», а значит «брат». Происхождение его, конечно, легко домыслить...

Наконец я поднимаю бунт: надо мной нависла реальная угроза закончить командировку в этом колхозе... Провожатый мой долгое время не может понять, чего мне от него надо, потом в какое-то утро у него наступает просветление, он идет к председателю, ловят трех лошадей, разыскивают деревянные, со слезшей обшивкой (на них ездил, вероятно, еще Батый) седла, старые бронзовые стремена с каким-то сложным полустершимся рисунком. Уздечки связаны веревками, стремена прикручены проволокой (потом я в кровь обдеру себе этой проволокой ноги), но мне безразлично все, лишь бы поскорей уехать.

— Ты не умеешь ездить на лошади? — удивляется мой приятель-хакасенок. — А как же ты едешь в Москве?

— На метро... — смущенно отвечаю я, — на автобусе... на машине.

— Везде на машине? — недоверчиво ухватывается он за наиболее понятное ему слово.

— Больше на метро.

Он, конечно, видел в школьных учебниках рисунки, изображающие все перечисленное мною, но ему трудно представить место, где человек может, дожив до моих лет, ни разу не сесть на лошадь.

Я подхожу к той лошади, которую обрекли на семидневное мученье — возить неопытного седока. На деревянное седло с высокой передней лукой кладут телогрейку, чтобы было помягче. Я сто раз (какое сто — тысячу раз) представляла себе, как я подхожу к лошади (с левой стороны!), вставляю ногу в стремя, легко вскакиваю, еду, крепко держа повод в одной руке (провожатый мне показывал, как, по его мнению, ездят верхом русские женщины: лицо надутно-глупое, подпрыгивают, как на игрушечной лошадке, и повод в двух растопыренных руках...).

Вдеваю ногу в стремя, лошадь трогается — и я вприпрыжку скачу с ней рядом.

— Тор-тор! — кричат мои проводники и хохочут. Ко всему прочему, лошадка еще и не понимает по-русски: не «тпру!», а «тор!» — «стой!».

Один проводник лошадь держит, другой бесцеремонно подпихивает меня сзади. Позор!.. Но тем не

менее свершилось: я — на лошади. То, о чем я мечтала, сколько себя помню... А все виноваты батины рассказы про лошадей, фотографии, иногда извлекавшиеся из сундука с документами, на которых отец, молодой и бравый, — верхом на черном «арабе» — тонконогом, широкогрудом... Моя лошадка приземистая, вислобрюхая, бабки у нее обросли рыжей лохматой шерстью — какая разница! Сижу. Даже ноги дрожат, но не от страха: страха нет, я почему-то уверена, что не свалюсь, не убьюсь, все будет, как надо.

Сели и мои проводники. Второй — колхозный нормировщик, тоже забулдыжка порядочный, видимо, наименее нужный в данное время в колхозе человек. Вещей у нас никаких нет, только ружье да котелок чей-то солдатский. Наивная уверенность, что в тайге — люди. Накормят, дадут чем укрыться. Вся одежда на нас.

Провожатый мой косит на меня глазом — и вдруг хекает или гыкает как-то нутряно, обжигает хлыстом свою лошадь, та с места берет в галоп. Берет с места в галоп и моя лошадка... Идут рядом, стелются по дороге. Сзади помирает от смеха нормировщик и хакается. Ну, а мне не до смеха: уздечку я выпустила, телогрейка из-под меня вылетела, стремяна я тоже потеряла, держусь за луку, съезжаю то на правый бок, то на левый, болтаюсь, как воробей на веревке. Сейчас упаду. Но представляю, как это будет стыдно, позорище; да еще, пожалуй, если я свалюсь, дальше мы сегодня опять не поедем, а завтра все начинать сначала — хитрец провожатый на это и рассчитывает. Эти мудрые мысли вспыхивают у меня в мозгу — и я, взяв зло в зубы, нахожу ногами стремяна, потом нагибаюсь, ловлю уздечку, кричу на свою хакасочку по-русски:

— Стой, стерва!

Она переходит на рысь, после — на шаг. Упрямство всегда заменяло мне характер...

Ну вот и окрестилась...

Едем. Едем долиной. Тёи, степь скоро кончается, пошел невысокий хвойный лесок, по берегу — кусты смородины, осыпанные черными, крупными, как вишни, ягодами, вокруг полным-полно разных незнакомых мне цветов. Лес становится гуще, выше.

На взгорке — целое кладбище лиственниц, разбитых молнией, сгоревших, — торчат черные остатки стволов, как могильные обелиски.

У одной огромной лиственницы внизу выжжена дыра высотой в рост человека — она стоит будто на трех ногах, не падает. И зеленая, зеленей, чем рядом, не тронутая огнем.

Песчаная коса у реки покрыта белым, словно поляна снежная посередине зеленого. Подъезжаем — белое вздымается в воздух, кружится, словно лепестки цветов, поднятые ветром, снова опускается на песок: бабочки. И почти на каждой косе, на каждой отмели их тучи: лес жрет червяк, то и дело попадаются погибшие бесхвойные уже деревья — скелет, опутанный паутиной, обвешанный лишайником.

Впереди за лесом видны желтые зубы скалы, которая называется Чимыр-хая — обрубленная.

Течет рядом мелкая черная речка, завивается вода вокруг камней, всплескивает, приговаривает что-то. Топчут по тропе некованные копыта, фыркают лошади, мотают головами: за нами тучей идут пауты, присасываются, прилипают с ходу к мокрой от пота лошадиной шкуре, к ноге над щиколоткой: брюки задрались, там голое. Хлещешь веткой себя по ногам, лошадь, едущих рядом по спинам: паут и сквозь рубаху достает.

Я ловлю себя на том, что не удивляюсь. Все это впервые происходит со мной — жаркий день, пахнущий нагретой хвоей и медом от цветущей травы, лошадь, бока которой ходят под моими коленями, серо-зеленые стволы пихт; кедры, серые сверху донизу, точно погасшая сосна; тропа, глухо отзывающаяся некованным копытам. Я смотрю вокруг, стараясь все заметить, ничего не пропустить, но удивления нет: потому ли, что столько раз представляла себе все это, так представляла, что сейчас я нахожусь в уже виденном, ставшем привычным и оттого бледным. Или всегда представляемое ярче действительного?.. Где же тайга, моя тайга, в которой днем не видно солнца, в которой между стволами не протиснуться человеку, где над болотами в самый ясный день темно и колеблется синий таинственный чад?..

Впрочем, мы только недавно выехали, небось доедем и до тайги.



— Когда я лежал в госпитале контуженым,— вдруг говорит мой провожатый,— шесть суток не мог заснуть. Приехал профессор консультировать, спрашивает, чего ты хочешь, что ты любишь?.. Говорю: воду люблю, слушать, как река бежит... Сидела нянечка возле, мочила мне руки и голову, а за стеной журчала вода: посадил он вторую нянечку переливать воду кружкой из ведра в ведро. Я заснул...

А ведь и вправду есть в этих мелких речушках какая-то живая власть. Я уходила за поселок, садилась на берегу— и оторваться не могла. Бежит, звучит о чем-то, и все по-разному, звучок на звучок не похож— то удивленно всплеснет, то успокаивающе, то раздумчиво выговаривает что-то, мотает по дну длинные тонкие водоросли. Не уйдешь, колдовство какое-то. Полноводные реки не такие. Там тоже хорошо сидеть на берегу, но ты сидишь отдельно, а река течет отдельно, здесь же такое чувство, что словно ты летишь по камням, бьешься о них, вскрикиваешь, уходишь куда-то безвозвратно. И еще в огонь я так смотреть могу— но это древнее колдовство, это известно. А вот с речками— открытие для меня.

Масса незнакомых цветов. Я добросовестно стараюсь все запомнить: писать же потом надо. Шутка ли дело— первая командировка: тебе заплатили деньги всего лишь за то, что ты поедешь смотреть и слушать... Мысль об этих деньгах несколько отравляет мое пребывание здесь, и хотя я уверена, что напишу: вера в свои возможности у меня пока безграничная,— где-то тихонько саднит: «...а не напишешь ведь... ну о чем тут ты напишешь?»

Я гоню от себя эти удручающие мысли и спрашиваю проводников, не знают ли они случайно, как называются здешние цветы. Проводники, дружно перебивая друг друга, начинают указывать пальцем на цветы и называть их по-хакасски. Русских названий они не знают, но я записываю хакасские, удивляясь, что эти вроде бы равнодушные ко всему, кроме выпивки, люди так хорошо знают цветы.

— А у нас пастушки в такую игру играют: наберут в горсть всяких цветочков, потом показывают. У кого такого цветка нет— очко. Кто больше очков нахватал—

проиграл. Когда мы мальчишками были, все скот пасли...

Тыис-оды — зубная трава, ее заваривают и пьют от зубной боли... Внизу четыре распластанных листочка, тонкий стебелек, на нем крупная черная ягода. Ну, эту травку я знаю — вороний глаз.

Бюр-оды — волчья трава. Высокие бледно-желтые цветы на толстом стебле, листья словно у акации, цветок, точно искусственный, сухо шуршит, когда дотрагиваешься. Это астрагал.

Киик-оды — трава косули. Ее здесь по выпалам целые чащи, словно розовый лес. Это иван-чай. Там же, на выпалах, — белыми пятнами в розовом — нежные, словно мимоза, пахучие кустики таволги.

Кёк-чахыйах — синий цветок. Высокий темно-фиолетовый стебель облепили сверху, словно мухи, странные цветы, по форме, пожалуй, напоминающие львиный зев. Потом я узнаю, что это живокость — самый распространенный в Сибири и на Дальнем Востоке цветок, принадлежит он к семейству лютиковых и сильно ядовит. Рядом похожий на него борец, аконит — такие цветы я на клумбах видела. Тоже из лютиковых, тоже ядовитый. Лечат и тем и другим ревматизм.

А вот звездчатые, лопнувшне уже коробочки, полные ярко-красными сверкающими шариками семян. Это марьин корень — так его называют в Сибири, а вообще то дикий пион. Цветет в мае, когда сходит снег, отваром из его корней лечат болезни желудка, а из семян хакасские девушки делают бусы.

— Наши девушки раньше шили себе белые платья, — говорит нормировщик, — потом катались по ягодам, — получалось красивое платье в розовую крапинку.

Я вежливо киваю, хотя и не думаю, чтобы это было красиво. Бусы из таких вот семян — да. Я тоже набираю горсть просто так.

А вон — жаркй. Знаменитые сибирские жаркй — наши купальницы, только более коренастенькие, ярко-оранжевые, словно капли солнца... Как, однако, хакасы красиво называют цветы: трава косули, травка журавля, цветок индейки, волчья трава... Впрочем, у нас тоже не хуже, пожалуй: любка, адамов крест, кукушкины слезки, колокольчик, анютины глазки. Просто уже при-

выкли и не слышим, вернее, не вспоминаем, почему они так называются. Да и другие названия — ландыш, гиацинт, акация, — я думаю, имеют какое-то свое смысловое значение на том языке, с которого они к нам перешли. Как и чужие имена.

А вот кто мне объяснит, почему растут рядом три цветка, и один — красный, другой — синий, третий — желтый? Земля-то одна, черная? И солнце — одно, и воздух, и соки, которые они тянут, и листья одинаковые, зеленые, а цветки — разные. Я понимаю, что это детский вопрос, но все-таки — почему? Про камни я уже знаю — там соотношение разных молекул дает камню ту или иную окраску, а цветы?.. Ну пускай глупый вопрос, человечество начинало с глупых вопросов.

Едем распадком, трава по плечи, сейчас, когда я верхом, спешишься — и потеряешься в этих джунглях. Тут все зонтичные: купырь, борщевник, дудник, цикута. Жарко. От медвяно-хвойного воздуха, налитого в распадок, кружится голова, клонит в сон. Лошади шагают небыстро, выхватывают из зарослей сочные стволы дудника, хрумкают на ходу. Вдруг первая лошадь ставит торчком уши, шумно втягивает воздух, замедляет шаг.

— Ну... холера!.. — погоняет ее очнувшийся всадник. — Пошла!..

Трогаемся дальше, но теперь лошади идут настороженно, то и дело напрягают уши, фыркают.

— Мишка ходит где-то, — раздумчиво говорит нормировщик и поправляет ружье. — Больше кому? Волков тут нет, волки в степи.

— Может, рысь? — предполагает провожатый.

Я даже краснею от нетерпения, от предчувствия, что сейчас мы увидим медведя, или рысь, или еще кого-нибудь, испугавшего лошадей. Я готова отстать, уйти в сторону, чтобы встретиться с «хозяином», рассказами о котором меня пичкают последнюю неделю. Это смелость неведения, лишь лет через восемь сменит ее разумная осторожность человека бывалого. Впрочем, тринадцать лет спустя, попав в Северо-Курильск, я буду тайно и страстно желать, чтобы произошло-таки извержение Эбеки. Зачем?.. Если останусь жива — напишу. Таковы, наверное, все мы, занимающиеся «второй древнейшей» профессией...

Нормировщик зевает:

— Есть легенда у нас, что человек во сне должен идти к своим предкам, как дойдет — так умрет. Кто физически хорошо поработал днем, устал — ночью далеко идти не может, предки его жалеют, отдыхать дают. Ну, а бездельники за ночь проходят много, утром просыпаются разбитыми, но днем отдохнут — ночью опять быстро идут. Приходят к предкам скоро...

— Хорошая легенда, — улыбаюсь я. — А вы не боитесь скоро прийти к предкам?

— Я не бездельник, работаю, — обижается нормировщик.

— Тут, по-моему, не только бездельники имеются в виду, — я не хочу ссориться. — Люди умственного труда, интеллигенция. Как раз: днем физически не устают, ночью плохо спят — быстро к предкам приходят.

— Ну, это может быть, — важно соглашается нормировщик, обрадованный, что его причислили к людям умственного труда.

Навстречу едет пожилой хакас. Следует обмен приветствиями, потом долгий оживленный разговор, обе стороны охают, качают головами, издают разные восклицания. О чем это они?.. Я бью паутов на боках моей хакасочки, сбиваю палкой головки цветов, смотрю вверх, где парят черными точками орлы. Развлекаюсь, как могу. Наконец трогаемся дальше.

— О чем вы говорили?

— Старик один срубил дерево, а оно упало на другое. Он полез столкнуть да сорвался, попал шеей в этот клин и умер. Давно умер, сегодня нашли, — рассказывает нормировщик. — Я говорю, как же он, старый человек, не знал, что там смерть?..

— Откуда же? — удивляюсь я.

— У хакасов есть поверье, — объясняет мне провожатый, — если дерево упало на другое — там смерть. Хакас такие скрещенные деревья далеко обойдет...

Так вот каково происхождение нашей приметы, что нельзя проходить под прислоненным к чему-либо столбом или лестницей!..

— Еще он говорил, что тут один кержак вчера медведя убил.

Я аж взвиваюсь вся, прошу поехать к тому кержа-

ку, поглядеть на медведя, на трех собак-медвежатниц, приученных хватать медведя сзади, «за штаны», чтобы отвлекать от охотника. И главное, на самого медвежатника: вот же он, герой моего будущего рассказа в духе Шишкова!..

Однако спутников эта перспектива не сильно увлекает, они подъезжают к реке, находят уютное местечко, спешиваются: надобно перекусить. Разводят костер, потом другой, набрасывают в огонь травы: это дымничек, специально для лошадей. Лошади привычно лезут в дым, суют морды едва ли не в самый огонь, кивают наслажденно головами, нежатся, полузакрыв глаза, так что текут слюни. Пауты и вправду отстают пока.

Нормировщик показывает мне йодную траву — йодот, это довольно большие, овальной формы, нежно-зеленые листья, с лица и изнанки они покрыты колючим пушком. Я растираю их в ладонях: выжимается несколько капель коричневой, пахнувшей йодом, жидкости — мажу свои ссадины, сбои, покусы. Помогает как мертвому припарки, впрочем, если даже сплошь будут изодраны в кровь ноги и руки, я и слова не скажу. Я просто не помню об этом, я хочу только ехать вперед, бесконечно.

Закипает котелок, туда бросают горсть смородиновых листьев, и мы пьем этот ароматнейший, припахивающий дымом чай — любимый чай всех таежных скитальцев. Вот и еще одно причастие приняла я сегодня... Иду в заросли смородины, набираю прямо в подол кофты — черные, крупные, как вишни, сладкие ягоды и еще кислицу — так зовут в Сибири красную смородину, ее тут и за ягоду-то не считают.

Через час трогаемся дальше, ноги после отдыха плохо гнутся, еле забираюсь в седло (на этот раз сама), тело ломит: устала. Но не то еще будет завтра утром...

— Поедем немного рысью, — говорит мне мой провожатый, теперь вроде бы без подвоха, — так скорее разомнешься. Я тоже давно не ездил верхом, отвык, тело болит.

После я узнаю, что это нормальное явление: застоялась молочная кислота в нетренированных мышцах, циркачи называют эту боль «крепатурой».

Едем рысью. Все у меня перебалтывается внутри,

косы расплетаются, платок сваливается, оттого что я при каждом скачке лошади то взлетаю вверх, то плюхаюсь на седло. Но мне кажется, что так и надо, я счастлива скачкой, тело вроде правда меньше болит. Провожатые мои давятся от смеха, а я не замечаю, мне хорошо. Ох, не скоро я еще научусь ездить по-настоящему — так и буду взлетать и плюхаться, думая, что еду как надо. Показать-то некому. Но, однако, придет время — научусь. Вдруг осенит — так, видно, осенило первого всадника...

Неподалеку от тропы несколько стогов сена, рядом человек ворошит скошенную траву; полетели к нам навстречу, залаяли три беленькие, с хвостами колечком, собаки. Человек распрямился, взглянув на меня, поздоровался по-русски. Он русский.

Поговорили. Он назвался лесником Труновым, тут неподалеку его пасека.

— Нам говорил старик, тут кержак живет?

— Не знаю, я один только тут живу.

— Может, он про вас и говорил? Ну да, три собаки... Медведя вы не убивали?..

— Я убил.

— Значит, вы и есть.

— Только я не кержак.

— Закурим тогда, если не кержак, — вступает в разговор мой провожатый, протягивая Трунову сигареты. Тот берет одну, закуривает. Однако же в гости к себе, посмотреть на убитого медведя, к великому моему сожалению, не приглашает. Мы трогаемся дальше.

— Кержаки — это старoverы, — объясняет мне провожатый. — Они не пьют, не курят, не дают никому есть из своей посуды. Тут много деревень старообрядческих было: переселенцы с Керженца, оттого «кержаки». Мы мальчишками баловались: идет старover с пасеки, ведро меду несет. Подкрадешься, своей кружкой черпанешь — он обернется, плюнет, ведро поставит и уйдет. Больше он ни мед этот есть не может, ни ведром пользоваться...

А я все вспоминаю Трунова: не очень-то он высокий, не очень сильный даже. Застиранный ворот, морщинистая шея, покрытая красным загаром. Лицо некрасивое, простоватое, глаза с прищуром, что называется, себе на уме...

Первый человек, убивший медведя, встретившийся мне на пути. Убивший медведя...

Смеркается, тропу еще видно, лошади прибавляют шаг: скоро должно быть жилье. Завтра и послезавтра мы будем ночевать в тайге, у костра, как мечталось. А сегодня в доме. Проводники мои оживились, шутят, спрашивают меня о чем-то, а я все вижу Трунова и медведя с растопыренными лапами, поднявшегося на дыбы...

Издали слышится тоненькое ржание, наши лошади отвечают. Поселок совсем близко.

— Есть в тайге такая птичка, — говорит мой провожатый, — похожа на скворца с длинным хвостом. Ее называют «асхан-кизи-ады-нинь» — «конь заблудившегося охотника». Она кричит точно как жеребенок, только более тоненько и нежно. Легенда такая: охотник заблудился в тайге, никак не мог прийти к тому месту, где шалаш и привязанная лошадь. Умер с голоду. А лошадь ржала, звала его, потом оторвалась, ходила по тайге, опять звала. Бог пожалел ее и обратил в птицу, она до сих пор летает, его ищет...

В сердце спускается что-то — старухи сказали бы: «Тихий ангел пролетел...» Светлая печаль — ты улыбаешься, а глаза грустят. Я очень люблю сумерки — прогал между днем и ночью, когда на тебя спускается умиротворение, тихий покой после дневной беготни. И тревога, сладкая тоска о том, что все равно всего не успеешь, все не напишешь, всего не увидишь. Не встретишь, наверное, того, кого надо, не встретишь...

Еду и молчу, смотрю на серое, послезакатное небо, вдыхаю предночной холодный запах воды и росы. Стволы остывают, потрескивают тихонько; екают селезенкой, торопятся лошади. Мне хорошо.

Я еще только начинаю, я полна надежд и чувства собственной безопасности и всемогущества, я еще даже не знаю, что тайга — вот, вокруг меня: просто в Сибири так называют любой лес, независимо от того, насколько он густ и непролазен. Я еще побываю во всякой тайге, я еще только начинаю... Мне невдомек, что я, в общем, родилась в рубашке: через пять дней мы случайно выедем по Тее к Бискамже, а там строится железная дорога Сталинск — Абакан. На будущие десять лет жизнь

строителей-железнодорожников станет моим хлебом, горьким и сладким, моей любовью, моей заботой. Тут я буду учиться писать, постигать сложность человеческих характеров в конкретных сложных обстоятельствах, буду слушать, как говорят эти русские люди, собранные волей случая со всей России, как прекрасно они говорят. Ну а об этой моей первой командировке я так ничего и не напишу — первый удар по моей самонадеянности. Да и что можно написать? Без человека в деле, без мыслей о делах его — проза мертва.

## II

### ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ ЖИВУТ ОЧЕНЬ ДАВНО...

Позже, когда я попала в Самарканд, я все время думала об этом. В Угличе и в Ярославле, в Старом Братске возле темнобровных острожных башен, в одной из которых томился раскольник Аввакум, в Нижне-Илимске, возле бревенчатой часовни, где останавливался сосланный Радищев,— все время помнишь, как давно живут на земле люди, какое несчетное количество следов уже впечатано в ту крохотную пядку земли, где остался твой след. Но едва попадаешь в тайгу, начинает казаться, что уж здесь-то история пошла от тебя, что тут нога человека не ступала. Про теперешних строителей сибирских у нас принято говорить: «пионеры, покорители Сибири...»

Как-то я стала копаться в старых книгах, рассказывающих о заселении Сибири, и вот что вычитала.

История Западной Сибири, удаленной от стран, оставивших повествования о жизни и судьбе древних народов, бедна преданиями. Из китайских летописей известно, что южная часть Западной Сибири еще в глубокой древности, за две тысячи лет до нашей эры, была местом обитания и ареной столкновения многочисленных племен, то наводнявших Китай, то отливавших к Сибири и по ее равнинам перекочевывавших в Европу. Через алтайские долины, лежавшие на пути переселения народов, проходила, по-видимому, большая часть племен, двигавшихся в Европу.

У Геродота есть упоминание о гриппах, живших в



горной стране, где почва восемь месяцев в году бывает замерзшей, и стерегущих там золото. Речь идет, вероятно, о народе, населявшем тогда Красноярский край.

Позже пространство между Обью и Енисеем занимали белокурые, голубоглазые племена: киень-куни (хакасы), динь-лини, дулгасцы. Судя по типу письма, близкому к руническому, племена эти принадлежали к скандинавским народностям, в частности к финнам. Впоследствии, при нашествии татаро-монголов, племена эти смешались с тюрками.

Известие о первом знакомстве русских с сибирскими народами приходится на XI век: Новгородцы в те дальние времена уже делали набеги на Югру через северную часть Уральского хребта, или, как он назывался в старину, через «каменный пояс». Эти набеги делались с переменным счастьем, и из шайки в несколько сот человек в Новгород возвращались лишь десятки. Но дорогие звериные шкуры, моржовые клыки, «закамское серебро» и «узорочье» привлекали все новых и новых любителей легкой наживы. В первой половине XIII века Югра считалась уже в числе новгородских волостей.

С падением Великого Новгорода роль его по отношению к Югре перешла к Москве. В 1483 году при Иване III был предпринят поход на «Обь — реку великую», причем московские воеводы, разбив вогул при устье реки Пелыма, пришли в «сибирскую землю», где взяли большую добычу и по Иртышу и Оби спустились в «югорскую землю». Поход кончился покорением Югры, и в 1488 году Иван III уже именовал себя князем югорским. Но и впоследствии при Василии Иоанновиче, и даже вначале при Иване Грозном Москва ограничивалась полуданническими отношениями с сибирскими ханствами: было не до них. Не могли еще справиться с казанскими и астраханскими татарами, тревожащими царство с юга, не было сил для настоящих походов в Сибирь.

Заселению русскими Сибири помогло вольное стихийное движение «охочих людей», среди которых важное место заняли солепромышленники Строгановы. В царствование Ивана Грозного они быстро заселили Камский край, основав поселение, названное Солью Кам-

ской, и стали расширять свои владения на восток. В 1574 году Строгановы получили разрешение строить города и заселять земли по Тоболу и Иртышу. В продвижении Строгановых на восток огромную роль сыграл предводитель ватаги волжских казаков Ермак.

Много споров было о происхождении самого имени Ермак. Думали, что это прозвище, обозначающее то ли азиатскую монету, то ли жернов, то ли артельный котел. Но скорее всего это просто испорченное имя Ермил, Ермолай. Этим объясняется и тот факт, что, по сказаниям, в том же 1581 году на Руси было три атамана Ермака: один на Дону, другой на Днепре и третий в Сибири.

С 1579 года Ермак со своей ватагой попал на службу к Строгановым, которые нуждались тогда в ратных людях для защиты своих поселений. Кроме того, таким путем они страховали себя от опасного соседства казаков Ермаковой бесшабашной ватаги.

При Ермаке русские заняли места по Туре, Тавде и Иртышу — места эти представляли собой не что иное, как сборище малолюдных, полукучевых волостей. В глубине этой пустынной лесостепи некого было в то время защищать или держать в подчинении. Но впоследствии, по мере оттеснения татар и киргизов к востоку и югу, русские, продвигаясь, стали строить крепости и остроги для закрепления завоеванного. Так был построен Томск, после, в 1618 году, на впадении Кондомы в Томь был построен Кузнецкий острог, в 1629 году на Енисее при устье реки Качи был построен острог Красный Яр.

Однако обширный край между Енисеем и Томью удалось подчинить много позже. Только в 1707 году был выстроен Абаканский острог, а в 1709-м — Бийский.

Основной состав населения всех этих укреплений был в первое время из ссыльных, приток которых сюда при Петре I был очень велик. Кроме множества стрельцов и казаков, сосланных за бунты, сюда были отправлены пленные шведы, а также керженские старообрядцы. С этих-то пор и образовались в самых разных местах Сибири «кёржацкие», или «семейские, деревни.

В XVIII веке в Сибири стали появляться горноспро-

мышленные заводы, и правительство начало направлять туда одну за другой партии ссыльных и лиц, поступающих в зачет рекрут. Правда, рабочей силы возле заводов оседало мало: и ссыльные и крестьяне бежали от тяжелейшего заводского труда, от непривычного жесткого климата.

Тем не менее для упрочения обладания краем необходимо было покрыть его русскими поселениями. И началось покорение и умиротворение необъятной Сибири; главная роль в этом принадлежала, конечно, «служилым людям» — казакам, стрельцам, боярам, обязанным постоянно и бессрочно служить, «доколе в силах». «И был я, государь,— читаем во многих казачьих челобитных,— во всяких твоих службах, и в пешей, и в конной, и в лыжной, и в стружной, и в пушкарях, и в затинумках (саперах), и у строения острогов, и у сбора твоего государьева ясака, и в толмачах, и в вояжах, и у проведывания новых землиц, и у подведения неверных под твою высокую руку». Действительно, сибирским служилым людям нельзя было отказать в энергии, находчивости, решимости, обладали они также грамотностью и инженерной сметкой. Роль пионеров в возведении новых городков и поселений принадлежит им по праву.

Около каждого выстроенного городка или острога быстро возникали деревни. Часть жителей были родственниками стрельцов и казаков, приехавших с запада, остальные переселенцы. Желавшим переселиться на «государеву пашню» давалась льгота в платеже податей до трех и более лет, кроме того, пособие на дорогу и обустройство на месте.

Существовали еще «переведенцы по указу» — первыми такими «переведенцами» были еще в 1593 году опальные каргопольцы, а после угличане — свидетели убийства царевича Дмитрия.

В 1754 году при Елизавете был издан указ о замене смертной казни за общегражданские преступления ссылкой в Сибирь навсегда. Но попытка устройства казенных поселений была, в общем, неудачной: ссыльные устраиваться напрочно в Сибири не хотели, да и не могли. Тяжелый климат, непривычный, «не российский» образ ведения хозяйства требовали значительных сил

и сноровки даже от переселенцев искони земледельцев, которые не растратили свои силы и умение по тюрьмам и этапам. Тем более что места для поселения ссыльных выделялись либо в лесной чаще, либо на кочковатой заболоченной земле, «где журавли яйца несут». Какая-то часть ссыльных пыталась устроиться к старожилам в батраки, но брали их неохотно даже «за хлеб». Ну и, конечно, не имея возможности добыть себе пропитание трудом, ссыльные занимались бродяжничеством, бандитизмом.

Лишь только сходил снег, по дорогам и тропинкам начинали тянуться вереницы «полевых дворян». Многие овраги, перекрестки дорог, деревушки до сих пор носят имена и клички предводителей разбойничьих шаек. На перекрестках лесных дорог долго еще сохранялись деревья, на коре которых были вырезаны условные знаки, которыми бродяги передавали друг другу сведения относительно ближайших поселков.

Но и сибиряки не оставались в долгу, охотились на «полевых дворян», как на зверей, убивая без разбору и бандита и оборванного горемыку. Каждую весну близ селений и заимок обнаруживались «подснежники» — трупы бродяг.

«... В Ишимском округе нет аршина земли, который бы не был обогретен человеческой кровью убитого ссыльного или ограбленного проезжего, нет недели, в течение которой не было совершено в округе менее двух убийств, сколько же их остается не обнаруженных — ведомо одному богу...»

Сделав из Сибири своего рода сток нечистот, царское правительство безусловно надолго затормозило развитие края.

Заселение Сибири тем не менее продолжалось. В 1806 году был принят закон, разрешавший государственным крестьянам, испытывающим недостаток в земле, переселиться в Сибирь. Переселенцам давалось, кроме прочих льгот, безвозвратное пособие (по 50 рублей на семью), а также заимообразно семена. Но воспользоваться этими благами могла незначительная часть крестьян: на помещичьих это не распространялось. Зато после реформы 1868 года в неведомый край на поиски земли и счастья потекли десятки тысяч переселенцев, а

нагрывавший в 1871 году губельный неурожае увеличил их число до небывалых размеров. За десятилетие начиная с 1894 года за Урал переселилось почти 600 тысяч человек — цифра огромная по тому времени. Однако процентов пятнадцать из них возвратилось обратно, не в силах приспособиться к непривычным условиям, и совсем не известно, какой процент переселенцев погибал в дороге.

Целые караваны потянулись на буксируемых пароходами баржах сначала по Волге и Каме, а затем по рекам Западной Сибири. Люди проводили недели под открытым небом, без куска хлеба, нищенствовали. Вереницы повозок тянулись по сибирским дорогам, люди месяцами жили без крова, здесь рождались и умирали десятки детей. Смертность среди переселенцев порой доходила до десяти процентов, а заболеваемость до двадцати.

Были организованы всеческие кампании помощи переселенцам, в Тюмени и Томске были выстроены переселенческие бараки. Правительство было вынуждено пойти на разные льготы, значительно удешевив для переселенцев проезд по железной дороге, оборудовать теплушки печами, обеспечив их какой-то врачебной помощью. Но, конечно, самым тяжелым было положение обратных переселенцев, не имевших ничего позади, ничего не нашедших впереди. А Сибирь все-таки заселялась, и тем, кто выдерживал первые годы, богатейший край воздавал сполна, изменял не только материальное положение, но и характеры людей, создавая новый народ, и внешне и внутренне отличающийся от своих отцов, прибывших из России.

За сорок лет, с 1858 до 1897 года, население Западной Сибири более чем удвоилось, хотя расселение производилось неравномерно. Так, например, население Томской губернии почти утроилось за это время, а Тобольской — увеличилось всего лишь на пятьдесят процентов. Пережили сибирские поселения и ту обычную для осваиваемых земель пору — недостаток женщин, побудивший правительство неоднократно прибегать к «набору девок» в поморских городах в жены казакам, к разрешению выменивать или покупать у местных племен девочек-подростков.

Среди разного рода влияний, изменивших в Сибири славяно-русский тип, главным было, конечно, смешение с местным коренным народонаселением Сибири. Казачьи отряды нарочно отправлялись в калмыцкие или киргизские улусы и аулы, захватывали в плен женщин и девушек, покупали или выменивали детей. Начавшееся, таким образом, физиологическое смешение вскоре приняло такие размеры, что еще в начале XVII века обратило на себя внимание московского духовенства, поднятый им протест был, однако, безуспешен. Влияние местного типа сказалось главным образом в смуглоте лица, потемнении волос, узкоглазости и некоторой скуластости следующих поколений переселенцев.

Приведу пример и из своего семейства: дед Андрей еще типичный славянин — светлоглазый, длиннолицый, густобородый, отец же мой, — бабка была наполовину монголка, — уже темноволос, скуласт, веки у него «покалмыцки» нависают на глаза, а борода почти не растет.

Кроме того, под влиянием местных многие переселенцы начали заниматься больше скотоводством, чем земледелием, стали носить одежды местных, приспособленные для сибирского климата, научились есть сырую рыбу и сырое мясо, что безусловно восполняло отсутствие витаминов в пище и спасало их от цинги. Шел и обратный процесс — обрусение местных.

Во время господства в Сибири захватного пользования землей, когда при огромном просторе незанятой земли у крестьян разбегались глаза, и не только каждый селился и пахал там, где ему приглянулось, но и по несколько раз менял место поселения, сельские и деревенские общества не имели причин вмешиваться в земельные отношения своих членов. В это время достаточно было приложить руку к участку земли, обойти межей или вехами известное угодье, чтобы получить право наследственного владения им. С увеличением населения, однако, количество свободных земель стало сокращаться, и в то время как одним не хватало сил справляться с покосом или ежегодно обрабатывать всю захваченную издавна землю, другие стали ощущать недостаток в удобных для обработки землях. С этого момента община заявила свои права на захватные земли,

ограничивая владельцев (вместо потомственного владения) только правом на владение теми частями, которые эксплуатируются сейчас, предоставляя оставшиеся необработанными участки занимать желающему. Таким образом совершался переход к так называемому общинно-захватному пользованию землей, когда владение землей возникало вместе с фактом пользования ею и вместе с ним и прекращалось. Тем не менее со временем выяснились недостатки и этой вроде бы справедливой системы: богатые начинали понемногу отбирать случайно оставшиеся необработанными (за болезнью, например, единственного взрослого работника) участки у бедных. К тому же боязнь лишиться участка вела к непрерывной его эксплуатации, истощавшей землю. Теперь «мир» снова вмешивается в земельные дела членов общины, заменяя идею захвата — идеей уравнивания. Дело началось с отдельных отрезков земли в пользу малоземельных от тех, кто, по мнению общества, забрал земли слишком много, — а пришло, в конечном итоге, к подушным наделам земель.

Приток новых переселенцев в конце века заставил вмешаться в передел имеющейся общинной земли и администрацию. Надо сказать, существующая в сибирских деревнях крепкая община со своим установившимся жизненным укладом (и готовностью к самозащите от случайного пришлого населения типа бродяг и бандитов) способствовала и быстрому осибирячиванию новоселов. Насмешками, практическими советами, подучиванием сибиряки умели внушить пришлым превосходство местных обычаев, и не далее как следующее поколение переселенцев уже считало себя коренными сибиряками и, в свою очередь, с иронией смотрело на «россейского».

Переселенцы, конечно, тоже внесли много нового в несколько закоснелый уклад «кондовой» сибирской жизни. Новоселы, к примеру, побудили вновь взяться за земледелие старожилов, начавших отвыкать от него под влиянием скотоводческого хозяйства местных. Переселенцы же оказывали решительное предпочтение земледелию перед разными промыслами (кедровым, охотой), которые отрывают сибиряка от земли. Благодаря «россейским» в Сибири начали вводиться земледельческие

брудия и машины, а местная соха заменилась русским плугом. Переселенцам принадлежит также главная роль в улучшении семян и распространении новых сортов хлеба, ими сеется рожь, черный овес, пшеница-белотурка, ими же занесены гречиха и просо. Они развели длинношерстных овец, чухонских свиней, крупный рогатый скот. Оживление кустарных промыслов и ремесел опять-таки дело рук новоселов. Шубники, пимокаты, столяры, слесари, штукатуры, плотники — в подавляющем большинстве новоселы...

Сибиряк любил хорошие постройки: он лучше недопьет, недоест и кое-как будет одеваться, а просторные хоромы себе поставит. Поэтому по своим постройкам сибирская деревня поражала зажиточностью. Избы большие, сплошь и рядом двухэтажные, непременно с тесовыми крышами, на крышах резные украшения, ставни и двери раскрашены. Надо сказать, когда приселившиеся к сибирским деревням украинцы начинали строить свои мазанки и крыть их, как на родине, соломой, старожилы-сибиряки их нередко били, говоря, что так они будут только разводить пожары, которые действительно в сибирских деревнях по сравнению с Европейской Россией составляют редкость.

Одевался сибиряк с претензией на франтовство, лаптей он не знал. Мужчины щеголяли в пиджаках, а женщины в ситцевых платьях. Кокошников не носили. Сибиряки не любили русских костюмов: и сарафанов на них не увидишь и вообще одежды, сшитой из домашнего полотна. Зимой, поверх полушубков, мужики надевают «гуся», иначе «ягу» или «ергак» — род шубы с мехом, вывороченным наружу. Шапки носили из оленьего меха с наушниками, а по праздникам надевали и бобровые шапки. Женщины носили беличьи шубки с широкими воротниками, отороченными беличьими хвостами.

Приезжающих из Европейской России приятно поражала свобода и непринужденность в обращении сибирских крестьян с чиновниками. Сибиряк, сам по себе весьма малонабожный человек, при входе в избу непременно несколько раз перекрестится перед образами, а потом безо всякого приглашения прямо садится и, не смотря ни на какое «начальство», будет сидеть и раз-



говаривать самым непринужденным образом. «...Здесь гораздо меньше того попрошайничества «на чаек» и «прибавьте», которое так надоедает в Европейской России. Возможно, сибиряка выручает в данном случае вообще привычка к борьбе с суровой природой, которая воспитала в нем отвагу, неустрашимость, ловкость, выработала сметку, находчивость, привычку действовать в одиночку и самоуверенность. Сибиряк по природе лукав и изворотлив...» — пишет Белявский в «России».

Не мудрено, что при отсутствии низкопоклонничества сибиряк-старожил с некоторым презрением относится к забитым переселенцам. Сибирская гордость иногда доходила до того, что приселившиеся, добровольно принятые старожилами, лет по двадцати не признавались за равных, с ними избегали родниться. Когда же старожилы соблаговоливали перестать именовать их «россейскими» и наконец роднились — бывшие «россейские» не без гордости говорили приезжим, что они стали сибиряками, точно их повысили в чине..

Несмотря на общий вид зажиточности, который носили сибирские поселки, Сибирь не была «землей обетованной» для всех, кто приезжал туда. В то время как одни благодаря проворству и бесцеремонности наживали большие деньги, другие при тяжелом труде терпели горькую нужду. Контрасты в экономическом положении населения здесь резче, чем в Европейской России, хотя, в общем, зажиточность крестьян несомненно выше. Виной отчасти сама природа: либо бывают богатые урожаи, либо посевы не возвращают семян. В том и другом случае отсутствие хороших путей сообщения и отдаленность от торговых центров сказывается очень чувствительно: в урожай сбыт хлеба затруднителен и цены на него низки, при недороде же подвоз хлеба сложен и цены на него растут сильно..

Ну вот, это все как бы предисловие к рассказу о Сибири сегодняшней, чтобы было ясно, с чего там все началось и как велось. По-настоящему-то у нас дошли руки до Сибири только после войны. После войны была начата дорога Сталинск — Абакан, которую строили также и для того, чтобы дать выход сибирскому хлебу на главную магистраль.

### III. НА БИСКАМЖЕ

#### 1. ДМИТРИЙ ИВАНЫЧ

*«...Дорога проходит по самым глухим местам хакасской тайги, рядом с трассой нет даже улусов. Только охотники бывали раньше в этих местах и дали свои названия здешним речкам: Берекчуль — непроходимая; Нанхчуль — хлебная; Тузахсу — спутанная; Балыксу — рыбная; Бискамжа — пять бичей... Так будут называться и будущие станции железной дороги Сталинск — Абакан. Ждут близкую руду с рудников Тёи и Абазы заводы Кузбасса, ждут местный дешёвый каменный уголь. Сейчас Кузбасс питается рудой с горы Магнитной, возить ее приходится за две с лишним тысячи километров. К тому же, кто видел гору Магнитную в тридцатые годы и может сравнить с тем, что от нее осталось сейчас, понимает, что запасов оставшейся там руды едва хватит для заводов Магнитогорска. Ну, а тут, всего лишь за двести сорок километров от Кузбасса, геологи нашли отличнейшую, не уступающую лучшим шведским железную руду. И не только руду. Уголь, медь, золото, мрамор — через два года, когда пустят дорогу, все эти богатства пойдут на стройки, на заводы страны. По готовой части полотна на главную магистраль уже пошел лес. Сто сорок тысяч кубометров делового леса дает ежегодно леспромхоз, организованный на трассе дороги. И главное, по дороге пошел хлеб, разгрузив отчасти автотранспорт: ежедневно уходит через станцию Оросительная на главную магистраль двадцать — тридцать вагонов — каждый по двадцать тонн зерна. За двадцать дней сентября дорога приняла более четырехсот тысяч пудов зерна от колхозов «Третья пятилетка», «Путь к социализму» и Абаканского овцесовхоза. В будущей пятилетке входит в строй эта дорога и дорога Абакан — Тайшет, которая должна пройти по степным хлебным местам, и тогда уже не будет надобности ленинградским, сталинградским, московским шоферам спасать далекий хакасский хлеб... И вообще недалеко время, когда край преобразится неузнаваемо. Вступят в строй гидроэлектростанции на Енисее, на Оби, каскад гидроэлектростанций на Ангаре, атомные электростанции. Ученые пред-*

*полагают, что возникнет тепловая завеса, преграждающая доступ холодным ветрам. Климат изменится, в Сибири будут расти даже апельсины...»*

Дмитрий Иванович говорит медленно, я старательно записываю. Это мое первое интервью. Когда я пришла в Абакане в управление, начальник строительства Дмитрий Иванович Коротчаев предложил мне поехать с ним по объектам. И вот мы уже два дня неторопливо едем в вагоне, специально оборудованном под такого рода выезды: там несколько спальных купе, большой салон-столовая, есть кухня и душевая комната, едем от станции к станции, ходим по объектам, смотрим, как идут работы.

Сейчас вагон стоит на запасной ветке, где-то между Берекчулем и Хабзасом. Ночь. Если выйти из вагона, можно увидеть с одной стороны сопку, заросшую пихтой и кедром, с другой — громоздится валежник, чернеет тайга, течет-перебирает камешки Аскиз. Неподалеку рабочие жгут костер. Конец сентября, ночью мороз доходит до одиннадцати градусов, по утрам тайга белая от инея.

Горит свеча, Дмитрий Иванович сидит, откинувшись на спинку большого кожаного дивана, рассказывает мне про строительство, про перспективы края. Говорит он охотно, негромким медленным голосом, только записывай. Сам говорит — это великая удача, я еще не умею спрашивать, не знаю, что может пригодиться.

У Дмитрия Ивановича широкие тяжелые плечи, обтянутые потертым кителем, светлые, с двумя полосками и тремя большими звездами, погоны. Хотя уже было постановление правительства снять погоны со всех, кроме служащих непосредственно в армии, железнодорожное начальство снимать их не торопится: так удобнее. Когда на тебе и на том, кто тебя слушает, погоны, можно просто приказать, если же их нет, приходится убеждать, уговаривать...

У Дмитрия Ивановича совершенно серебряные с чернью волосы, взгляд усталый, ленивый, куда-то в глубь себя. Лицо тяжелое, опущенное на шею, брови черные, спокойного изгиба, мешки под глазами, добрая складка толстых губ. В речи у него сохранился мягкий южный акцент: родом Дмитрий Иванович из Днепропетровска.

Изыскательские работы проводились еще до войны, а в 1948 году было постановление правительства начать стройку. Намечалось в сорок девятом году проложить линию от станции Оросительная до станции Аскиз, общей протяженностью семьдесят километров. Путь до Аскиза пролегал по степи: не надо валить и корчевать лес, взрывать скалы, немного было нужно возводить мостов, труб и прочих так называемых «искусственных сооружений»,— поэтому задание могло стать реальностью. Намечалось также в 1950 году открыть временное движение до станции Абаза, где находилась руда, которую ждал Кузбасс.

На строительство направили из Воронежа ремонтный поезд, который занимался там восстановлением разрушенных войной дорог, направили автоколонну, дали несколько паровых экскаваторов, грейдер-элеватор. Начальником был назначен Алексюн. Свою задачу он понимал несколько своеобразно, видимо, по складу характера Алексюн был авантюристом: не так важны средства достижения цели, важен «рапорт о проделанной работе» в указанный срок. На первом десятке метров еще было отсыпано земляное полотно, а после путь стали класть прямо на землю, «по зеленой», в обход мостов, на строительство которых требовалось время, люди, техника.

Алексюн рапортовал министерству, что на земляные работы вышло несколько тысяч добровольцев, министерство считало, что все в порядке, помощи не требуется, на самом же деле выходило не несколько тысяч, а несколько десятков человек, которые, побросав немножко землю, расходились, ничего, конечно, существенного не сделали.

Пришли укладкой в Аскиз, но земляное полотно сделано не было, мосты, трубы не были построены: короче говоря, успехи были сомнительные. На следующий год по плану должны были проложить путь до Абазинских рудников.

Министерство черной металлургии, видя, что дела идут неважно, несколько раз ставило вопрос, что любыми средствами дорога к Абазе должна быть готова.

Первые сорок километров путь к Абазе идет по равнине, дальше — скалы. Алексюн рассудил, что

самое главное — пробиться сквозь эти скалы. Он просил, чтобы ему разрешили построить первые сорок километров по временному профилю, а затем, уже по железной дороге, забросить для разработки скальных прижимов компрессора сжатого воздуха, взрывчатку и прочее оборудование. Ему разрешили. Однако они увязли с укладкой настолько, что этого времени хватило бы и на то, чтобы сделать все как следует. На пути лежали реки Таштыб, Тёя, Усть-Есь — обход их и постройка временок занимали не меньше, чем постройка постоянных мостов. В общем, завязли крепко. Когда же все-таки путь до скал был проложен, дальнейшие работы стали форсировать опять-таки за счет качества. Взрывники работали также кое-как, оставались козырьки, укусы — все, что делает до сего времени движение по Абазинской ветке опасным, что служит причиной частых обвалов, жертв. Зимой строительство встретило неподготовленным.

Из Москвы для проверки работ была прислана комиссия, Алексюн был снят, назначили нового начальника, который принял строительство с явной неохотой. Нестерук многократно писал в главк, что такое большое строительство ему не по плечу, что он не справится, просил, чтобы его перевели на запад. Тем временем дела шли по-прежнему. Все лето затратили, чтобы подойти к Абазе по неготовому полотну. Зимой также встретили неподготовленными. Первого июня 1952 года был назначен начальником Дмитрий Иванович Коротчаев.

С тех пор прошло более трех лет. Новый начальник занимался в основном исправлением грехов предшественников, хотя их ошибки, убытки производства до сих пор отражаются на строительстве — легче было бы заново начать. Построено шестьдесят километров нового пути по тайге, путь уперся в тоннель станции Нанхчуль, работы там ведут метростроевцы.

Так обстояли дела ко дню моего приезда на строительство. Впрочем, пока я еще не могу сама составить суждение о предшественниках Дмитрия Ивановича, не могу сама критически разобраться и в том, что сейчас здесь делается. Пока я на все смотрю глазами Дмитрия Ивановича. Для того чтобы обобщать, нужно иметь с

чем сравнивать,— мне покуда сравнивать не с чем. Я даже еще пока не знаю, не думаю о том, что когда-нибудь это все станет такой же историей, как первые стройки пятилетки, что конкретные обстоятельства, подлинные биографии людей, описанные и записанные десятками моих собратьев по профессии, сложатся в картину Времени. Я не думаю об этом, я просто скрупулезно, дотошно записываю...

Дмитрий Иванович кончил трудовую школу, после — строительный техникум. В 1929 году, по окончании техникума, его послали на станцию Магдагачи Уссурийской железной дороги.

*«...В то время,— говорит Дмитрий Иванович, глядя на желтый трепещущий язычок свечи,— места на западе не пользовались успехом: мы знали, что народу там и без нас много. Самостоятельной работы не добьешься. Сибирь, Дальний Восток, Урал — вот эти места шли нарасхват. Приехал я... Тайга, мороз пятьдесят градусов, дежурка, где живут солдаты, охраняющие деревянный мост. Я должен был выстроить каменный. Начальник мне говорит, что за километр отсюда есть хибарка — мол, отремонтируешь ее, печку сложишь, будешь там жить. Первое время спал в дежурке: пока кто-то из солдат на посту был, я занимал его койку. Потом отремонтировали мы хибарку, я туда перебрался. В хибарке окон не было, дверь открывалась прямо на улицу, печка раскалялась докрасна, возле нее было жарко, а у стены стояло мороженое молоко в ведре и не таяло. Стены были всегда инеем покрыты. И, понимаете, не было у меня никогда мысли, что кто-то обязан изменить мою жизнь, дать чистую постель, теплую комнату. Принимал я это все как должное, как временное, поэтому, очевидно, и работе такие вещи не мешали...»*

Во мне еще не изжит пока этот внедренный еще в школе взгляд снизу вверх на старших, да к тому же я всего четвертый год, как ушла с завода, поэтому сохраняется какая-то робость перед любым начальством. Я чувствую глупую скованность оттого, что сижу в этом непривычно роскошном салоне с кожаным большим диваном, старинными бронзовыми подсвечниками, дорогим приемником, крахмальной скатертью на столе, удивляюсь: это со мной, не знающей, куда девать от смущения

руки и ноги, всерьез разговаривает седой умный человек с погонями? Роскошная обстановка отвлекает меня от рассказа Коротчаева, мне привычнее было бы в тех уютных рабочих бараках, куда мы заходили вчера и сегодня: граненые стаканы на столе, закопченный чайник, затоптанные полы, дымящие печи...

*«...Трудно было. Мороз нечеловеческий. Земля каменная. Костры мы жгли. Оттает грунт на какую-то глубину, выбросим его, снова жжем. Спешили, надо было до тепла кончить. В тех местах фундамент на вечную мерзлоту кладут, а если летом открыть — поплывет все. Было, конечно, рвение у меня быстрее все сделать, отличиться как-то. Пришел состав с камнем, начали разгрузку. И показалось, что рабочие медленно работают. Я их отругал, прикрикнул грозно... Смотрю, а они бросили работу. Я к бригадиру ихнему — почему?.. «Твоя ругайся, наша очень сердится, сегодня работать не может». И ушли... Я всю ночь проворочался. И стыдно было мне, и самолюбие мучило: как же, меня не послушались! Однако на другой день пришел я к ним в барак: говорю, вы, мол, вчера не стали работать, начальник меня ругал очень. Пожалели они меня... Так вот и постиглось, что руководить людьми — наука сложная. Где крикнуть, где попросить поласковее, а где — схитрить...»*

Ну и как-то после того строительства у меня хорошо дело пошло. Еще один мост я выстроил, со мной считаются, зарплату повышают, мне приятно... Потом меня призвали в армию — это будет уже тридцать первый год. Работал я там по своей специальности в железнодорожных частях, занимался проектированием разрушения и восстановления мостов. Командовать научился, без этого тоже руководить нельзя...

После демобилизации в тридцать четвертом году работал прорабом на строительстве железной дороги Москва — Донбасс, на Ново-Айдарском участке. План выполнялся плохо, потому что работ задали больше, чем была возможность сделать при наличии данного числа рабочих и техники. Соседние со мной прорабы ковыряются потихоньку: через себя не прыгнешь. Я пошел в райком партии, для солидности увеличил цифры: надо, мол, помогать... Посев был закончен, до уборки далеко — райком попросил колхозы помочь людьми и лошадьми.

*Опросили — нашлись среди прибывших колхозников плотники, каменщики. Делали опалубку для труб и мостов, отсыпали земляное полотно, хорошо помогли.*

*Оперативности научила меня армия, уверенности в своих силах, разумному риску...»*

Он сползает набок и неудобно облокачивается на руку, его большое грузное тело застывает в неловкой позе.

— А в Дрезденской галерее вы были? — спрашивает вдруг Дмитрий Иванович. — Расскажите поподробней. У нас инженер из производственного отдела ездил в отпуск в августе, говорит, очередь днем и ночью не иссякала.

— Меня не было летом в Москве, — вру я без зазрения совести, не станешь же объяснять, что я так и не попала на выставку: сдавала летом книжку, не до того было. «Дрезденка» — это первая ласточка, после приедут зарубежные театры, разные выставки близкого и неблизкого нам искусства, после все это будет не в диковинку, не станет уже собирать такого несметного количества народу. «Дрезденка» — первое окно в большой мир, и, увы, ничем, конечно, невосполнимо, что я не услышала разговоров в залах, не увидела этой терпеливой, бесконечной толпы на подступах к музею Пушкина. Тогда я просто еще не понимала, как это важно: увидеть «Дрезденку», московский фестиваль, выступление Ива Монтана, венгерки Ханны Хонти, благополучно пережившей смену разных режимов, — не ради того удовольствия, которое они доставят или не доставят мне, не ради них самих, а ради Времени, ради того, что когда-то это может пригодиться...

Первый час ночи... У меня слипаются глаза. С непривычки устаешь от хождения вслед за начальством по «объектам», от здешнего, слишком богатого кислородом воздуха, от постоянного напряжения, боязни что-то упустить, не услышать. Сегодня у Дмитрия Ивановича был занятный, на мой взгляд, разговор с начальником лестрансхоза Ешкиным, я, конечно, записала его.

*«Ешкин — мужчина с толстой бурой кожей на большом лице, с желтыми крупными зубами. С неожиданно тонким для его громоздкой фигуры голосом и несолидным смехом: «хе-хе-хе...» С нелепой приговорочкой: «ето, как его...»*



— Честный человек здешний завпекарней? — спрашивает Дмитрий Иваныч.

— Честный...

— Хитрый?...

— Не схитришь — не проживешь...

Дмитрий Иваныч говорит, что строительству нужно для внутренних нужд четыреста тысяч кубометров леса.

— Лес я тебе не дам, нету леса.

Дмитрий Иваныч не возмущается, не кричит, сидит спокойно, в своей обычной позе: отвалившись на спинку стула и выпятив большой живот. Говорит вроде как бы с сожалением, спокойно:

— Хорошо, у меня с главком есть договоренность не выпускать лес со стройки, чтобы нам не стоять.

Ешкин, усмехаясь, быстро взглядывает на Дмитрия Иваныча, опускает глаза, видно, обдумывает, как можно парировать этот удар, не находит ничего и тут же легко сдается:

— Ну ладно, найдем тебе лесу.

Дальше разговор переходит на нового заместителя Ешкина, который был в Берекчуле довольно долгое время начальником милиции.

— Волков хорошо работает?

— Ну, как хорошо... Сказать плохо...

— Пьет?..

— Ну водки много надо, чтобы свалить его. Напьется и сидит. Ну,— поднял палец,— я-то его знаю.... У него глаза другие, когда он пьяный.

Дмитрий Иваныч с подковыристой усмешечкой:

— Это профессиональная болезнь?..

Ешкин, не поняв, куда он клонит:

— Профессиональная, профессиональная...

Дмитрий Иваныч, улыбнувшись еще тоньше, взглянул на меня:

— Для лесников.

— Э-э, нет! — Ешкин сообразил, что допущен промах, быстро идет на попятный:— Для него профессиональная, он молодой лесник, для меня нет...

— Говорят, он с пекарем нашим очень дружит?

— С Бабкиным-то?..— Пауза.— А чего ему с Бабкиным не дружить, у того мука.

— За муку надо отчитываться?..— предполагает Дмитрий Иванович.

— Э-э!.. Как лесник в лесе отчитывается! — Снова на лице у Ешкина хитрая улыбка человека, знающего себе цену, видящего окружающих насквозь.— Припек у него шестьдесят один процент считается. А он три раза мокрым венником махнет, когда в печь сажает,— еще три процента, для него лично. Тонко?.. Тонко...

Потом Ешкин рассказывает, как шофер вез без накладных гвозди, заехал к Волкову, три ящика осталось. Через месяц кладовщик хватил пропажи. Ешкин взял шофера на бога: мол, за хищение я тебя под суд. Шофер говорит: ладно, найдем. И по ящику, три ящика за месяц привез.

— У тебя, Дмитрий Иванович, у тебя со склада! А ребята твои вон на этот дом списали...

— Когда это было?

— В августе. Тонко, да?..

Они сидят вполоборота друг к другу, оба в синих потертых кителях с погонями, оба не первой молодости, оба за жизнь достаточно нагляделись на всяких ловкачей. Ешкин смотрит на таких понимающе, как бы сверху вниз, он не мешает им жить, лишь бы они его не трогали. Сам он законы не преступает, обходится: так спокойнее. Дмитрий Иванович, если бы не мое присутствие, несомненно, помянул бы крепким словом родителей ловкача Волкова, удивился бы бессильно в который раз: ну не живется честно, почему?.. Есть такая категория людей, честных от самой своей природы, им невозможно постигнуть, что множество других живут иначе. Потому, как я теперь понимаю, хотя стимулы, толкавшие молодого Дмитрия Иваныча и недавнего начальника здешнего строительства Алексюна ломать голову на изыскание средств, как сдать объект к «дате», были вроде бы одинаковы: мода времени — но методы достижения цели принципиально разные.

Алексюн, видимо, был человеком мелкого масштаба, к тому же с авантюрной жилкой, поэтому «волевая цифра» сдачи пути, не подкрепленная техникой и финансами, служила ему самооправданием, развязывала руки: пожалуйста, если приказано, я доброшу рельсы куда надо, но всем понятно, что качественный путь с

имеющимися у меня на то ресурсами в такие сроки построить невозможно. Поэтому будем «делать вид», рапортовать в указанный час, а на то, что эту готовую дорогу еще десять лет после сдачи в эксплуатацию необходимо приводить в более-менее годное для безаварийного движения состояние,— закройте глаза.

Всем, наверное, памятны рапорты передовиков производства, выполнявших свое пятилетнее задание за один год. Тут существует три варианта: либо рапорт липа, либо задание липа, либо человек выдумал нечто, совершившее серьезный переворот в существующем способе производства, поэтому невозможное стало возможным. Вот Дмитрий Иванович и был таким «рационализатором производства поневоле»: «рапортовать» хотелось (все рапортуют, чем он хуже?), а халтурить, портачить ради рапорта он не мог.

Ну, ладно, тем временем мы с Дмитрием Ивановичем кончили исторический экскурс в его биографию, начали говорить о делах сегодняшних. Дмитрий Иванович поднялся, тяжело заходил по салону, лицо его подтянулось, оживилось. Каждый раз, когда он резко поворачивался, колыхалось пламя оплывших, коптящих свечей.

...Отношения с заказчиком и субподрядчиками, плохое снабжение техникой и стройматериалами, скудное финансирование — сколько раз я услышу позже то же самое, едва ли не в тех же выражениях, от других начальников больших и маленьких строителей. О том же самом будут говорить, спустя год, на декабрьском Пленуме ЦК, и разговоры эти, наконец, узаконятся. Ну, а незадолго до пленума мой очерк, где добросовестно сведены вместе все эти разговоры, швырнет редактор одного толстого журнала: «Нужно понимать, что это такая политика: мы двадцать лет строим сто предприятий легкой промышленности — и вводим их в эксплуатацию одновременно!..»

Теперь и ребенку ясно, что за двадцать лет эти предприятия безнадежно устареют, поглотят средств во много больше, чем запланировано, ибо, если даже объект находится на консервации, весь инженерно-технический персонал зарплату тем не менее получает, к тому же за двадцать-то лет столько будет поправок к первоначальному проекту, переделок, изменений! И

велись эти разговоры всего-навсего десять-одиннадцать лет назад! Мы повзрослели, поумнели за это время, да и деньги наконец считать учимся...

На следующий день я прощаюсь с Дмитрием Ивановичем и уезжаю дальше по трассе.

## 2. ЮГАНСОН И РАВДО

Ну вот я и на Бискамже, живу в заезжей, где стоит восемь коек, застеленных серыми байковыми одеялами и сомнительной чистоты бельем. Тетя Галя, убирающая в заезжей, уверяет, что белье чистое, просто неглаженое: нет углей для утюга. Я в заезжей одна, за стенкой грохает кастрюлями Маруся, жена здешнего строймастера Артемьева. Она то и дело выбегает во двор, выплескивает помои, развешивает белье: деятельная женщина. Сегодня утром она забежала в заезжую, спросила, не холодно ли, оглядела меня с ног до головы, беспокойно нахмурилась. Теплее после ее посещения в заезжей не стало: тетя Галя говорит, нету дров, нечем топить. Растролковала мне тетя Галя и то, почему так беспокоится Маруся: они с Артемьевым сошлись совсем недавно, и Маруся ревнует. Тем не менее утром, проглотив кусок хлеба с консервами и запив холодной водичкой из Бискамжи, поскольку столовой в поселке нет, я снова отправляюсь на стройдвор, хожу с Артемьевым по объектам, разговариваю. Дело есть дело.

Пригрело солнышко, свистит какая-то птица, сверкают, обтекают золотыми каплями сосульки на карнизах, падают с нежным звоном. Тает снег — мазками на черной сырой земле, будто кто мыльную пену выплеснул. И Бискамжа шумит.

Маленький разбросанный поселочек уложен в просторном крестообразном распадке между трех сопок, течет по этому распадку множество мелких таежных речушек: Бискамжа, Тузахсу, Тёя, еще какие-то безымянные притоки. Сопки покрыты хвойной тайгой, внизу желтеют венцами несколько новеньких изб: частное строительство. Когда я приеду сюда спустя пять лет, тут будет большая узловая станция, шумный поселок, рудник неподалеку. Леспромхоз посведет, посдерет до

былочки тайгу вокруг, сопки оголятся, красота пропадет. Но сейчас тут красиво и тихо.

Пожалуй, слишком тихо: рабочих осталось пятьдесят четыре человека, они ковыряются помаленьку — чистят просеку, достраивают два, начатых еще летом, барака, кряжуют и распиливают на доски лес на стройдворе. Я была здесь в прошлом году, тут работал отряд взрывников, две мехколонны, мостопоезд — сотни рабочих, техника, было шумно,людно, делово. Несколько месяцев назад Бискамжу «законсервировали», спецподразделения сняли, большинство сборных домов увезли. Дмитрий Иванович сердито рассказывал мне про эту «министерскую чехарду», и тут, едва ли не от каждого, я слышу удивленные вопросы: как же так?..

Рассказывал мне вчера про это Артемьев и тоже удивленно спросил: «Ну, почему так, по-моему, это бесхозяйственно?..» А что ответить? Почему я знаю? Все эти финансово-плановые проблемы для меня покуда темный лес. Карта страны для меня пока просто лист бумаги, на котором есть два живых объемных кружка: Москва и этот кусочек лесной земли. Соединены они полосой, по которой проходит железная дорога,— эту полосу я тоже помню зримо километр за километром: лес, вокзалы, речки, стога сена, одинокие огоньки в домах путевых обходчиков... Увы, этого слишком мало, чтобы понять, что же происходит, как вообще обстоят дела. Я только слышу в себе тоскливо-сладкий шум крови, когда думаю о России, я люблю ее, правда, абстрактной, бездеятельной, но, как и все мое поколение, фанатичной любовью. В нас еще жива память о закрывавших амбразуры, шедших на таран, всходивших на помосты виселиц. В октябре сорок первого года мы с подружкой (тоже шестиклассницей) сделали из кегли и тряпок гранату и практиковались в метании: собирались в партизаны. Армия обошлась без нас с Маруськой, однако неизрасходованный запас самопожертвования еще долго сохраняется во мне. Лишь с возрастом я пойму, что все-таки, наверное, гораздо труднее всю жизнь, не поступаясь убеждениями, не теряя веры, делать какое-то маленькое, нужное людям дело, нежели один раз взойти на костер. Я увидела в командировках людей, которые при всей нашей тогдашней

хозяйственной неразберихе, когда многие ловкачи рвали куски от плохо охраняемого пирога, оставались безукоризненно честными, старались вести дела так, чтобы в подчиненном им месте людям легче, сытее, умнее жилось.

Ну вот, а пока я недоумеваю вместе с Артемьевым, как же так получается, что в марте 1954 года мехколонны и взрывпоезд (технику, людей, сборнощитовые дома) начали перебрасывать через перевал в Бискамжу здешними немислимыми дорогами, в мае эта передислокация была кое-как закончена, а в феврале следующего, 1955 года пришел приказ спецподразделения со строительства снять, перебросить в другое место. И снова три месяца их перевозили обратно, только что поставленные и заселенные сборнощитовые дома разобрали, в спешке половину щитов разломали и покорежили, половину сожгли. И сейчас по поселку тут и там валяются то обломки рамы, то полураздавленные гусеницами тракторов щиты. Сняли с места людей, которые к тому времени пообзавелись каким-то хозяйством, запаслись дровами, картошкой: рассчитывали здесь прожить несколько лет, благо работ непочатый край. Многие не захотели уезжать, так что и кадры поразогнали. Дмитрий Иванович договорился, чтобы оставили на Бискамже клуб и один дом — заменил за перевалом равноценными несобранными домами. Клуб стоит шестьдесят тысяч, а были бы дрова... Я видела этот клуб: в самом конце поселка длинный одноэтажный дом, рассчитанный на пятьсот мест, не больно-то красивый, но, конечно, какое-то теплое место, где можно собраться, потанцевать, посмотреть кино.

Ну ладно, допустим, такая переброска была вызвана крайней необходимостью: в другом месте эти мехколонны были нужны позарез и надолго. Но в апреле они уехали, а в октябре опять приезжают. И стоит такая перестановка фишек с клетки на клетку миллионы рублей... Перечитываю я эти свои записи сегодня, двенадцать лет спустя, и удивляюсь: неужели уж до такой степени были мы безалаберны, не умели хозяйствовать?.. Увы, да...

Я хожу за Артемьевым по объектам, смотрю, где что делается, старательно записываю. Артемьев очень

высокий, начинающий полнеть сорокалетний мужчина, моложавый, со свежим, розовым лицом. К его интеллигентному нежнокожему лицу и серым навывкате неуверенно настороженным глазам как-то не идет ватник, кирзовые сапоги, грязные, неизвестно из какого материала, брюки. Разговаривает с рабочими он негромким, сдержанным голосом, я представляю, что, в общем, по идее, наверное, так и надо — не орать же? Но в глазах у него стоит робкое опасение, что распоряжений его не выполнят, — и точно, их не выполняют.

А ведь Артемьев — единственное начальство в этом, удаленном от милиции и прочих органов власти краю. Он тут должен быть за все: за начальника милиции и начальника загса, за культурника и политпросветчика. И, конечно, за начальника работ, какие горстка оставшихся должна производить здесь. А он не тянет, хотя и грамотный интеллигентный человек, хороший, как рассказывают, специалист. Впрочем, в чем тут дело, долго гадать не приходится. Артемьев вместе с матерью, когда-то сбежавшей от революции в Китай, вернулся года два назад на родину. Сначала работал трактористом где-то в Омской области, вспоминает он об этом, как о самых счастливых днях жизни: «Особенно почему-то памятна мне ночная пахота. Знаете, одиночество, звездное небо, запах земли и соляра, и такое какое-то счастье, умиротворение в душе...» К тому, что ему, инженеру по образованию, возможно, придется работать физически, он был готов и работал хорошо: тут все зависело только от него. Но к тому, что придется уговаривать, уламывать людей, делать то, что они обязаны делать, Артемьев был явно не готов, да и не приспособлен. Он привык, что если человеку за что-то платят деньги, то он старается делать свое дело хорошо, в ином случае деньги платить перестанут.

— А почему пеньки такие высокие? — спрашиваю я.

«Высокие» — сказано очень мягко: пни на просеке мне по плечо, а росту во мне метр шестьдесят пять сантиметров... Артемьев безнадежно машет рукой:

— Зимой лес валили, снег поленились расчистить, ну и вот. Снегу тут метра полтора наваливает...

Вечером Артемьев заходит ко мне в заезжую по-

болтать: свежий человек, ему скучно здесь. Маруся грохает за перегородкой кастрюльками, пробегает мимо окон, наконец заходит в заезжую, сердито подпирает холодную печку плечом, скрещивает на груди руки.

— Ты, Саша, чем человеку зубы заговаривать, распорядился бы, чтобы дров напилили для заезжей. В лесу живем, а топить нечем.

— Правда, холодно,— смущенно говорит Артемьев.— Как же вы спите здесь?

— А я не раздеваюсь.

Маруся отпускает по этому поводу соленую остроту, от которой Артемьев краснеет, а я смеюсь. Он поднимается, смотрит на нас обеих, как, наверное, смотрел бы на дикарей острова Таити.

— А я не засну, если не разденусь...— тихо, словно бы про себя, произносит он.

— Я во время войны привыкла,— говорю я.— Топить нечем было, да потом постельное белье порвалось все, мы с сестренкой прямо на голых матрацах спали: тряпье старое навалим на себя, наденем что потеплее и спим. Бомбежка, всюю стреляют, а мы спим...

— Без простынь?..— улавливает Артемьев в моей скороговорке поражающую его мысль.— Но вы говорили, ваш отец окончил Томский университет?

— Да, юрфак и военную бронетанковую академию уже при советской власти. Он читает на всех европейских языках, знает наизусть много из Вергилия...— подхватываю я подводное течение мысли Артемьева, продолжаю игру-дразнилку:— Дедушка мой, между прочим, дослужился до полковника царской армии...

— Значит, вы интеллигент в третьем поколении?...— В глазах Артемьева страдание, недоумение, растерянность.

— Ну ладно пустяки болтать, лучше наколи дров и воды принеси,— произносит Маруся тоном приказа.

— Я скоро приду,— холодно отвечает Артемьев, вспомнив, наверное, что сам-то «интеллигент в десятом поколении»: мать его бывшая дворянка.— Иди, нам еще поговорить надо.

— Да ничего, Александр Николаевич,— меняю я



тон.— Меня Равдо звали в гости, уже пора идти. Мы еще поговорим, я, наверное, с недельку проживу.

— Заходите к нам как-нибудь,— просит он.— Мама будет рада, ей скучно здесь. Посмотрите библиотеку, я огромную библиотеку привез...

— Зайду...

Я так и не зашла к ним: мне было неинтересно, мы просто говорили на разных языках. «Интеллигент в третьем поколении» — как он выразился,— я была тогда вовсе необразованна. Машиностроительный техникум и вечернее отделение Литинститута, где я к тому же дремала на лекциях, потому что уставала на заводе,— недостаточное образование. Имена Цветаевой, Гумилева, Ходасевича, даже Теффи и Аверченко, о которых пытался говорить со мной Артемьев, были почти не знакомы, а из стихов королевы нашей поэзии, царственной, удивительной женщины Ахматовой, я знала лишь несколько строк. Узналось все это много позже, возможно, слишком поздно. Потому-то я и была с Артемьевым, в общем, конечно, жестока, хотя по натуре я человек вроде бы не злой, а в то время даже наивно-доброжелательный к людям. Просто я все еще испытывала влияние отца, который был категоричен в суждениях, отрицал всякую «убогую» поэзию, «интеллигентскую мягкотелость», гордился, что ушел в тридцатые годы из Верховного суда на завод, работал мастером в цехе, преподавал вечером в рабфаке. Меня он стриг под мальчишку лет до двенадцати, покуда я не вышла из повиновения и отпустила косы. Он же настоял, чтобы я пошла в техникум. Уж такое, когда я росла, было неустановившееся, противоречивое время, и на мне, как на всем моем поколении, лежит его немного смешная, немного трогательная печать...

Артемьев уходит с Марусей домой, мне слышно, как она начинает кричать за стенкой всякие слова в его и мой адрес. Артемьев молчит, как молчал отец, когда ругалась мачеха. Интересно, какие у Артемьева с Марусей будут дети?..

Солнышко садится, за гривкой пихт по гребню сопки — красная полоса, выше — малиновые разводы. Земля взялась морозцем, хрупают под сапогами льдинки, воздух обжигает щеки...

Нина Владимировна Равдо — маленькая плотенькая женщина с жесткими крохотными руками, обвязанная под грудь серой пуховой шалью, с пучком пепельных волос на затылке. Сероглазая, большелобая, быстрая, улыбчивая. Говорит больше она, муж ее, плотник Григорий Матвеевич Равдо, помалкивает. Впрочем, сегодня днем он сам подошел, сказал, что ему хотелось бы побеседовать со мной, как с журналисткой. Мы тут же сели на каком-то бревне, я записала, что здесь уже два месяца не выплачивают рабочим зарплату, не привозят кино, газеты приходят с многодневным опозданием, письма теряются. Записала номер его письма в «Правду»: ответ оттуда он получил, однако, дела в поселке не изменились. Григорий Матвеевич пригласил меня вечером к себе: «Жена будет рада с вами поговорить. Она учительница, а в школе тоже такое творится!..»

И вот я пришла. Живут они в обыкновенном сборно-щитовом доме: две маленьких комнаты и кухня. Тепло, уютно, полы намыты, выскоблены, на столе сковородка с жареной картошкой, крупно нарезанный лук (здесь это деликатес: в магазине никаких овощей не бывает), сало, горячий чай, варенье. На стенах аляповатые картины, на подушках, на комодe — вышитые салфетки, тюлевые занавесочки, накидки. Однако по тем временам все это — главные признаки уютного обеспеченного жилья, в «хороших» квартирах, обставленных иначе, я просто не бывала: не звали.

Нина Владимировна горячится, рассказывая, что совсем недавно здешняя школа находилась под одной крышей с конторой и красным уголком: с одной стороны неумолчно гремело радио, с другой — «разговаривали» рабочие с мастерами и бригадирами.

— Ребятишек у начальников нет, вот они и не беспокоятся о школе, — вставляет Григорий Матвеевич.

— Вот именно, — подтверждает жена и улыбается мне. — Записали? Ну ешьте картошку, пока не остыла, чай пейте. Небось на сухомятке все? В заезжей и плиты-то нет, чаю не согреешь.

— Наглядной агитации нигде в поселке нет, — говорит Григорий Матвеевич. — Посмотрите: ни плакатов, ни Доски почета, ни стенгазеты.

— Из роно, сколько я здесь работаю, никто не приезжал: добираться сложно,— перебивает его Нина Владимировна.— Отчеты мы высылаем регулярно, о недостатках здешних пишем, но читаются ли эти отчеты? А может, здесь нет ни школы, ни учеников? Может, учителя просто зарплату получают?.. Вторая учительница Лидия Павловна совершенно неквалифицированная, с безграмотным языком, авторитетом у ребят не пользуется. Пять учеников у ней и те балуются... И никто не приедет, не проверит...

Равдо узкоплечий, впалогрудый, с большой головой. Глаза у него карие, умные, на скулах румянец: у него туберкулез, потому они и приехали сюда с Печоры. Врач посоветовал: уезжайте, мол, из тундры туда, где леса есть. Супруги посмотрели на карте, где зеленое погуще, выбрали станцию Таменка, недалеко от Барнаула, отправили багаж, а сами заехали дорогой к друзьям в Новосибирск. Увидели объявление, что новой строящейся дороге нужны рабочие разных специальностей — заворачивались сюда.

— Ну, а что ж вы не уедете? — искренне удивляюсь я.— Вам с вашим здоровьем в таких тяжелых условиях... К тому же снабжение плохое.

Супруги переглядываются. Нина Владимировна смеется:

— Мы уезжали. Григорий Матвеевич сначала здесь строймастером работал, с начальством не сработался: выступать на собраниях с критикой любит. Ну мы и уехали. Через полгода вернулись: места уж очень хорошие, да и привыкли...

— Хорошо тут...— поддерживает жену Равдо.— Через пяток лет узловая станция будет, рудник рядом. Тайга: охота, шишки, ягоды... И чувствую я себя здесь хорошо: не температуру... Дом свой поставим...

Через пять лет!.. Интересно, как это люди умеют заглядывать на столько вперед... А я вот вижу лишь разруху, запустенье, беспорядки; у меня волосы дыбом встают от здешних беспорядков!

Походив с утра до полудня за Равдо или бригадиром плотников Пантелеевым, я уйду от Бискамжи километров за десять, туда, где кончается и дорога и просека, начинается нетронутая тайга. Впрочем, впереди

по трассе есть поселки, золотые прииски: Неожиданный, Безымянный, Балыксу, еще какие-то. С запада от Ново-Кузнецка движется помаленечку другой отряд строителей: километров сто до смычки осталось. Так что дикость здешних мест, конечно, относительная, но мне хватает, чтобы почувствовать себя в тайге, в полном сладком одиночестве.

Я сажусь на корягу на берегу речушки, мысли ходят какими-то смутными тенями, движение их я счастливо ощущаю: это хорошие мысли, надежды на необыкновенное. Потом я заставляю себя достать блокнот, записываю виденное и слышанное за день, потом снова слушаю, как шумит река.

До чего же спротививый характер у этой реки! Недаром ее зовут Тузахсу — спутанная. Течет она влево от меня, вниз к Томи. И, насколько видит глаз, образуется в ней какое-то супротивное встречное течение. Зеленая малопрозрачная вода течет, шумит, всплескивает, едва просвечивают на дне синие и красные валуны, а белые стеклянно сверкающие гребешки взбираются на ребристую текучую поверхность, пытаются перебороть, хоть немного да пробежать против течения, но слабеют, опадают и возникают вновь. На скале на другом берегу — голенькая почти уже березка, по нижним ветвям ее тянется голубоватый, как дым, лишайник, редко обвешана она мелкими, сверкающими, точно копейки, листочками. Еще две березы ниже по течению, согнулись, опустили тонкие ветви в воду, подрагивают, позвякивают тяжелыми гроздьями белого льда. Я пошевелилась, остро и терпко запахло кусты смородины — таежный, сладкий мне, тревожащий запах. Теперь, наверное, до конца дней будет счастливо сжиматься сердце, когда я буду слышать запах обломанных кустов смородины: молодость, первые командировки, надежды — счастливая, невозвратная пора...

Я каждый вечер ужинаю у тети Гали, ем жареную картошку с салом, пью горячий, очень сладкий чай, хлеб с маслом и с вареньем. Ужин отличный, но еще лучше, что в грязноватую и тесную тети Галину кухню приходит экскаваторщик Югансон, и с мужем тети Гали они начинают взапуски вспоминать разные интересные вещи.

Рудольф Вильгельмович Югансон родился в Омской области: там были эстонские поселения. За свои пятьдесят лет где он только не жывал, кем не работал: в Москве машинистом на паровозе, экскаваторщиком на разных стройках, заведующим учебной частью школы ФЗО в Свердловске.

— ... Ребятишки меня любили,— вспоминает Югансон.— Я их всех в одинаковые костюмчики одел, чтобы зависти не было. Игры купил, музыкальные инструменты: ходили со старшими ребятами уголь разгружать, деньги зарабатывали. Самым шалунам я поручал на ответственность музыкальные инструменты. Да я и не ругал их никогда: обувь порвут или одежду — вот гвозди, молоток, нитки, чини сам. Новое-то где взять: война. Стекло разобьют — вот алмаз, замазка, вставляй сам. Надо показать если — я на все руки!

Югансон делает паузу, с усмешкой ожидает, чтобы я записала: он из тех, кто любит, да и привык (во время работы в мехколонне портрет его не сходил с Доски почета) давать интервью журналистам; рассказывает о себе много, подробно, хотя и знает, что в газете всего-то появится заметочка в десять строчек.

— Я любил в молодости ходить чистенько. Купил швейную машинку и свой костюмчик, пока не износился, раз семь перелицовывал. У нас, у эстонцев, принято было, что юноша в свободное время либо вяжет, либо вышивает. Я и сейчас умею...

Несмотря на свои пятьдесят лет, Югансон еще красив тяжелой мужской красотой, руки у него тоже очень хороши: длинные, сильные, с длинными тонкими пальцами, на портретах такие руки рисуют музыкантам либо хирургам. У него умные глаза с хитрой прищурочкой, непонятная улыбка, будто он прикидывает посмеиваясь: «А ну-ка, ну-ка, что ты за человек, разобраться надо...» Вот только шевелюра подкачала: дядя Рудольф лыс, из-под грязной шапчонки блином, которую он не снимает даже в помещении, вихрами торчат остатки волос. Таня, молоденькая жена Югансона, иной раз сбросит с него кепку: «Да ладно, кому ты тут нужен, дед!..» Заблестит лысый череп, а по бокам, клочками,— черные сальные патлы; сразу лет на пятнадцать старше дядя Рудольф становится. Он быстро, с усмешкой надевает

шапку, замахивается шутя на Таню: «Ладно, не ревнуй!..» Мне, если честно, тоже неприятно, когда дядя Рудольф делается некрасивым и старым, я согласна с Уайльдом: «Для меня красота — величайшее чудо из чудес, только пустые люди судят не по наружности, не невидимое, а видимое — вот подлинная загадка мира». Впрочем, с моими будущими героями происходят превращения: человек, который при первом знакомстве кажется некрасивым, иногда почти уродливым, постепенно, по мере того как я узнаю его ближе, походив за ним, поговорив с ним и о нем, вроде как бы хорошеет, мне уже доставляет удовольствие смотреть на него, я скрупулезно записываю его портрет, наивно полагая, что читатель, да и сам герой, прочтя мое описание, увидит все так, как я вижу. Толстые щеки и мясистый нос Дмитрия Иваныча или рыжие сухие волосы и густовеснушчатое плоское лицо Ани Рысаковой я записываю так же жадно и любовно, как синие камни и супротивное течение Тузахсы: мне хочется взять это с собой, поглотить. А мои герои после присылают мне обиженные, раздраженные письма: «Разве можно так писать о живых людях?..» Просто я еще не умею, не в силах передать то излучение, свечение личности, которое, независимо от носа картошкой или рыжих, тогда еще не модных косичек, чувствую я, чувствуют окружающие — подчиняются ему, как подчиняется радар уловленной радиоволне.

— Я вообще человек веселый,— говорит Югансон, громко прихлебывая горячий крепкий чай.— Вот когда у нас тут мехколонны стояли...

Я прихожу к себе в заезжую, зажигаю огарок свечи и записываю историю освоения Бискамжи, как это представляется мне со слов Югансона и тети Галиного мужа.

*«...К пятьдесят третьему году уже проложили путь от Аскиза до Портала, общей протяженностью сто с лишним километров. Перед Порталом путь упирается в гору, здесь строится тоннель длиной две тысячи триста шестьдесят метров — второй по протяженности в Советском Союзе. К пятьдесят третьему году тоннельщики прошли всего сто двадцать пять метров, надо было решать, ждать ли два-три года, пока пробьют тоннель, и*

уже по нему перевозить технику дальше, либо попробовать перебросить через перевал машины и людей, начать делать просеку в тайге, а после отсыпать земляное полотно.

Решили не ждать. Забросили через перевал машинами несколько экскаваторов, и девятого ноября пятьдесят третьего года начали пробивать дорогу к будущей станции Бискамжа.

Было морозно, в тайге уже лег неглубокий снег, прикрыв пожухлую, жесткую, как проволока, траву. Экскаватор подцепил ковшом под корни ближний кедр, тот хряснул, качнулся, разрывая мерзлый, спутанный, как войлок, дерн, накренился — и, продираясь ветвями сквозь гущу других, хлопнулся оземь. Перед кабиной экскаватора поднялся, заслонив ни мгновение свет, мелкий снежок. Из рваной, на полметра в глубину ямы пошел пар. Трактором оттащили кедр в сторону, стрела экскаватора была занесена над другим. Работали, пока было светло, ночевали по-охотничьи, у костра. Так продолжалось до тех пор, пока не отошли километров на десять, тогда поставили палатку, сделали из бочки из-под солидола печку. Как-то ночью палатка загорелась, огонь удалось потушить, но в парусине остались огромные дыры, которые кое-как залатали капотами от тракторов. Так и жили.

Плохо было с подвозом продуктов: по развороченной гусеницами экскаваторов дороге не шли машины. Изредка приезжал трактор, завозил хлеб, муку. Девчата из староверческого села пришли работать, привезли два мешка картошки, а та померзла, пока везли. Придумали ее печь в костре; черное ведро из-под солярки ставили в костер посреди жара кверху дном, сверху накладывали углей; через час картошка готова: рассыпчатая, вкусная и не сладит.

Люди пожилые думали о работе, а молодежи хотелось развлечься. Изобрели музыкальный инструмент: на черемуховый сук, согнутый луком, натянули тонкую проволочку, посередке к суку приделали патефонную головку с иглой, которая упиралась в проволоку. Тренькает, тренькает кто-нибудь на этой балалайке с вечера до полуночи, спать мешает. А встать и дать по шее неохота: сапоги у печки, земля же в палатке холодная.

До восьмого марта жили все в этой палатке, потом выбросили несколько небольших отрядов дальше по трассе. В Бискамже была избушка изыскателей, один отряд в ней разместился; на том месте, где скрещивается Томь с Тузахсой, охотничья фанза стояла — жили и там; наконец просто под открытым небом: двести килограммов топлива возьмешь — и на три дня вперед в тайгу уходишь. От темна до темна вкалываешь, вечером большой костер запалишь, догорит, угли разгребешь — и до утра снизу подогревает, как на русской печке...

Рукавицы все соляром пропитаны, не греют, молодые ребята, случалось, руки обмораживали. Ну а «старички», вроде Югансона, знали способ: в работе руки не мерзнут, а когда домой идешь — намочил, снегом обвалял, потеют руки...

В конце мая, в начале июня здесь начинает таять, к этому времени все перебросили по зимнику, поставили первые дома. Перевезли мехколонны и взрывпоезд. С приездом мехколонны Бискамжа ожила: открыли пекарню, «смешанные» магазины, котлопункт. Поставили клуб, там каждый вечер бывали танцы, устраивали концерты самодеятельности, конкурсы. За лучший номер давали хорошие премии. Шестидесятилетнему деду Налимову с бородой по пояс дали портсигар за русскую пляску; Ализе Чегодаевой — отрез на платье за исполнение хакасских народных песен. Замполит мехколонны Довенко придумал конкурсы по стрельбе: стреляли в цель, в подброшенную кепку, — тоже премии давали.

Ну, а Югансон учил молодежь культурному поведению на танцах, показывал, как нужно танцевать в тесноте, не толкаясь.

Коллектив на Бискамже подобрался дружный. Если же к ним попадал кто-то из бывших заключенных, его предупреждали: «Смотри, у нас тут милиции нет, медведь — прокурор. Убьют, никто не узнает». Один такой деятель украл костюм у главного инженера мехколонны, а куда понесешь — кругом все свои. Закопал в снег. Но такие люди были у поселковых на примете, приходят к нему: «Ты взял, некому больше. Лучше отдай». Отдал, только пятьдесят рублей, что в кармане были, пропил. Пачальник говорит Югансону: «Бери ружье, выведи его



*за поселок, пусть катится. И знать не хочу, что с ним будет!..»*

В один из моих ужинов у тети Гали зашел разговор о ребятишках Югансона, и, слово за слово, он рассказал историю, как у него умерла жена от рака, а он остался один с тремя малышами. История эта, рассказанная неторопливо, смачно, с потрясающими пронзительными деталями, меня так поразила, что я даже не стала записывать ее, запомнила от слова до слова.

Он прожил с женой семнадцать лет в мире и согласии, детей долго у них не было, они взяли приемыша, потом родилось своих двое. Когда обнаружилось, что жена больна раком, старшему было восемь лет, дочке — четвертый, младшему — шесть месяцев. Рудольф Вильгельмович был в это время где-то в тайге, сообщили ему, когда жену увезли в больницу. Он взял большой аванс в конторе: рассчитывал денег не жалеть, чтобы вылечить жену. За старшими он просил приглядеть соседку, а меньшого оставить было не на кого, он взял его с собой: сунул под телогрейку, нажевал в тряпочку хлеба с сахаром, малыш ручонками по груди шарится, сосет и спит. Пока ехал в поезде, соседи поглядывали с опаской: здоровенный мужик, весь в солярке, и ребенок с ним; в Новосибирске его на улице задержал милиционер. Недоразумение выяснилось, его отпустили, он поехал в больницу. Но жена уже умерла. Похоронил ее, вернулся домой. Приходят соседи с советами, с соболезнованиями. Одни говорят, что надо ребят определить в детский дом, сосед-механик маленького просил ему отдать: у него своих детей не было. Югансон послушал-послушал, потом сказал: «Мои ребятишки, со мной и будут. Я в лепешку разобьюсь, а для них все сделаю...» Сам ходил рваный, работал с утра до ночи, а ребята чистенькие, хорошо одеты, все у них есть. И никогда он их не бил. Поставит перед собой, в глаза смотрит, начнет выговаривать: «Так что, ты думаешь, так и надо, значит? Ты стекла у соседей бить будешь, а я плати? Так и будет? А ты видишь, как я работаю?» Когда бы он ни вернулся с работы, стоит только стукнуть, сейчас проснутся — крик, шум: «Папка пришел!..» Кровать широкая, маленькому штаны с резинками наденут, все вместе улягутся спать. Старший в семь лет уже готовить умел, хозяйство вел; дочка вышивает,

шьет. Если отец когда пьяный придет, ребята его разденут, спать уложат, а он и пьяный не буянит, не ругается.

Женился. А новая жена невзлюбила детей. («Мне, мол, старшего не надо»,— рассказывает Югансон.— «Ну, а мне тогда тебя не надо!») Мехколонна ему сто рублей на няньку давала: работа у него больше всего в тайге, с ребятишками дома кто-то взрослый быть должен. Перебрал он много няnek: одна хозяйство вести не может, другая неряха, у третьей с ребятами не получается. Наконец нашел. Побыла в няньках, после он женился на ней, и сейчас живут хорошо.

— Я жену ругаю, если она что не так делает,— говорит мне дядя Рудольф и смотрит покровительственно: он не больно высокого мнения о моих хозяйственных способностях, вчера сделал мне замечание, что я вырванный на куртке клочок заметала на скорую руку.— Ругаю не за то, что напортила, а чтобы дочка училась все делать правильно. Если дочка заплатку пришьет не так, я ей: отпори и сделай снова! Ты запоминай, тебе самой пригодится. Сколько твоей дочке— три года?.. Ребятишки без дела не должны сидеть никогда. Я домой пришел, вижу, малыш из угла в угол слоняется. Даю веник: подметай! Кончил подметать, молоток даю: гвозди прями!.. Если ребенок ничем не занят, он озоровать начинает.

«Ах ты, мудрец таежный!..» — растроганно думаю я. Дочка осталась дома с мужем, я скучаю по ней, мне близка эта нежность грубого мужика к малому, незащищенному.

— Тысячу рублей получать в городе, это какое образование надо иметь!— отвечает дядя Рудольф на мой вопрос, чем ему тут уж так нравится.— Слесарь пятого разряда, пожалуй, столько получает, а как вкалывает?.. Здесь я на экскаваторе получал по четыре-пять тысяч, ясно? Сейчас тысячу получаю— так у меня над душой никто не стоит, и работой я не надрываюсь... А главное, места мне нравятся. Домик свой поставил, просторно, ребятам привольно... Мехколонна уезжала, я: мол, дети, куда мне с места срываться? Начальник согласился, только, говорит, кем ты работать будешь, экскаваторы-то уходят! Работу я себе всегда найду!.. В кузнице гвозди делаю, детали для трактора, без дела не сижу...

Он, тетя Галя, ее муж смотрят на меня снисходительно и с сожалением: как вы там живете в городах? Теснота, суета, шум, воздух плохой. А здесь — вольно...

### 3. В ГОСТЯХ У МУХИ

До Берекчуля, где помещалась контора стройпоезда и квартира начальника Петра Васильевича Мухи, я добиралась на выдавшем виды газике. Шофер Володя то и дело объяснял мне: «Здесь Васька на прошлой неделе в кювет слетел... С этого моста весной грузовик кувырнулся, ничего, шофер жив остался... Тут мы ночью засели, еле выбрались... А вот перед этим прижимом замполит наш из машины вылезит и пешком идет...»

Мне уже приходилось «летать» в кювет, и «сидеть», слушая, как завывает, захлебываясь в жидкой грязи, машина, правда с моста я еще не падала, да не хватает совести выходить из машины перед Большими прижимами, где действительно частенько бывали аварии,— тем не менее внимала я Володе со спокойствием вполне бывалого человека, каковым к тому времени себя считала.

Проехав еще километра три, газик встал. Деревянный мост через речку был разобран, рядом лежали свежеекоренные бревна. Володя почесал в затылке, махнул рукой и пустил машину по глубокой наезженной грузовиками колее. Как и следовало ожидать, где-то посреди речки газик сел дифером на высокий валун. Более часу мы возились, толкая его туда-сюда, потом все-таки он выполз обратно на берег, мы принялись укладывать бревна на мост, провозились еще час. Проехав десять километров, газик остановился, снова осев на правый бок: прокол!.. Ждать, пока Володя сменит колесо, я не стала, пошла пешком, через два часа я была в Берекчуле, газик меня не догнал.

Мне сказали, что дом Мухи находится рядом с базаром.

За кухонным столом, заставленным грязной посудой, сидели спиной ко мне женщина в байковом халате и мужчина в брюках галифе и нижней белой рубашке. Он с аппетитом обгладывал баранье ребро, заедая ломтем соленого арбуза.

— Входите, входите! — сказал он мне.

Совершенно круглое лицо, косою коротенький зачес над вмятым лбом, оттопыренные уши, черные брови и неожиданно-голубые, лучистые, детского, ясного выражения глаза.

— Вы Муха? — спросила я, снимая рюкзак. — Вас-то мне и надо!

Скоро мы сидели в чистенькой просторной комнате, разговаривали. Я поглядывала вокруг, пытаюсь по обстановке понять, что за люди хозяева. Тюль на окнах, на подушках, даже на платяном шкафу сверху кусок тюля; над зеркалом на комодке веер фотокарточек, на стенах друг против друга портреты Петра Васильевича и супруги. Обед вкусный, обильный, жирный, с печатью индивидуальности хозяйки: свои соленые (местные, минусинские!) арбузы, свое сало, своя смородиновая, сладкая до приторности, настойка. Дом обеспеченный, солидный, люди живут не кое-как, прочно.

Что за человек Муха?.. За строительство дороги Минты — Чу, где он работал прорабом, его представляли к ордену Ленина, он на хорошем счету у Дмитрия Ивановича, который сам пригласил его к себе работать, встретив в Москве, в министерстве. В то же время здесь дело у него не очень клеится, рабочие жалуются, что он груб, невнимателен к их нуждам, а ведь на грубость тут редко жалуются: работа тяжелая, никто не взыщет за сорвавшееся резкое слово. Равдо плохо отзывался о Мухе: это из-за него он уехал первый раз со строительства — выступил на собрании с критикой, а оказалось, что критику Муха не любит. Наталья Шелепова, бригадир разнорабочих, рассказала мне, что как-то в лесу с ней случился сильный приступ гастрита: съела натошак сухую корку хлеба. Нужно было отвезти ее домой. Побежали за машиной, а Муха не дает: «Ничего не знаю!» «Как же не знаю! — говорила мне Шелепова. — Когда на Доску почета вешать — знал, а заболела — не знает!» В конце концов после долгих уговоров и просьб Муха машину дал, но в памяти-то у человека осталось, что он не давал машину, а не то, что он дал ее... Тот же Муха издал приказ, запрещающий рабочим являться к нему без увольнительной записки от строймастера или начальника участка. Приказ этот, конечно, был отменен, за него Му-

ху даже понизили в должности, но чем, какими душевными движениями мог быть продиктован такой приказ?..

Я прошу рассказать о строительстве Моинты — Чу. Рассказывают хором, перебивая друг друга: жена, дочери — две славные девчонки четырнадцати и девяти лет, сам Петр Васильевич. Рассказывают с упоением, как о каком-то ярком, дорогом периоде жизни. А ведь там приходилось туго.

Линия Моинты — Чу соединяет Карагандинскую железную дорогу с Туркестано-Сибирской. Трасса строительства проходила по Голодной степи, не было воды, не было топлива, не было ничего. Петр Васильевич работал прорабом, в его ведении было несколько строймастерств и вести пятьдесят четыре километра дороги. Когда он уезжал на участок, домой не являлся по две недели.

Строили рабочие поселки, клали путь. Не хватало многого. Петр Васильевич сам ездил в Балхаш, связывался с промышленными предприятиями. На медеплавильном комбинате достал стройматериалы, передвижную электростанцию; в рыболовецкой артели — стекло, гвозди, бензин, камышовые маты для утепления перекрытий домов. Поистине нужна была большая оперативность для руководства таким участком — и Муха ею обладал. Он вспоминает, как начальство приехало ночью на берег Балхаша — и не узнало места. Два месяца назад ничего не было — и вдруг панорама огней, большой поселок...

На работе Муха буквально не щадил себя. Жена вспоминает, как после двухнедельного отсутствия он явился домой в кителе, сплошь заляпанном белилами. Оказалось, что должна была приехать комиссия для приемки дома, а маляр — один, выкрасить к приезду комиссии окна и двери он явно не успеет. И Петр Васильевич на сменку с маляром красил столярку: тот — днем, Муха — ночью.

— О себе не думает, — говорит жена со вздохом, и я верю: правда. — Иной раз мимо окон десять раз мелькнет, а обедать не заходит.

Когда Муха прибыл сюда, его назначили начальником стройпоезда. Взялся за дело он горячо, план перевыполнили, получили переходящее знамя, хотя первый квартал года считается здесь самым тяжелым, самым низким по производительности труда: морозы доходят

до сорока с лишним градусов. По бригадам и строймастерствам разъезжали коммунисты, разъясняли, что строят, зачем строят, помогали мастерам и бригадирам руководить, организовывать работу. Фотографии передовиков на Доске почета менялись каждую декаду, показывали действительно лучших.

Однако энергии Мухи хватило только на такую яркую вспышку, на один квартал. Дальше он все пустил на самотек, стройпоезд перестал выполнять план, соцсоревнование сноза превратилось в пустую формальность...

Но вот совсем недавно, в конце сентября, срочно оканчивали восьмиквартирный дом и дом бригадира пути. Закончить эти дома к сроку потребовал телеграммой министр под личную ответственность Коротчаева, тот, в свою очередь, приказал Мухе любым путем подготовить дома к сдаче.

Муха организовал работы по совмещенному графику: одновременно возводились стены и клались печи, перекрытия и полы, крыши и штукатурка. Работали ночью, при электрическом свете, в любую погоду. Был рассчитан каждый день, каждый час. Однажды, когда клали печи, бричка, на которой подвозили воду, сломалась. Катастрофа!.. Пропадал день, а значит, пропало все, так как точная дата приемки уже назначена. Муха обегал близкие колхозы и достал бричку и лошадь.

Когда оштукатурили стены и потолки, надо было срочно стеклить окна: если ударит мороз, штукатурка отвалится. Но алмаз сломался, а другого в поселке не нашлось. Муха пережил тяжелую ночь; то и дело вскакивал, выбегал на улицу — вероятно, если бы подморозило, он собственным телом, как амбразуру вражеского дота, закрыл оконные проемы... Наутро, едва забрезжил рассвет, он поехал на рынок в Аскиз и привез стекльщика.

Все сошлось до минут. В четыре часа назначенного дня прибыла комиссия, дом был заперт на ключ, и двор подметен. Приняли работу на «хорошо».

— Инициативы ни у кого нет! — жалуется Муха. — Если бы мне, когда я был прорабом, начальник участка составил план, я бы его выбросил к чертовой матери: сам я лучше знаю, что и где мне у себя надо делать. А здесь не только план составлять — каждый шаг указывать на-

до: тут гвоздь вбей, тут доску приколотить... Представляете, мне за строймастеров приходится намечать, что они в этом месяце сдают заказчику! Иной раз вроде бы дом готов, а станешь глядеть — то стекла замазкой не промазаны, то плитуса не прибиты. Мелочь — а заказчик не принимает, денег не платит, отсюда и рабочим зарплату задерживаем...

Я спрашиваю про Равдо.

— Не знаем мы этого человека, — говорит Муха и приглаживает гребенкой свой коротенький зачес. Обед окончен, со стола убрано, постелена скатерть, лежат пухлые альбомы с фотографиями.

— Как же, Петр Васильевич, не знаете? — удивляюсь я. — Мне рассказывали, когда в прошлом году в августе вы приезжали на Бискамжу, Равдо на собрании говорил, что вы мало на местах бываете и не оказываете помощь низовым работникам. А после вы приказом сняли его за что-то со строймастеров... Равдо теперь просто плотником работает, а жаль: человек он знающий и, по-моему, как раз инициативный.

— Мы этого человека не изучили, — повторяет Муха и поднимается, давая понять, что разговор окончен. — Я пойду в контору, у меня дела, — говорит он, смягчая тон. — А вы отдохните с дороги, устали небось.

— Я тоже пойду, — говорю я. — Мне тут в поселке еще кое-кого повидать надо.

Мы выходим вместе, идем к конторе, потом я сворачиваю к строящемуся неподалеку дому, а Муха садится в ожидающий его газик.

Я размышляю о инициативе и о том, почему же все-таки хорошо работавший на Моинты — Чу (кстати, и участок там был в два с половиной раза больше, чем здесь) Муха пустил тут все на самотек. Почему вообще на строительстве нет порядка, несмотря на героические усилия со стороны начальников?..

Если собрать вместе все мои тогдашние и сегодняшние мысли, то получается вот что: во-первых, конечно, состав рабочих, бригадиров, строймастеров на Моинты — Чу был другой, чем здесь. Туда были брошены лучшие кадры, каждый знал свое дело досконально, работал, не нуждаясь в мелочной опеке, погонях. Но главное не в этом. Ведь и здесь Муха сумел-таки обеспечить сдачу

и хорошее качество строительства на первых порах. Дело, конечно, в «консервации», в бесконечно растянувшихся сроках, в потере ориентира. Для того чтобы обычный человек проявлял инициативу, необходимо, прежде всего, чтобы он видел, что делает нечто нужное, то, чего ждут. Проявлять же инициативу при перекладывании камней с одного места на другое не станет никто находящийся в здравом рассудке, недаром еще у древних греков боги наказывали людей таким напрасным трудом. Только ясность цели будит инициативу — такая элементарная, примитивная мысль, но, увы, не все об этом, что ли, помнят?..

Ну, а остальные Мухины грехи, надо полагать, проистекают из того же источника. Утратив желание, да и умение организовывать работы, Муха растерялся. Проанализировать, почему это с ним произошло, он не сумел и стал нервничать, увидев в рабочих основных виновников своих неудач. Особым даром подхода к людям он к тому же не обладал никогда, не зря сменил в молодости профессию педагога на профессию строителя...

#### 4. КАРЕЛИНА И ПЕТР АНЧЕВ

Я не записала про Александру Федоровну Карелину почти ничего. Сейчас я уже не помню точно обстановки в ее комнатухе: вроде бы комната была маленькой, на столе, застеленном газетой, лежала буханка хлеба, крошки и большой кухонный нож с деревянной ручкой, постель ее стояла в простенке за печкой, но поскольку окно было большим, то свету хватало, можно было разглядеть хорошо и тряпки, наваленные для тепла на больную, и ее самое. Лицо у ней было рябоватое, большое, темное, оттого глаза казались необыкновенно светлыми, прозрачными. А может, они были такими от перенесенных болей (Карелину мучили приступы печеночной колики). Поверх старенького лоскутного одеяла она выложила сильные мо-сластые руки с большими, как грабли, кистями. И сама она была большая, костистая, как заслуженная рабочая лошадь.

Надо сказать, в те поры я была полна необыкновенной глупой уверенности, что все мои расспросы и разговоры нужны не столько мне, сколько тем людям, с кем я разговариваю. Эта уверенность передавалась собеседникам —



меня охотно терпели, и растолковывали непонятное, так сказать, и «великие» и «малые» мира сего. Сейчас, разговаривая с кем-то по делу, я часто ловлю себя на мысли, что зря морочу голову людям, мешаю работать И, странно, эти мои сомнения тоже передаются собеседникам, последствия бывают самые неожиданные. Это к слову.

Карелина была старше меня всего на десять лет, но, в то время как я выглядела и чувствовала себя, в общем, девчонкой с косичками, она была почти старухой. Мой жизненный путь тоже не был устлан розами, тем не менее по сравнению с ее жизнью все мои неудачи, горести, неприятности казались мелкими и смешными. Увидев ее и поняв это сразу, даже не оформив свое ощущение в какие-то слова, я почувствовала смущение, неловкость: человек серьезно болен, человек этот вообще живет всерьез — и вдруг зовет меня, недоучку, «заявку в литературе», разговаривает уважительно, истово — так раньше, наверное, разговаривали со священниками. Почему? Чем я это заслужила? Что я сделаю, чем смогу ей помочь? При всей своей тогдашней самоуверенности я понимала, что в общем-то изменить ее жизнь я не смогу никак. Теперь я догадываюсь, что и она не ждала от меня какой-то конкретной помощи, она не была так наивна, чтобы верить во всемогущество печатного слова (хотя тогда в него верили больше), просто ей действительно необходима была исповедь. Рассказывать соседкам или приезжему начальству — это было как бы просто жалобой; а тут она выговорилась вся, глядя внутрь себя своими прозрачными глазами, — жизнь ее стала как бы отдельно от нее, как бы видна ей самой со всех сторон. И сразу ей стало будто бы спокойней и легче.

Я мало записывала тогда, наверное от неловкости, но сколько бы потом я ни читала (и ни писала сама) о русских, все выносящих женщинах, я всегда видела Карелину, слышала ее слова: «Я и каменщик и бетонщик, за что ни возьмусь — из рук не выпадет. Другие мужчины не умеют разбирать скалу, а я умею. Скала разбирается слоями: начнешь не с того бэка, употеешь, а ничего не сделаешь. Была у нас бригада восемь мужчин и пять женщин, я с мужчинами равнялась, и лучше выходило...»

Родилась Александра Федоровна в селе Степном Челябинской области. Кончила пять классов, потом выучи-

лась на тракториста и всю войну работала бригадиром тракторной бригады. После войны уехала из деревни, потому что было тяжело, а у ней росли две дочки от мужа, убитого в войну. Поездила по стране, а потом завербовалась сюда. Работала она здесь сначала мотористкой на электросварке, получала четыреста рублей, потому что не было прав, к тому же зарплату им не платили по три-четыре месяца: из-за консервации строительства не числилось у поезда на счету свободных денег. Александра Федоровна про запас не накопила ничего, чтобы как-то жить, приходилось продавать с себя.

— ...Пальто пятьсот шестьдесят за сто шестьдесят продала, сапоги — за четыре ведра картошки. Попросила, чтобы на другую работу перевели, но прогулов не делала. Карасев говорит: «Ладно, трактористкой пойдешь». А Куликов направление порвал: «Ничего, у меня по две смены стоять будешь!..» Ну я и осталась, что делать? Еще ладно, Карасев Василий Андреевич ко мне хорошо относился: видел, работаю честно. Когда три, пять, а то пятнадцать рублей принесет или теще скажет — она в магазине работала — чтобы хлеба, сахару, жиров отпустила в долг. Девочку поставил телефон слушать, тоже ей по наряду вывел... В пятьдесят третьем году хорошо стало, опять оделась, обулась! Сейчас опять трудно, но ничего. Уезжать не думаю. — Она улыбается, глядя на меня с терпеливой надеждой: — Когда живешь ничего маленько, дак забываешь все плохое, когда коснется, дак вспомнишь все...

Мы молчим некоторое время, я неловко улыбаюсь, тереблю блокнот, не решаясь ничего спросить. Лицо Карелиной меняется, становится буднично озабоченным, она деловито начинает перечислять местные недостатки, которые необходимо искоренять.

Белов, Аникин, Полевой и некоторые другие рабочие делают шифоньеры, этажерки, тумбочки на продажу. Материал берут казенный; олифу, краски, гвозди тоже таскают с работы.

— Пришли на работу: на электростанции фундамент нужно было забетонировать. Вечером плотники напилили для опалубки, а за ночь порастаскали. Попросила, чтобы шофер подкинул две машины гравия: ждем-пождем, время идет. Побежала, а шофер, мастер Ездаков и предсе-

датель колхоза выпивают в рабочее время. Начала ругаться, а они послали меня... Потом постороннего упростила, привез две машины. Как вечер — машина на калым идет, колхозникам возит. А время горячее, рабочие соглашаются работать сверхурочно: подвезите нам две машины песка или гравия, — нет, этого нет...

Александра Федоровна слабо и недовольно улыбается, закрывает глаза: устала. Я поднимаюсь. Она снова открывает глаза, улыбается уже доброжелательно. Я обещаю, что не только напишу все это, но даже поговорю в Абакане с Коротчаевым об этих безобразиях. Карелина удовлетворенно кивает, протягивает влажную жесткую руку. Я ухожу.

С Дмитрием Иванычем я действительно говорила обо всех хищениях и непорядках, он тоже возмущался, но вряд ли что смог сделать. Просто мне тогда трудно было понять, что, когда одни люди, подобно Карелиной, честно голодают и даже умирают от голода, не имея в помыслах протянуть руку и взять им не принадлежащее, другие все же выкручиваются. Если человек два-три месяца не получает зарплату, что ему остается делать? Умирать с голоду, идти воровать либо сколачивать шифоньеры из казенной опалубки, потому что купить материалы (даже если было бы такое желание) не на что. Способность выкручиваться, как мне кажется, — свойство общечеловеческое, доставшееся нам по крови от жизнелюбивых предков. Способность покорно умирать с голоду (в то время как по содеянному причитается хотя бы просто приличное житье) — качество специфически российское, усмотренное еще Толстым и Достоевским. Я уважаю людей, умеющих выкручиваться, но жизнь не имела бы смысла, если бы не оставалось на земле праведников, подобных Карелиной.

Петр Анчев человек несколько иного склада. С ним я познакомилась на Портале. Собственно, я его как-то упустила, когда в числе других десяти или двенадцати человек он приходил для разговора в кабинет секретаря парторганизации тоннельного отряда. Вызывал рабочих главный инженер тоннельщиков Емельянов. Я и рта не успела раскрыть, как он, проглядев мои документы, нажал кнопку звонка: «Корреспондент? Сейчас мы вам все организуем...» «Лучших людей» вызывали с работы, я разгова-

ривала с каждым, сколько хватило сил и умения найти, о чем бы спросить, затем входил следующий. В этом потоке я не запомнила ни одного лица, хотя в блокнотах остались фамилии, цифры, какие-то факты. У меня не хватило духу отказаться от любезного предложения: Емельянов действовал на основе личного опыта. Таким образом готовили, да и готовят репортажи и очерки многие газетчики; у меня для них слишком замедленная реакция. Я должна исподволь приглядываться к человеку, прежде чем решу, стоит ли о нем писать.

На мое счастье, при этой беседе присутствовал секретарь местной комсомольской организации Леонид Шарф. Он неодобрительно слушал, как я беспомощно задаю людям одни и те же вопросы, после, когда мы вместе вышли из кабинета, поинтересовался: «Ну и кого же ты считаешь самым достойным?..» Я пробормотала, что, в общем, все народ интересный, а о ком именно буду писать, пока не решила. Про себя же думала, что, конечно, ни о ком писать не стану: долго задерживаться в тоннельном отряде мне не хотелось. Во-первых, у меня были определенные планы относительно Бискамжи, про которую я кое-что уже знала, а потом на обратном пути я хотела заехать к Ане Рысаковой: о ней мне рассказал интересную историю Дмитрий Иванович.

Я почти не слушала, что там говорит Шарф, как вдруг в его речи мелькнули слова «бывший беспризорник». Сознание мое рефлекторно включилось: в то время все еще модно было писать о трудных детях революции, и я мечтала набрать материал на роман, главным героем которого должен был быть вор.

— Кто бывший беспризорник?

— Петр Анчев, ты же с ним разговаривала.

— Анчев?.. — Я силилась вспомнить, который из двенадцати Анчев. — Он мне об этом не говорил.

— Ты не спрашивала.

Ответить нечего, на мой стандартный вопрос: «Расскажите о себе» — люди стандартно называли год, место рождения, образование, когда начал работать в Метрострое и т. д. Вдаваться в интимные подробности не было ни времени, ни желания.

После обеда Шарф достал мне каску, сапоги, брезентовую куртку и брюки, мы пошли в тоннель искать Ан-

чева. Нашли мы его на «верхнем горизонте», где он ругал какого-то бетонщика: тот колотил кувалдой по дну вагонетки.

— Хочешь, чтобы и здесь через месяц дыра была?!

Я не только не помнила, о чем мы говорили с Анчевым, я его не узнала! Вот что значит скоростной метод сбора материала... Впрочем, поздоровались мы так, словно давно знакомы, и я, как бы между прочим, сказала, что хотела бы поговорить с ним поподробнее, не на ходу.

— А приходите домой к нам сегодня вечером. Вот с Леонидом приходите.

Договорились, но этот человек уже заинтересовал меня, и я по своему испытанному методу «пассивного сбора материала» пошла по тоннелю следом за Петром.

Собственно, метод этот, придуманный тогда от неопытности и бессилия, не изменяет мне и сейчас. Заключается он в том, что я молча хожу следом за нужным мне человеком день, два, три, неделю. Сначала человек стесняется моего присутствия, окружающие отпускают всякие шуточки, потом ко мне привыкают, перестают замечать, словно бы тот человек обрел в моем лице обыкновенную тень. Ничего особенного за эти три — пять дней не происходит: аварии, прорывы и крушения на производстве, к счастью, бывают реже, чем в фильмах и очерках. Мне на них никогда не «везло». Так что своей «яркой» стороной герои мои не получают возможности повернуться. Зато я вижу, как они ходят, разговаривают, смеются, сердятся, слышу и запоминаю всякие интересные события их прошлой жизни, они уже перестают быть абстрактными, бесплотными героями, становятся просто знакомыми, и писать их легко и приятно.

Таким хорошим знакомым стал для меня Петр Анчев. Написала я о нем повесть, очерк, хочу коротко рассказать и сейчас.

Родился он в двадцать третьем году в Краснодарском крае. После смерти матери (отец еще раньше уехал в Болгарию) их с младшим братом отдали в детский дом в Новом Афоне. Время было сумбурное, голодное, не хватало не только хлеба, но и бумаги, не хватало учебников. Детдомовцы воровали мандарины в

частных садах, продавали курортникам, покупали учебники.

Кончил семилетку, отправился пешком в Сухуми, искать работу. Прошел километров восемь, видит, палатки какие-то разбиты. Подошел напиться, его спросили, куда он идет, предложили остаться работать учеником электрика. Так Петр попал в Метрострой. Много было в его жизни всякого: колобродил, озорничал, пристрастился к выпивке, женился. Но брак оказался неудачным, Петр женился второй раз, и молоденькая жена наконец прибрала его к рукам. Собственно, он и не сопротивлялся, легко стал «подкаблучником»: Ксюша — чистенькая, хорошенькая девушка — завела дома строгий порядок, уют, родилась дочка. Петр ни о чем большем и мечтать не мог.

В пятьдесят втором году Анчев приехал на строительство тоннеля вместе с электростанцией, которую он должен был здесь монтировать. Сгрузили генераторы под открытым небом — дождь, снег, дорогостоящие механизмы портились и ржавели, сердце у Петра разрывалось, он голос сорвал в кабинетах у начальников, но пока им было не до него. Ни в каких серьезных механизмах в тоннеле не было необходимости: с грехом пополам прошли сто метров штольни, там вполне хватило тока от передвижных электростанций.

Пришлось Анчеву поработать снабженцем, потом, с бригадой таких же, как он, его послали на лесосеку, и они давали выработку больше ста кубометров на брата, зарабатывали в день по семьдесят—восемьдесят рублей.

Наконец дошло дело и до электростанции. Все поржавело, порастерялось, но Петр взялся отремонтировать генераторы, хотя не было для этого ни специальной мастерской, ни нужных деталей, и в помощниках у него были не электрики, а все те же самые «заблатненные людишки», с которыми он орудовал на лесосеке. Их в поселке все боялись, а они боялись Петра, слушались его беспрекословно, выполняли любую работу.

Надо было через перевал провести высоковольтную линию. Начали вести ее в феврале пятьдесят третьего года, мороз доходил до сорока — пятидесяти градусов. Земля была настолько промерзшей, что приходилось по

три дня над каждой ямой жечь костры, а ям надо было выкопать сто штук. Расчистили просеку, поставили столбы, натянули провод. Сами делали разбивку трассы: снег по горло, ничего не видно, однако ошиблись всего на девять градусов. Столбы ставили через пятьдесят метров, просматривали их через каждые двести метров, чтобы не было отклонений. Заказчик требовал на столбы лиственницу (она не гниет), а ее на том склоне горы росло очень мало — лазали по полутораметровым сугробам, искали.

— Жарко было, — вспоминает Петр. — Костры жгли, жарко было; лес валили — жарко было; столбы ставили — тоже жарко. Вот когда натягивали провод, тогда было холодно: на столб лезешь, закаменел, кошка не берет — голыми руками... Хотя в то время наверху никто не работал — мы работали...

Живет Петр на Западном портале. Вечером мы с Леонидом Шарфом отправились туда через перевал.

Портальский поселок разбросан по склону горы, дома мостятся на уступах, впадинах как попало — с середины и до самого болота. По заболоченной пойме реки Нанхчуль тоже рассыпано с десятков домиков. Каждый год они сползают все ниже, впрочем, хозяева уповают, что два года до окончания тоннеля домики продержатся, а там поедут метростроевцы в другие места.

Пришли. Открыла нам круглолицая большеглазая женщина; взглянув на белые скобленные полы, мы молча разулись. Петр спал. Ксения, усадив нас с Шарфом на диван, куда-то ушла, вернулась с двумя бутылками шампанского. На шумные, хотя и не очень искренние, упреки Шарфа она невозмутимо отвечала:

— А я посуду сдала, что же обратно порожняком иди? Небось я старая метростроевка, понимаю, что порожняк гонять убыточно.

Петр сел за стол заспанный, взъерошенный, в шерстяных носках на босу ногу, в старых байковых брюках, смущенно тыкал вилкой в картошку,пил шампанское (водки и вина в магазине не было). О себе он говорил мало, мне рассказали о нем другие.

— У Петра сильно развито чувство справедливости. Всегда лез в драки, потому что заступался за слабых. Как-то в драке ему всадили нож в спину, проткнули лег-

кое, смяли сердечную сумку... — вспоминает Леонид Шарф.

— А он еще бежал метров двести за этим, который его ткнул. Ни машины, ничего, пока нашли, пока довезли, сколько крови потерял... — вступает в разговор Ксения. — Врачи между собой обсуждают: «До утра не дотянет...» А он глаза раскрыл: «Я еще всех вас переживу!..»

— Умница, сам до всего своим умом доходит, — говорит главный электрик тоннельного отряда Абугов Савва Ефимыч. — Расчеты инженерные раньше я ему показывал, теперь делает сам. Сам готовит себе кадры машинистов породопогрузочных машин, лебедчиков, кочегаров. Дежурных слесарей и пневматиков перевел на сдельщину: до этого они получали тарифную ставку. Многих старых специалистов заменил: если, мол, человек привык не работать, его трудно заставить работать хорошо. Можно сказать, переворот произвел...

— А был у меня один слесарь... — Это уже Петр включился в воспоминания, развязался наконец и у него язык. — Для того, чтобы безбедно заколачивать две — две с половиной тысячи, он ремонтировал механизмы так, чтобы их хватило на пять-шесть дней. А там — опять ремонт. Сначала я верил, а после показалось подозрительно: дай-ка послежу! У породопогрузочной машины на фланец наваривали усилительную пластинку: все наши метростроевские механизмы рассчитаны на более легкие породы, а тут мраморизованный известняк, двадцатая категория твердости... Осмотрел я машину после этого слесаря, на крестовине трещину обнаружил. Прдержалась бы ровно пять дней. Все ясно, он и возражать не стал, когда я его уволил, промолчал...

Полная механизация Восточного портала была закончена (работы в тоннеле велись с двух сторон навстречу друг другу).

Западный портал отставал сильно. Начали думать, стоит ли его вообще механизировать, как бы это не отсрочило основные работы. Петр предложил создать комплексную бригаду: электрики, слесари, токари, сварщики — и в месячный срок все сделать. Бригада была создана, комплексную механизацию закончили в две недели. По предложению парторганизации Петра выдвинули механиком Западного портала.



— Столько шума было,— вспоминает Абугов.— «Не пойду, вы меня сейчас поставите, а через месяц выгоните!..» За два года на Западном портале сменилось семь механиков: год на долю Петра, год на остальных... Вентиляции не было, породопогрузочные машины стояли, вагонетки с бетоном катали вручную — полная разруха. Три месяца Петр даже ночевать домой не ходил. Сначала проходчики ругались, когда он останавливал механизмы для профилактического осмотра. Придет ночью проверять, а они друг на друга накидываются: кто, мол, ему позвонил?.. Потом в конце концов поняли, что выработка у них гораздо выше, если все машины работают нормально. Сами следить стали, вызывать...

— Сейчас я ничего не делаю,— говорит Петр, демонстративно засовывая руки в карманы.— Видите: хожу — руки в брюки! Если механик свое дело знает, машины у него работают безотказно. Если плох — день и ночь загружен...

Спустя год, когда я снова добралась до Портала, уже была сбойка. Петр рассказывал мне, что перед сбойкой трое суток не пришлось спать, слесарям сознательно делал приписки в нарядах: они тоже день и ночь следили за исправностью механизмов. Мелкий ремонт — писать в наряды нечего, а вовремя не отремонтируешь, выйдет из строя дня на три. Зато за этот месяц дали шестьдесят два метра проходки, а обычно сорок пять. И проходчики понимали, что эти лишние метры — их большой заработок,— дело рук Анчева и его ребят. Когда после сбойки надо было разобрать и поднять на платформу породопогрузочную машину, Петр сказал проходчикам: «Сделаем, ребята?» Погрузили моментально...

Положительный герой, настоящий положительный герой, я видела его собственными глазами!.. Не такого, как Карелина, конечно (когда в Сухуми пришлось ему с семьей туго, Петр брал «левую работу»: подключал люстры в церкви), но умного, веселого, лезущего очертя голову в защиту слабого, любящего без памяти жену и дочь. Значит, он все же существует, положительный герой?.. Существует, но у этой идиллической истории все же грустный конец.

После сдачи тоннеля Петр с семейством приехал в Москву «распределяться» на другую стройку. Жили они

у нас, я с утра до вечера твердила Петру, что ему надо обязательно пойти учиться, что его ждет большое будущее, если он окончит хотя бы техникум. Петр соглашался со мной: после напечатания моего очерка он ходил глядя на себя как бы со стороны, удивленно и уважительно. Однажды вечером я прихожу домой, чувствую, что-то произошло.

— Едем на Карельский перешеек работать,— говорит Петр и посмеивается.

— Понимаешь,— стала объяснять Ксения,— ему уже тридцать три года, учиться вроде поздно. Потом три года жить на стипендию...

— А ты привыкла к вольным деньгам! — разозлилась я.

Мы поссорились, после помирились, и я подумала, что, может быть, они и правы. Действительно, заработок у механика часто выше, чем у техника, а три года жизни на четвертом десятке иные, чем когда тебе двадцать лет...

И все же мне грустно. Говорят, академик Колмогоров тоже когда-то был простым полуграмотным сибирским парнем. Петр Анчев по всему обещал стать незаурядным человеком, а незаурядные люди должны быть на виду, наверху — не так уж их много.

## 5. АНЯ РЫСАКОВА

— Ну, что? Рассказывать, как я родилась?.. Не помню, не видела.

— Положим, все мы родимся более-менее одинаково.

— А вот и нет! Я родилась в санях...

Мы разговариваем на ходу: я искала Рысакову целый день, рабочие сказали о ней: «Вертолет!..» Ну, а когда я уже собралась уезжать с вечерним поездом в Абакан, облегченно подумав, что вот, мол, и хорошо, напишу, что Дмитрий Иванович мне о ней рассказал,— Аня вдруг сама догнала меня.

Дмитрий Иванович рассказывал мне про две супружеские пары, прибывшие по окончании института на строительство. Он сильно жал на мораль, но почему-то меня это не насторожило, наоборот, я подчинилась его выводам, и будущий очерк складывался в голове почти в

точном соответствии с повествованием начальника строительства.

*Супруги Коротыевы, окончившие Хабаровский железнодорожный институт, вошли в кабинет начальника втроем. «Вот как? — удивился Дмитрий Иванович. — Третий инженер? Нас об этом не извещали!..» — «Будущий...» — смущенно пробормотала мать.*

*Дмитрий Иванович предложил им поехать на Красную Сопку, где уже обжитой поселок, есть ясли и для маленького можно достать молоко. Обоих супругов поставили строймастерами, хотя, как это обычно бывает с выпускниками института, они даже наряда не умели написать. Но никто особого значения этому не придавал: дело нехитрое — будут работать, научатся всему. Коротыев-муж ошибался, путал, но работал. Жене для начала поручили разметить склад: сооружение временное, не очень-то ответственное, ошибись — никто с тебя не спросит. Она возилась с разметкой пять дней, в конце концов повыдергала кольшики: «С моей разметкой прошу не считаться!..» Попросили ее подсчитать кубатуру прибывшего леса — задача, посильная ученику пятого класса: нужно определить средний диаметр бревна, затем подсчитать количество бревен. Она тоже ходила три дня вокруг да около, после отказалась. Просит: поставьте меня что-нибудь чертить или копировать.*

*«Инженера на копировку?.. — громыхал по селектору Дмитрий Иванович. — Ни в коем случае! Пусть ошибается, портит, но учится работать!..» Однако местному начальству надоело возиться с Коротыевой, ее посадили переписывать наряды. Дело кончилось тем, что она стала ходить на работу с ребенком: положит его возле себя на стол и сидит, разбирает для виду бумаги — лишь бы день прошел.*

*Вторая пара: Аня и Валерий Рысаковы, окончившие Московский транспортный институт. Назначили их тоже строймастерами.*

*Аня девочка бойкая, хваткая — все в руках так и горит, рабочие ее слушаются, начальство не нахвалится. Валерий же работал с прохладцей, лениво. Когда встал вопрос, что в Хоньхе нет прораба, Аню назначили туда прорабом, а Валерия — строймастером. Аня примчалась в Абакан к Дмитрию Ивановичу: «Пожалуйста, я ему по-*

могу, если нужно будет. Перед рабочими неловко: муж у жены под началом!» Коротаяев поменял их ролями, но про себя пожалел: очень она ему нравилась — бойкая, энергичная, умная. Из положительных качеств Валерия начальству было известно только, что он хороший волейболист.

Проработали Рысаковы в Хоньихе год, затем их перевели в Аскиз: Валерия по-прежнему прорабом, Аню строймастером на бетонный узел. Спустя какое-то время Рысакова пришла к Дмитрию Иванычу и расплакалась: работа на бетонном узле у ней не ладилась, все время шел брак, много вычитали из зарплаты. Маленькая дочка часто болела, нужно было сидеть с ней дома, а бетонные изделия требовали глаза: то цемента рабочие переложат, то воды перельют, то не пропарят как следует. Нервы у Ани совсем расшатались. Дмитрий Иваныч пораздумал и распорядился перевести Рысакову на стройдвор: спокойнее, брак дешевле и исправим. Там она до сих пор и работает.

Судьба первой молодой пары меня тогда интересовала мало. Я тут же мысленно приклеила жене прозвище «гусыня» — подобных ей было много в моих выпусках в техникуме и в институте: «жена с дипломом». Что касается Рысаковых, то здесь было готово соблазнительное решение: бездарный муж из зависти заедает век молодой талантливой женщине, она, пытаясь сохранить семью, смиряет свой темперамент, свою жажду деятельности. Имея такую прекрасную схему очерка, нечего было и заезжать в Аскиз: даже портреты супругов мне весьма красочно набросал Дмитрий Иваныч. Для очистки совести я все же заехала, была внутренне рада, что Аню не разыскала, собралась уезжать, однако в самую последнюю минуту моя будущая героиня сама меня догнала, спросила бесцеремонно:

— Это вы меня искали? Я Рысакова.

— Да, — не очень обрадованно отвечала я. — Днем искала, а теперь на поезд спешу, уезжать собираюсь. Может, вы меня проводите, расскажете немного о себе?

И смотрю на нее: действительно «вертолет». Невысокая, худая, руками размахивает. В синей форменной шинели, в синем берете — лицо плоское, скуластое, рыжие легкие волосы надо лбом, веснушки по всему лицу.

Простоватое веселое лицо, вовсе не похожее на лицо «жертвы супружеского произвола».

После таких моих кислых слов «жертва» немножко растерялась, взглянула, — как я бы, наверное, глядела на Коротаеву, — сама себе по доброте характера не признаваясь, что немножко презирает меня. Наконец природная общительность и отсутствие комплексов взяли верх.

— Да ну, ладно! Завтра уедете — день ничего не значит. Пошли к нам, поговорим, с мужем познакомитесь, Танюшку мою посмотрите. Если вы обо мне писать хотите, вы должны все это знать.

Быт у них дома тогда еще был полностью студенческий: кавардак, в комнатах холодина, муж и жена обедали в столовой. И тем не менее я сразу почувствовала, что в этом доме весело, что друг друга они любят, что все гораздо сложнее, чем изобразил Дмитрий Иванович.

Разговор у нас шел тоже веселый, хмельной без вина, студенческий. Вспоминали московские театры и стадионы, Аня с Валерием пели какие-то студенческие песни, потом на стол вывалили кучу фотографий: лыжные соревнования, соревнования по бегу и волейболу, капустники, студенческие вечеринки.

В общем, как и чем они жили в Москве, было мне ясно. Я старалась выяснить, как они живут здесь.

— В Москве мы оставаться не хотели, — говорила Аня своим низким хриповатым голосом, и я ей верила. Я уже подпала под какое-то обаяние ее простоватой мимики, резких движений, громкого смеха. — Приехали в Абакан. Встретил он нас дождем и грязью. Распределили нас в Паук, я была довольна: давно хотела в тайгу, а там тайга кругом. Поработали, потом переводят в Хонных. Ну, эту историю вы знаете. Действительно от рабочих неудобно: муж у жены под началом...

Я гляжу на Валерия: как он реагирует? А он смеется. Коренастый, черноглазый, лицо грубоватое, скуластое, но славное, волосы вьются.

— Ну что? — говорит он. — Дурак был тогда: так, шаляй-валяй. В институте филонил, и тут пофилонил сначала. В Хонных мы с Прокопьевной единственное начальство были: жениться, разводиться — все к нам.

— Ругались мы!.. — вспоминает Аня. — Я говорю: нуж-

но кончить эту работу, а он рабочих снимает, посылает в другое место. Был бы кто чужой — в управление пожаловалась, а тут куда жаловаться?

— Наряды закрывать не умел! — подхватывает Валерий. — Прокопьевна помогала...

— Потом родилась Танюшка, нас перевели в Аскиз.

Я пропускаю первую половину фразы мимо ушей. Для меня самой рождение дочки произошло как бы «между прочим» — просто стало сложней, но жизнь не меняется. Отнеся Аню к женщинам моего склада и характера, я думала, что и у ней все так же: дети детьми, а работа работой. Это сильнее, это за скобками.

— После родилась Танюшка, хакасочка... — повторяет Аня. — Она у нас хакасочка!

— Ну и что же было в Аскизе? — тороплю я.

— Под началом у меня две-три бригады, кран каждый раз с боем выбиваешь... Всего на участке два крана, а потребителей на них четыре!.. В пропарочную камеру цемент по лопатке кидают, воду по ведерку льют, а вынимаешь полторы тонны... Без крана — никуда. Каждый раз нервы... Потом то мало пару, то много, чуть перелил воды, чуть недолил — брак. Опалубку расперло — брак. На бетонном узле брак неисправим и дорогой: получку получаешь, а получать нечего... Дома тоже нервы, девочку забросила, она болеет то и дело, в ясли не принимают. Замоталась, задергалась... Говорю Коротчаеву: либо переводите на стройдвор, либо увольняйте... А на стройдворе проще: брак исправим и дешевый. С рабочими мне легко, я привыкла еще в школе объяснять непонятное. Сама лучше разберусь, когда объясняю...

Валерий о себе не рассказывает, да я и не спрашиваю: отношение у меня к нему по-прежнему снисходительное, хотя и доброе теперь. Однако стройная концепция, почему трагически поломался у его жены путь наверх — рухнула. Не надо было, конечно, сюда приезжать. Мы разговариваем часов до трех, на следующее утро я не уезжаю: хожу за Аней, слушаю, как она отдает распоряжения, как требует что-то у начальника поезда. Мне нравится моя будущая героиня, мне кажется будничным и неинтересным ее муж.

Спустя лет шесть мы встретились с Валерием на строительстве дороги Тайшет — Абакан. Он был началь-

ником большого строительного участка, Аня — инженером техотдела. По свойственному ему добродушию Валерий на меня зла не затаил: «А, знаешь, может, даже лучше получилось, что ты меня так высветила: самолюбие задела. Да и начальство заметило, выдвигать стало: вырастим, мол, вопреки печати!..» Теперь Валерий начальник строительного треста в Красноярске. У него седые виски, резкие, будто выжженные морщины у глаз, да и лет-то уже за сорок перекатывает. Аня изменилась мало и внешне и внутренне. Работает она по-прежнему инженером в техотделе, растит двоих детей, пытается писать стихи, самоучкой играет на пианино, учит языки. Музыкантша она неважная, стихи и рассказы тоже никуда не годятся, ни одного языка она так и не знает. Но куда прикажете девать избыток энергии, к чему приложить, куда тратить общительную, незаурядную натуру?.. Вот и хватается то за одно, то за другое, каждое утро намереваясь начать жизнь сначала, пытаюсь построить себя по образцу любимых эмансипированных героинь: умных, решительных, свободно владеющих языками, а в горькие минуты извлекающих из скромно стоящего в углу инструмента божественные звуки Шопена.

Теперь модно говорить, что эмансипация не нужна, что нас рескрепостили, но не дали, так сказать, земельного надела: не освободили от кухни, от детей, от хозяйства, наконец от любви, где, в общем, тоже желательно, чтобы женщина была женщиной, а не мужиком в юбке. От моды, как в одежде, так и в суждениях, уйти, в общем, трудно, тем не менее позволю себе высказать не очень новую, но подходящую к случаю мысль: все на свете конкретно. Не нужно эмансипировать женщин, которые к этому не стремятся, но женщинам склада Рысаковой суждено быть эмансипированными не столько по моде времени, сколько по характеру. Им свойственно подчинять и налаживать, переоборудовать и переустраивать, а не переводить пассивно бумагу в техотделе. Рысаковой надо было быть руководителем, и зря она им не стала. И виноват здесь, конечно, не столько муж, сколько привычные комплексы: «Женщина должна быть в первую очередь матерью. Что, мне больше всех надо? Это не женская работа — с грубым мужичьем в тайге. В техот-

деле спокойнее, нервы не так тратятся, времени остается больше...» Все правильно. Только мы часто забываем, что жить надо так, словно предстоит умереть завтра и в то же время прожить еще сто лет: жадно и со вкусом. И если принять это за руководство к действию, то поймешь, что иногда ради сегодняшнего спокойствия, которое завтра обернется скукой и пустым местом, ты теряешь интересное. Что, обойдя трудности, ты что-то утратил: немножко уважения к себе, возможность сладкого воспоминания о том, как ты однажды был сильным, преодолел, подчинил себе обстоятельства...

Ну вот и все. Я еду в Москву, перед отъездом захожу к Дмитрию Иванычу, честно выкладываю ему свои впечатления. Он по селектору делает разнос Мухе, Артемьеву, Тимошенко, еще кому-то. Я уезжаю удовлетворенная: открыла глаза. Не понимая того, что и без меня Дмитрий Иваныч все прекрасно видел: не в его силах было обеспечить себя нужным количеством техники и рабочих — «расконсервировать дорогу». А когда наконец, после разных преобразований, строительство перестали тормозить разные нехватки и начальник получил возможность действовать в полную силу, Дмитрий Иваныч показал себя настоящим хозяином и руководителем. За строительство дорог Сталинск — Абакан и Абакан — Тайшет он награжден орденом Ленина, получил Героя Социалистического Труда.

Но это все впереди. А пока история освоения Сибири подошла еще к одному рубежу: на будущий год по призыву ЦК комсомола на сибирские стройки поедет молодежь, и дорога Сталинск — Абакан станет одной из первых комсомольских строек.

## IV. НА АЛА-ТАУ

### 1. ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДЕНИСОВ

Летают, опережая звук, самолеты, ползают по небу вертолеты, безобразные, как тарантулы, — любой уголок земли недалек, не заброшен. Но куда рядом с этим уголком не пролегли рельсы, он глухомань, он проблема. Проблемно снабжать его, проблемно вести строитель-



во, и, как там ни крути, жители его варятся в собственном соку, будто на отдельной планете.

Переелетение магистралей похоже на дерево: ствол, от него ветка, еще ветка, еще маленькая — уперлась в тупик, живет негромко, набирает силу — и вдруг выбросит новую ветку, дальше. И снова живет негромко, набирает силу.

Сначала отсыпают насыпь, утрамбуют, укатают ее. После уложат «пакеты» — звенья рельсов, засыпят балластом. И стоит новенькая, будто заброшенная: ржавы необкатанные рельсы, пахуч и черен креозот на необмытых дождем шпалах; просела то тут, то там, рассыпав замороженные глыбы грунта, насыпь... Но дорога уже живая. Она примкнула стрелкой к материнскому телу, она уже вздрагивает под колесами «овечек», таскающих балласт и коротенькие составы, — светлеют с каждым днем рельсы, наливаются вороненой синевой, отзываются на стыках колесам: живы, живы...

Не было дороги — будто сомкнутый кулак жила тайга, заваленная, чернеющая горями, белеющая мучной россыпью незабудок по болотам да кипрейным цветеньем на старых выпалах. Прошла дорога — и развалила тайгу пополам. Где проредила, где варварски свела на нет, будто из горсти сыпанула людьми.

Начальник строительства на трибуне, а длинный, как коридор, зал сборнощитового клубика помалкивает, лениво курит. Серое облако висит под желтенькими лампочками, густеет, опускается ниже. Покачиваются, сутулятся спины в телогрейках, в помятых пиджаках, замозоленные желтые пальцы с грубыми ногтями обжимают сигареты.

Говори, расходуй себя, наполняй пустоту могучими потоками. Смотри: вот пришло оно, счастливое, — откликнулся молча зал, шевельнулся, заструился встречными волнами. Есть контакт. Свершается величайшая в мире работа: общение человека с человеком...

Это трудно — выработать электричество. Потеет загорелый лоб, намокают выгоревшие, жесткие, как колосья, брови, жмут трибуну ладони. Но трудно и принимать: лица возбуждены, напряжены, на висках, крыльях носа — влага. Сел, потерялся среди президиума,

обтер платком лицо, прикрыл глаза. Обмякли жесткие губы, обвисли щеки, опустились плечи. Зал еще полон израсходованной энергией, зал принимает.

На что бы ты ни расходовался, для чего бы ни сжигал себя — ты атомная станция, питаемая распадом материи. Процесс необратим и запас горючего не вечен.

Начинаются выступления — ты включился на прием. Подобралось лицо, обрели жесткость веки, не изменило позы, только как бы натянулось, все взялось мускулами тело.

Одно, другое, третье подразделение — везде тайга, везде похожие, наскоро собранные из щитов клубики, везде споры до поздней ночи, разговоры об одном и том же.

— Самосвалы разуты, стоят на приколе. Латаем баллоны, сами шофера почти ежевечерне...

— Пишите в обком! Жалуйтесь на меня в отношении запчастей и резины. Обком будет жаловаться в главк, меня запросят, я дам объяснение. Важно, чтобы дело начало шевелиться со всех сторон!

— Чтобы не сулить, Георгий Михайлович! Лучше сделать, чем насулить. Ты можешь насулить и на министерство сослаться. Резину прошлый раз обещал и не дал: на целину, мол, завернули...

— Я, конечно, виноват. Но и вы виноваты тем, что своими мозолистыми умными руками строите себе похабное жилье. Потолки текут, стены промерзают, под полом вода... Я тут у вас ни одного гвоздя, черт возьми, не забил!.. Привыкли мы, строители, жить казанскими сиротами, а молодежь приехала и бьет нас по ушам. Она хочет жить по-человечески: послушать радио, почитать книгу, развлечься в клубе, погонять мяч на стадионе!..

— Не в городе, пусть привыкают!

— Нет, пусть мы привыкаем создавать людям человеческие условия!.. Мы идем сознательно на большие жертвы: гвозди у нас воруют, пиломатериалы воруют. Но пусть строятся! Это будет наша коренная рабсила, она от нас никуда не уйдет...

...Уже десять дней я езжу вместе с начальником

управления «Сталинскстройпуть» по западной части линии Сталинск — Абакан. Это год 1956. Денисов — человек совершенно иного склада, чем Дмитрий Иванович, да и дела на строительстве в этом году пошли иначе. По-прежнему строительство плохо финансируют, но все сдвинулось с мертвой точки, оживило. И потом в этом году на стройку приехала молодежь по комсомольским путевкам. Прошлый раз на всех станциях меня встречали запустенье и тишина, сегодня — строительство. Напряженное, злое, трудное, трудно преодолевающее то, что мешает. Но преодолевающее...

Денисов — человек яркий, прирожденный руководитель, умеющий разговаривать с людьми, освоивший науку, как повернуть неудачно складывающуюся ситуацию, так сказать, к себе лицом. Во всем, что касается его лично, — человек безупречной честности, но ради дела готовый пойти на хитрость, на обман — увы, в те времена это было почти необходимо.

*«От области по госплану нам должны перевезти пятьдесят тысяч тонна-километров груза. А горсовет требует, чтобы мы дали самосвалы — отсыпать в городе дороги гравием. Я сказал, что мы отказываемся от перевозок области (все равно, как правило, они ничего не делают) в пользу города: зачем, мол, из одного кармана в другой перекладывать... Пятьдесят процентов золота, хранящегося на луне, отдаем бесплатно!..*

*...В этом году меня заставляли сдавать готовую часть линии в эксплуатацию. Заинтересованы тут угольщики, леспромхозы и заказчик наш — Министерство путей сообщения, так как тарифы будут дешевле. Но я-то в этом не заинтересован!.. Средства, которые мы получаем от эксплуатации, дают нам возможность покрывать убытки (у Коротчаева убытки, у нас убытков нет), иметь на счету деньги, короче говоря, вести нормальную финансовую жизнь... Кроме того, карьер, откуда мы возим балласт, расположен на действующей линии. Сдашь в эксплуатацию — не допросишься возить!.. Но я знаю, что моих возражений принимать не будут: лицо заинтересованное. Пошел к директору КМК: «Слушай, говорю, надо кончать линию скорей, ты же руду ждешь, а они тут выдумали до Томусы в эксплуатацию сдавать! Ты же представляешь, как это затормозит все?..» Директор мужик*

горячий, сразу написал в свое министерство. Ну, а когда в главке стал решаться вопрос о сдаче, я и подсказал невинно: мол, кроме визы МПС и Министерства угольной промышленности нужна еще виза Министерства черной металлургии. Наши послали туда на подпись, а министр: «Категорически возражаю!..»

...В приемной у министра как меняются люди! Хороший умный человек начинает вдруг на глупую шутку министра хихикать, поддакивать... Я?.. Я тоже. С министрами тоже надо хитрить: и министр живой. К одному приедешь, поговоришь общительно, передашь привет от того-другого, он подobreет, сделает все, что просишь. А Г. любит, чтобы ты к нему с картой пришел. Он в нее не заглянет, но будет доволен. Любит, чтобы, когда войдешь в кабинет, не сядил. Он один раз скажет «сядь», другой, потом развеселится, усадит сам — проси, что хочешь!

Г. один раз был у нас, доехал до Томусы на глассере, чуть не утонул. Я теперь на совещаниях: «Илья Давыдыч, вы же помните, вы у нас были: трудности!» Да, мол, я там был, трудно у них, надо дать...

Не это главное. Главное, что дорога строится, что дела идут к концу. И в этом есть моя доля, что бы вы тут ни говорили! Такая цель оправдывает средства...

Пробыла я тогда на строительстве все лето и осень, написала, среди прочих составивших книгу, очерк о начальнике строительства. Я поняла в то лето, что профессия начальника — едва ли не самая трудная...

## 2. МОЛОДЫЕ

Я доехала с Денисовым до Ала-Тау, — это неподалеку от Бискаджи — и осталась там. Ала-Тау по-хакасски — пестрая гора. Тут расположился небольшой прорабский пункт, «старых» рабочих — человек двадцать, остальные — молодежь, приехавшая по комсомольским путевкам. Средний возраст здесь двадцать лет, от семнадцати до двадцати трех. Строят дома, закладывают железобетонные трубы в железнодорожное полотно — его отсыпает мехколонна Курманаевского.

Меня поселили в палатке, где жили еще человек пятнадцать девчат, и на следующее утро, памятуя не подводивший меня метод «пассивного сбора материала», я поехала с бригадой бетонщиц на трубы.

...Когда едешь в кузове самосвала, нужно широко расставить ноги. Но все равно на ухабах поддает тебя снизу железное неровное дно, и ты валишься на впереди стоящих. А сзади кто-то валится на тебя. Пожалуй, лучше всего взять кого-нибудь из передних за плечи или за талию и почувствовать на своих плечах тоже чьи-то руки. Приседай немного на ухабах, сохраняй равновесие. Спрыгивать надо прямо с борта, едва коснувшись его рукой. Как все.

Здесь бетонируют трубу, закладываемую в насыпь для протока ручья. Высокая красного суглинка насыпь уходит в обе стороны в тайгу, сколько видит глаз. А здесь ручей, здесь разрыв. Белеет опалубка, поднимаются забетонированные уже секции. От бетономешалки на арматуру стекает по лотку бетон.

Тут работает двенадцать девчат, а бригадиром у них Володя Можаров — маленький, черноглазый, «бурундучок», местный. А еще его ребята почему-то дразнят «куркуль». Но с девчатами он ладит хорошо, в бригаде порядок, мир и тишина, и работают качественно — так объяснил мне вчера строймастер.

Двое девчат подносят воду, четверо швыряют гравий в жерло барабана, остальные трамбуют железными крюками стекающий в арматуру бетон. И Володя с ними. Работа несложная.

Я тоже взяла лопату, тоже надвинула на лоб платок. Пересмеиваюсь, разговариваю с девчатами. Девчата все из нашей палатки. Они в застиранных кофточках, в белесых, замазанных бетоном штанах, в платочках, прикрывающих облупленные носы.

— Надень рукавицы, руки сотрешь! — кричит Женья. — Лови, у меня лишние!

— Да не надо, мне и так удобно.

— Наденьте, — советует Людка, — я тоже первый день работала без рукавиц, сильно стерла руки.

Надо сказать, час назад, когда я «лихо» спрыгнула с борта самосвала, едва не подвернув ногу, возле меня

приземлилось непонятное существо в шароварах и грязной трикотажной кофте, коротко стриженные светлые волосы падали на глаза. Существо взмахнуло головой, открылись худые щеки, чистый лоб — очень мило, но какого оно пола?..

— Людка,— крикнул Володя Можаров,— возьми расческу, стилига!

— Стилига! — кричат ей проезжающие мимо шофера.

— Возьми расческу, Маша! — говорит Николай, шофер самосвала, который возит нас на работу и с работы.

— Худая ты очень, девка,— жалеет Людку наш строймастер Талгат Ишмухаметов.— Жри, что ли, больше...

А Людке хоть бы что. Два месяца назад она остригла толстенные до подколенок косы. Хорошо теперь голове: легко, свободно, взросло. Мне смешно и мило вечерами смотреть, как Людка, собираясь на танцы, серьезно, точно в книгу, глядит в маленькое зеркальце, пристроенное на столе возле закопченного чайника, и расчесывает свои спутанные патлы. Дергает головой назад от гребенки, будто та живая, а после быстренько и с той же серьезностью ерошит пальцами волосы, чтобы стояли дыбом надо лбом.

— Машину водить нас в школе учили... Раз еду по главной улице с инструктором, милиционер свистит, а я не остановлю никак. Он кричит: «Останови, дурочка!»... — Это Людка отвечает на мой вопрос, чем она занималась до того, как приехала сюда.— Пенсионеры мама и отец. Я самая младшая, остальные взрослые совсем. Все братья, одна я только... Мама дочку хотела. Я химию очень люблю... Зачем приехала? Посмотреть. Год поработаю, уеду, в институт поступлю... — Людка улыбается мне и опускает голову, читает, поддерживая упавшие лохмы тонкими пальцами...

Но это все увиделось и узналось после, а пока я с уважением отнеслась к совету бывалого строителя и рукавицы надела. Потом снова сняла: неловко, не чувствуешь лопату.

Солнце опалает, сушит, выгоняет едкий, как соляная кислота, пот. Цементная пыльца липнет, стягивает кожу.

Болят спина и поясница. Без конца бегаю пить к ручью, который течет по лотку на насыпь. Смешно: вода бежит вверх! Но вся штука в том, что точка, куда вставлен деревянный лоток на горе, выше насыпи. Оптический обман.

Скрипят шарниры, вращается барабан, шуршит, переваливаясь, бетон. Ручка лопаты обжигает ладонь, особенно под указательным и сгибом большого пальца. Кожа там сдвинулась, потекла лимфа. Надо было все-таки работать в рукавицах: «бывалый строитель» прав.

Наконец обеденный перерыв. Умывшись из лотка, укрываемся в коротенькой тени от навеса, под которым хранятся мешки с цементом. Здесь обдувает ветерком — блаженство!.. Есть не хочется: устала с непривычки.

— Ничего,— говорит Женя.— Мы когда приехали, тоже недели две поясницу разогнуть не могли. А теперь в котлопункте по две порции уплетаем!.. Смотрите, какие у меня мозоли! — она кокетливо протягивает узкие ладони с желтыми подушечками на сгибах пальцев.— Я ем даже черный хлеб, а дома у мамы и беленький пошвыривала! Сплю хорошо...

К Жене пришел «ее парень» Михаил. Длинный, с темными бачками и носом уточкой, но, в общем, симпатичный. Он работает на пилораме подкатчиком, а вечером у костра играет на баяне,— девочки поют.

Здесь, в таких поселочках, ничего нельзя скрыть, все осведомлены, что Михаил и Женя уже «живут», хотя не расписаны и свадьбы не было.

Интересная эта Женька! Она все делает, глядя на себя как бы со стороны. И работает, и песни поет, и любит. Страшно довольна, что теперь в бригаде есть «представитель прессы», который должен ее оценить по заслугам. Она играет тяжелой совковой лопатой, швыряя гравий, покрикивает, солоно пошучивает, поет — и этот «плюс», этот наигрыш держит ее весь день.

Еще она вчера успела выложить мне все, даже самое интимное. Мама с детства прочила ее в «хозяйки». Учила стирать белье, хорошо гладить, готовить, сервировать стол. Например, хлеб Женька режет не как все мы, простые смертные, а сначала разрезает буханку вдоль, а по-

том уже — ровными, красивыми кусками. Но ей двадцать три года, и надо бы замуж. Михаил давно ухаживал за ней, однако никаких серьезных намерений не выказывал. Услышав обращение, Женя вдруг загорелась, первая пришла в райком. Нравилась шумиха, поднятая вокруг, нравилось, что Михаил тоже собрался ехать вместе, уже на правах жениха. Проводили их пышно, отец Жени сказал: «Не посрами нашу семью! С позором не возвращайся, не примем!» Удивительно показательный отец!.. А может, Женька все это придумала?..

Народ в бригаде очень разношерстный: Людка только кончила школу, Женя уже года три работала продавщицей, Тоня-маленькая, тоже местная, работала на золотых приисках, а Маша Фиалкова — бывшая учительница. Маша очень слабенькая, работа на бетоне для нее тяжеловата. Впрочем, ей уже предлагали в роно с осени пойти учительницей в школу взрослых.

— Коллектив у нас был очень хороший, — рассказывает мне Маша, а я записываю, — директор отругает кого-нибудь, а после собрания все танцуем вместе. Лежала ночью на диване — обращение. И чего-то в голову мне вошло: поеду и поеду. Тут мое место любой займет, а там... Директора прошу: отпустите... Куда бы еще, говорит, не отпустил, а туда — ничего не скажешь... В вагоне женщина говорит: «Ой, девчонки, да куда вы едете, да там, кроме вербованных и заключенных, никого нет, тайга, холод, поселков нет!»... Настроение упало, лежу на полке, мысли такие все невеселые... В Ачинске пересадку делали, обедали. За столом какой-то мужчина спросил, куда едем, тоже махнул рукой. Совсем упало настроение. До Оросительной доехали — степи, тоска, никто встречать не пришел... Двадцатого июня приехали в Аскиз. И тут нас встретили хорошо, цветы таежные всем поднесли. Жаркий и марьин корень, например, я впервые увидела. Оркестр, митинг был, Женя выступала от новоприбывших. Столовую нам предоставили, обед хороший. Самое главное — увидели, что и тут люди живут... На Ала-Тау приехали, поставили нас сначала ямы под фундамент рыть, а потом перевели на бетонные работы. Тяжело было очень, мозоли натерла, кровяные. Теперь огрубели руки, ничего...

Вечером новоселы разводят костер и поют песни, ед-



ва не до свету. Я сижу с ними, тоже гляжу на красное высокое пламя, слушаю. Не пою, потому что не умею. Утром не могу разлепить глаза, поднять голову: все тело сведено, ломит. Невозможно даже взять расческу: мозоли склеились, пальцы будто скованы судорогой. Встаю — и не расчесавшись, только покрыв голову платком, лезу в кузов со всеми. Значит, вот как вам приходилось тут на первых порах?.. Попробуй напиши, как болят кровавые мозоли, если у самой их никогда не было! Впрочем, были, но давно — заросли, и я забыла: в юности память забывчива, тело заплывчиво. Эти не забуду.

Ужинаем в котлопункте. Котлопункт — это не столовая и не ресторан, но тем не менее место, где кормят. На земляном полу — дощатые столы на козлах; повара накладывает полуторалитровые миски доверху: здесь не оставляют. Компота берут по поллитровой банке, а то и по две на брата.

У окошечка очередь, шум, жара. Женя крикнула мне:

— Я на всех беру, занимай стол!

Рядом с раздачей сидели какие-то парни. Один из них — долговязый, в сапогах и серой рубаше без воротничка — спросил:

— Скажите, сколько времени?

— Без четверти пять.

— Что это — «без четверти»?.. Вы нам объясните, мы не понимаем по-городскому.

— Дядя Вася, не придирайся! — сказал другой.

«Дядя Вася»? Ему года двадцать четыре — доброе, хитрющее, светлое какое-то лицо.

— Без пятнадцати.

— Понятно. Спасибо, еле выпросил...

Когда мы ели, дядя Вася громко нес какую-то чушь, видно, чтобы привлечь мое внимание. У него получается забавно, невольно все смеются.

Поднялись уходить, он сказал мне:

— Вы бы вот к нам на пилораму зашли. Муха говорит: «Пилорама — сердце стройки». Изучать жизнь надо, товарищ корреспондент, а то напишете: комсомольцы, патриоты, покорять...

— Не напишу,— обещаю я.

...— Корчевка пней бульдозеристом вручную, снять бульдозер с пня и отнести на расстояние десять метров... Оплатить повременку по пятому разряду за открывание дверей на пикете.

— Тухта, не оплачивать!

Хохот.

— Разгонка ветра и планировка дыма, подтяжка солнца... Главный инженер Сагайдак заказал для кого-то гроб. Мастер выписал столяру наряд: «Сделать гроб для главного инженера с заготовкой и отстрожкой материала...»

Снова хохот.

— Ишмухаметов,— говорит Муха,— а это что за тухта? Твои девчата на сорок, а не на шестьдесят метров битум таскали, я точно помню!

— Мало на сорок.

— Прокурор добавит.

— Да не работали вы там кувалдами и клиньями, черт побери! Ломами работали, а кувалдами и клиньями нет! Вторая группа грунта...

Конец месяца, закрытие нарядов. Я сижу на подоконнике в конторе, слушаю разговоры, шутки и объяснения, обращенные ко мне. У меня зажили, заросли толстой желтой кожей мозоли, я загорела до цвета сосновой коры, я даже растолстела, потому что ем страшно, никогда у меня не было такого аппетита.

Все здесь знают меня в лицо, и я всех знаю, все здороваются со мной, заговаривают, объясняют свои нужды. Местная достопримечательность дядя Миша Белозеров, у которого двенадцать собак (он собирает всех прилудных задохлых щенков), который еще известен и тем, что чифирит, зовет меня уже по имени и «моя симпатия», просит написать о нем в газету. «Так и напиши: дядя Миша Белозеров. Двенадцать собак. Семеро накладывают, а я один таскаю. Алебастр мешками...»

Побывала я и на пилораме. Вернее, хожу туда довольно регулярно, «собираю материал».

Когда я пришла первый раз, пилорама молчала, около нее возился, отвинчивая гаечным ключом болты, какой-то парень, остальные сидели на штабеле бруса,

покуривали, разговаривали. Естественно, когда я подошла, шутки посыпались так густо, что я еле успевала вникать в их смысл.

— Познакомьтесь,— предложил дядя Вася, указывая на парня, сидящего рядом с ним.— Это наш Витя, он непьющий. Мы пьющие, а он нет.

— У нас в палатке трое непьющих,— поддержал его «Женькин» Михаил.— Стол, столб и Витя.

— На свои не пьет,— продолжал дядя Вася,— да когда не подносят. Витя с нами лето проживет, а осенью уедет. Он фотоаппарат привез и машинку. Хотите сняться? Три рубля карточка. Подстричься? Тоже три рубля. Он осенью чемодан денег увезет жене.

Витя невозмутимо посмеивался, видно, ему плевать было на то, что там о нем говорят. Я уже слышала о приехавшем подзаработать Вите, даже видела почти у всех глянцевого групповые и одиночные фотокарточки, изготовляемые им, лесенкой подстриженные затылки. Действительно чемодан денег увезет...

— А почему не работает? — кивнула я на пилораму.

— Так ведь дела какие? — опять берет инициативу дядя Вася.— Петр Первый выменял у англичан две пилорамы за две пачки русской махры. Одна в Ленинграде в музее стоит, другая — вот. Мы на ней рекорды давать опасаемся: расшумятся корреспонденты, да еще если сфотографируют в газету, в музее узнают и заберут. А мы на чем вкалывать будем?

— Здорово у тебя выходит! — завидую я.— Сам сочинишь или помогает кто?

— Коллективно,— скромничает дядя Вася и вздыхает: — Да, сломалась вот наша телега...

— Вы без этой телеги голодом насидитесь! — сердито обрезает его ремонтирующий пилораму парень.— Хватит звонить, спустись лучше вниз, поддержи там.

Я подошла. Пилорама была старая, разболтанная. Вместо стандартных вкладышей под шейку подшипника были положены обрезки консервной банки. Парень с помощью дяди Васи начал перетягивать пилы.

— Ремонтируете? — вежливо спросила я.

— Не ремонтировать — со скуки помрешь.

— Вот вы про нашего Толика напишите,— посоветовала я.

товал дядя Вася,— про то, как Рябой его по шее горбылем огрел.

— Кто это, Рябой?

— Рамщик... До Тольки здесь работал.

— За что?

— Чтобы хлеб не отбивал.

Оказывается, здесь произошел «конфликт нового со старым»...

Когда они прибыли сюда, Муха направил на пилораму подкатчиками Толика, дядю Васю, Витю, приехавшего подзаработать, и «Женькиного» Михаила. Они просились на основные работы: ведь ехали железную дорогу строить,— но Муха, с присущей ему любовью к афоризмам, сказал, что пилорама — сердце стройки. Да и на самом деле: стоит пилорама — стоят работы на домах, нет бруса, нет опалубки для искусственных сооружений. Ребята согласились.

— Нас Талгат Ишмухаметов по технике безопасности так инструктировал,— говорит мне дядя Вася,— куда не надо — не лезьте, где крутится — руки не суйте!..

Сначала было трудно: попадет лесина комлем в яму — два часа мучаются, пока вытащат. Руки, ноги, плечи — все болело: физически раньше работать мало приходилось. Толя слесарь шестого разряда, Вася тоже слесарь, Виктор на станке работал, Михаил в ремонтной бригаде в МТС. Потом приноровились, легче стало.

Пилорама разбитая вся: челнок болтается на направляющих, брак идет. Работала пилорама всего полтора года, но успели ее разбить донельзя. «Некого поставить — так Рябого!» — объяснили мне ребята. Был Рябой раньше плотником, в механизмах смыслил мало. Разобрать пилораму не мог, ремонтировать не пытался. Подладил, дрыгает — и ладно. Однако получал полторы — две тысячи в месяц, только высокие заработки держали тут людей. Однажды Рябой пришел пьяный, работать не хотел, сказал, что пилорама сломалась, заклинил бревно в пилах, разругался с начальством. Муха говорит ему, что надо работать, а он орет: мол, как работать, если ползуны стерлись, болтаются, пальцев нет, рама болтается. Муха говорит, пить не надо, надо работать, я тебя увольняю. Рябой ушел, а рама стоит, и плотники на домах стоят без бруса. Да и бригаде простой не инте-

ресен: заработать надо. Говорят: «Давай, Толик!» Его сначала вроде бы оторопь взяла: ответственность все же. Потом решился: такие ли механизмы видел! Пустил. Заклиненное бревно прошло без задоринки, а после Рябой пришел «помог» — тележку, которая держит задний конец бревна, сдвинул, следующее бревно пошло накоса, ну а дальше, поскольку тем бревном пилы развернуло, брус стал получаться кривой. Толик остановил раму и тут-то почувствовал себя хозяином. Сменил ползуны, смазал ее всю, подложил под разболтавшуюся шейку подшипника вкладыши — вырезал из обыкновенной консервной банки. Перетянул пилы, выверил их по уровню. Сам съездил на Бискамжу, выточил пальцы и втулку к планке подающего механизма — возился со своим агрегатом самозабвенно.

— Так пилу отрегулировал, она работает — ее и не слышно! — говорит мне Толик. И повторяет: — Если не отремонтировать, со скуки помрешь!

Когда Рябой понял, что без него теперь свободно обойдутся и угроза увольнения стала реальностью (раньше рабочих не хватало, поэтому рады были любому), пришел на пилораму пьяный, орал, ругался, стукнул Толика по шее горбылем:

— А, вы тут, комсомольцы, приехали, патриоты, хлеб у нас отбивать!

Дядя Вася и Михаил вытолкали его из лесоцеха. Толя-то, пожалуй, самый слабосильный из них.

Росту он вровень со своей пилорамой — метр шестьдесят. Стоит, опершись локтем о станину, повертывает рукой маховик с противовесом. Нога закинута за ногу, кирзовые сапоги щеголевато завернуты, торчат ушки; спецовочные брюки, пропорошенные древесной пылью, заправлены с напуском. Темно-русые с блеском волосы собраны под замурзанную кепчонку, надетую козырьком назад. Серые глаза, широкие брови, рот плотно сжат, на худых щеках напряглись мускулы — он весь слух, весь внимание: нет ли посторонних шумов, не застучит ли какая-нибудь деталь?..

Когда он возится с рамой: забивает клинья между креплениями или подлаживает что-то, — он весь уходит в дело, и совсем незаметно, что невысок и не так

уж широк в плечах, что не обладает великой силой. Но если рама работает хорошо, и он принимается помогать подкатчикам, тогда видишь, что слишком высоко закидываются руки, держащие топор, неловко гнется неширокая спина. Руки у него хорошие: большие, темные, в мазках солидола, пальцы прямые, без утолщений, чуткие. Ногти тоже аккуратной формы, хоть и обломаны и всегда с постоянной черной каймой.

Ну, а Василий топор держит привычно, коротко, скупы, точны взмахи. Шутя забрасывают они с Михаилом на штабель брус длиной в шесть с половиной метров.

— Слазь,— кричит Толик Виктору, забравшемуся на станину пилорамы,— на хлебе не сидят!

— Вот так, тетя Майя! — подтверждает Василий, и они снова принимаются за работу.

Что я знаю об этих ребятах?

Толик подделал себе в метрике возраст на два года старше, бежал на фронт в сорок третьем году, взяли его в дивизион артиллеристов, но мать заявила — вернули. Кончил ремесленное, работал на Балахнинском бумажном комбинате слесарем. Машины там сложные, интересные: прессы, компрессоры, бумажные машины. Но не сиделось на месте, поехал на Сахалин, пять лет проработал сначала слесарем, потом механиком. Ремонтировали портовые краны, лебедки, прочую механизацию.

Однажды, когда ездили спасать севший на движущийся подводный камень японский корабль, Толик сорвался в воду. Пролежал в госпитале два месяца и поехал в отпуск домой. Тут женился. Прожили неделю, а жену с ним мать не отпускает. Уехал, жена пишет: скупаю, приезжай. Стал проситься у начальника, а тот говорит: квартиру дадим, все что угодно, пусть жена сюда приезжает. Загрустил, запил, неделю не выходил на работу. Начальник говорит, ну уж раз ты задумал, видно, тебя не переубедишь: уезжай. Вернулся домой, стали жить у жены, мать ее все время их ссорила. Прожил чуть больше года, услышал обращение, приехал сюда.

У Васи биография посложней. Отца убили в сорок третьем, мать всю ребятню прокормить была не в силах, пошел работать старший брат, а вскоре и Вася. Получил специальность автослесаря. Старший брат подбил его

что-то украсть из гаража, и Васю осудили на пятнадцать лет. «А мне и двух месяцев бы хватило, чтобы понял!» Когда везли его, думалось, что жизнь кончена, шутка ли: пятнадцать лет!.. Четыре года проработал, а там амнистия. Да еще зачеты ему делали за то, что слесарь шестого разряда.

Поехал домой. В купе с ним были еще три женщины, а он одичал за эти годы, не знает, как и разговаривать. Спрашивают: «Откуда вы?» Ответил: мол, из такого-то города, еду домой... «Что там делали?» — «Работал». И все. Они с ним заговаривают, а он молчит. Спать ложился — фуражку под одеялом снимал, стеснялся: голова-то бритая!.. Потом не выдержал, рассказал, что отбывал срок, домой едет... Сошел на своей станции, видит — мать с соседками в церковь идет. Согнулась вся, состарилась. «Из-за меня, идиота!» — подумал он раскаянно, заплакал: сердце у Васи доброе, характера только нет. Мать увидела его: «Васенька?» И села... Пока его не было, старший брат женился на девчонке, с которой Василий встречался, матери не помогал. Зашел Василий вечером в чайную — и брат там. Взяли вина, разговаривают. «Брат деньги достает рассчитывать, а я уже заплатил: «Побереги свои». Мать пришла, взяли и ей красненького, конфет шоколадных — я опять расплатился. Брат сидит, глаза кровью налились...» Уехал он сюда, потому что видеть брата не хотел.

Вот такие ребята работают на Ала-Тау. Вечерами костер жгут, песни поют, на воскресенье в тайгу уходят. И я с ними. Утром встанешь: желтое медленное солнце, горький аромат смолы и дерева, стеклянный звон Бискаджи. И тишина. Потом зажикает мотор самосвала, загремит ключ, заработает движок, застучат пилы в лесоцехе, затарахтит бульдозер...

Как-то прихожу я на пилораму, ребята сидят мрачные.

— Да вот, — отвечает Василий, — прочел я нынче в газете, опять Эйзенхауэр свои там какие-то штуки устраивает...

— Ну ладно, а если всерьез?

Толик отводит глаза, покашливает, потом начинает рассказывать, что сегодня утром он пошел умываться

на Бискамжу, вылез на берег, видит — идет по дороге человек с ружьем. И сказал ему этот человек, что лучше, мол, уезжайте отсюда подобиру-поздорову. Не уедете, зимней одежды не заводите: до зимы никто не доживет. Поплывете, мол, по Бискамже ногами вперед до самого Сталинска.

— Ну, а как он выглядит, этот «человек с ружьем»?.

— А я не разглядел.

— Испугался?

Толик с вызовом:

— Испугался!

— Ну и что же делать надумали?

— Уезжать отсюда надо,— это Виктор-фотограф сказал.— Начальнику отдела кадров соберем с получки по полсотни, он паспорта отдаст. А то Васю вон приходили «золотари» ночью искать, как бы нам всем тут концы не сделали...

Я знала, что кое-кто из ребят, в том числе Толик с Васей и Виктор, ходят по субботам в Бискамжу: выпить, поухаживать за тамошними девушками. Раза два у них случились серьезные драки с «золотарями» — рабочими ближних золотых приисков. Дядю Васю ребята просто волоком притащили, дней десять ходил перебинтованный. Есть у Василия такое невеселое качество: стоит немного выпить — и уже глаза белые, себя не помнит, лезет в драку. Действительно, один раз золотари пришли ночью к ребятам в палатку: «Мы его отучим с топориком бегать, концы сделаем!» Ладно, Михаил проснулся, ребят разбудил. Все это я знала, но как-то не хотелось думать об этом: такая хорошая погода, веселые девчата рядом в палатке, и вообще раз в жизни хочется написать что-то лучезарное...

Ребята натянуто молчали — видно, хотели обсудить дела между собой. Пошла я на Бискамжу, послушала, как она грохочет, ворочает камни, но успокоения это мне не принесло. Никакой человек с ружьем мне не встретился. Села на старом пне неподалеку от котлопункта, стала думать. Может, Денисову телеграмму дать?

Смерклось. Тарахтел километра за полтора отсюда трактор, пели где-то возвращающиеся с работы девчата. Голоса далекие, негромкие, расплываются и пови-



сают отдельными стеклянными звучками в отсыревшем воздухе. Тайга почернела, слиплась в сплошное, мохнатое. Небо над ней еще вечерне-голубое, тянутся розовые полосы, серые туманные пряди — там закат. Света с каждой минутой становится меньше, а если оглянуться назад — там небо уже грязно-серое, тяжелое, мрачное.

У котлопункта горит неяркая лампочка, глухая стена соседнего дома освещена желто и спокойно, — что-то напоминает мне это желтое пятно во тьме, не помню что... Проехала машина, луч света от фар сначала лизнул дорогу, потом уперся в стену дома. В сверкающем, клубящемся облаке пыли возникла девчонка — высокая, платье облепило фигуру, а голые до плеч руки и лицо ослепительно светятся...

Кто такая — Людка, что ли? Впрочем, у той, похожему, и платья-то здесь нет, на танцы в брюках ходит, хоть и дразнят ее по-прежнему ребята стилигой. Почему это семнадцатилетней девчонке Людке здесь не трудно, а здоровенному двадцатитрехлетнему дяде Васе трудно?..

И вообще я иногда становлюсь тупой и наивной и не могу понять: почему люди не могут жить просто и покойно? Ну хотя бы так, как мне сказал недавно плотник Юозас Юкнавичус из бригады Рентелиса: «Я живу так, как я хочу. Но моя жизнь идет между жизнями других людей, не задевая их. Мне так жить нравится». Моя жизнь тоже идет между жизнями других людей, не задевая их: мне не много надо. Почему другим надо так много: драться, подсиживать, выживать друг друга, пытаюсь выхватить кусок пожирней, воевать?.. Нет, вообще-то я понимаю сама все, что можно сказать на этот счет, но иногда я становлюсь тупой и наивной и искренне недоумеваю...

Подошел Василий, сел рядом на корточках.

— Что посоветуешь, тетя Майя? Как скажешь, так и сделаю, так судьба моя и пойдет... Как-то у нас на станции я с девушкой-диспетчером точил лясы пьяненький. Идет состав, я прыгнуть хотел. Она говорит: «Не прыгай, я мотовоз остановлю, следом идет». Как послушал? Мать иной раз на шее висела: «Васенька, не прыгай!» И то бросался. А ее вот послушал. Может,

там и смерть бы меня нашла: сильно пьян был... И тебя послушаю, скажи, что мне делать?..

— Что сказать?

— Уехать мне или оставаться?.. Боюсь, покалечу я тут кого-нибудь пьяный. А у меня судимость, значит, все — концы мне!.. А я домой не поеду, в город. Женюсь. Есть у меня там девочка. Когда напьюсь пьяный, она уведет меня, спать уложит. После попросит: «Не пей, Васенька...» Не пью долго, держусь, совестно вроде, когда по-хорошему-то просят... Ребятишек я еще больно люблю. Напечем с ней штук пяток, пусть растут, обработаю...

Если быть вполне честной, то мне тогда очень хотелось сказать ему: «Не уезжай, останься!» Осиротеет поселок без его долговязой длиннорукой фигуры, широколобого улыбчивого лица, без его шуток-прибауток, без его постоянного: «Дядя Вася — что? Дядя Вася уйдет... Спасибо, еле выпросил...» У меня аж сердце сжалось, так не хотелось мне, чтобы он уехал.

— Уезжай, — сказала я. — Уезжай...

— Спасибо, — Василий положил мне руку на ладонь.

Как будто мои слова имели для него значение! Или, быть может, где-то в душе он колебался, угрызался, а я сняла с него тяжесть? Так бывает.

Встал и пошел дядя Вася. Завтра он получит получку и уедет, еще раз я увижу его там, на трассе: спрыгнет на ходу с попутной машины, чтобы попрощаться с нами...

Неподалеку от нашей палатки столкнулся Василий с кем-то, сказал весело:

— Куркуль? Что один гуляешь? Я? Я — что, я — ничего, другие — вон что, и то ничего!..

Видно, с Володей Можаровым. Теперь я знаю, почему Володю ребята дразнят куркулем: не пьет с ними, а они думают, что деньги жалеет. Я теперь все про всех знаю, и про Володю тоже, хотя он, конечно, не такой заметный, как Василий, Толик или даже Миша. Незаметный, но крепенький. И жизнь у него сложная была, хотя и всего-то Володе сейчас восемнадцать лет...

Отец их бросил, мать работала тут неподалеку, на Бальксу, в шахте. Подорвала совсем здоровье, уехали во

Фрунзе. Жили бедно, мать все болела, сестренку еще кое-как одевали, а Володька босиком ходил зимой и летом, рваный, ноги красные. Стеснялся, школу пропускал. Подружился с одним парнишкой, у того мать спекулировала толем и разными дефицитными вещами. Володина мать тоже начала заниматься спекуляцией. Оделись, зажили хорошо. Однажды его вызывают из класса: у вас обыск. Мать арестовали, потом осудили на десять лет. Остался вдвоем с сестренкой, барахлишко кое-какое распродал за полцены, а потом уже ни продавать, ни есть нечего. И с тем дружком начал он воровать. Финки себе раздобыли, фиксы вставили — все, как у заправских бандитов. По домам лазали, по карманам — ничем не брезговали. В горы уходили, горцев пугали. Однажды их поймали, посадили в подвал до милиции, а они выломали доски и убежали. То он в школе не показывался, а тут прибежал, там как раз в колхоз на уборку отправляли. Уехал, за месяц следы его потерялись. Когда вернулся, вызвали в милицию: прямых улик, мол, нет, но лучше уезжай. Написала сестренка тетке (сестре отца, тоже где-то в этих краях живет), та выслала им денег на дорогу. Приехали, вел он себя как блатной: походка, взгляд, ножик всегда с собой носил. В школу ходил, когда захочется, вел себя вызывающе, хотя географию и историю любил очень, читал все, что под руку на эту тему попадалось. Однажды учитель его во время ответа поправлять стал, он с ним схватился спорить — руку в карман сует (а там одна расческа). Учитель побледнел, отступил, говорит, я на тебя в милицию заявлю! Володя прибежал домой, сестренке сказал: «Ты, Светка, держись тут, а я уезжаю, пока не забрали!» Поехал на Балыксу. От Усть-Бюря ехали на открытой машине сто километров: метель, мороз, а на нем брючки простые да телогрейка. Ему говорят: лицо, мол, три, побелело все, или с машины спрыгни, иди пешком. Да как спрыгнешь — весь заоченел. Приехали на перевалочный пункт, лицо черное все, тело тоже обморожено, кожа после лоскутьями слезала. Дальше пошел пешком и все думал. Ножик в снег бросил, решил с блатной жизнью кончать. Дошел до Балыксу, устроился на золотые прииски в разведку. Ходили, рыли шурфы в песке. Выроют, укрепят досками, по слоям берут пробы и записывают.

Хотелось ему одному быть, уходил в лес, бродил, как дикий, никого не боялся. Охотился, рыбу удил. И все думал. Сначала отца хотел убить, но мать было жалко и сестренку. «Нет, я должен человеком стать, чтобы помогать им, чтобы мать жила, горя ни грамма не знала!..»

Приехал сюда на дорогу, на бетон пошел работать. Работал как вол, курить и пить бросил, перешел на конфеты. Звеньевым сделали его, после бригадиром. Матери деньги посылает, сестренке на платье купил, выслал. У здешнего прораба Резунова книги берет, занимается: «Если вечернюю школу в Бискамже не откроют, в Аскиз уеду. Надо мне учиться...» Он черноглазый, щекастый, курносый, невысокий. Козырек кепчонки всегда задран вызывающе, губы упрямо сжаты.

Вроде бы у Толика, у Васи и у Володи много схожего в биографиях: тоже и поскитались, и законы нарушали. Но в Володе, несмотря на такую серьезную неровную биографию, есть какая-то надежность, а в Толе и Васе этого нет. Если бы решил быть бандитом — был бы, я знаю, но коли надумал учиться — человеком станет. Может, не такого уж крупного масштаба, в смысле занимаемых постов, зато настоящим.

Все дело в том, что он естественный человек. Не пытается притворяться лучше или хуже, сильнее или слабее, не заискивает перед людьми, не тратит на это силы. Ну, а, допустим, Толик не уверен в себе, не найдет никак точку устойчивости: хочется ему выскочить из своей обычной кожицы, покочевряжиться немного, поприкидываться сильнее. Потому на фронт убежал, а после испугался и рад был, когда домой по жалобе матери отправили. Если бы всерьез хотел — убежал бы. И на Сахалин за чужим, более сильным характером поехал, и с женой не ужился, потому что повелевать хотелось — а повелевать не может. Да и сюда укатил мастеру назло: тот сказал, мол, куда, зачем тебе ехать?.. А ехать, наверное, действительно не следовало: только смута от них, неуверенных, в этих серьезных местах. И главное, искомое-то рядом: будь самим собой! Любишь с техникой возиться, есть у тебя две действительно золотые руки и голова к этому делу приспособленная — ну и знай, что это твоя доля, занимайся

этим, живи нормально. Не поднимай шума на земле, что стоишь — получишь.

Мне думается, самое главное, самое трудное в жизни — найти себя, быть естественным. И жить своей жизнью, а не выдуманной чужой. Хотя вроде бы, со стороны глядя, иногда кажется, что иной добывается больших жизненных благ, более высоких постов, когда дотягивается до выдуманного своего размера. Но чувствует он себя не на своем месте, оттого нет в его душе ни покоя, ни счастья.

Вот почему я так люблю смотреть на Людку: она предельно естественна. Ведь и биографии-то пока нет за плечами, когда бы и напридумывать себя такой или эдакой, как большинство девчонок в ее возрасте, — нет. Ходит по земле такое стриженое чудашное существо, не поймешь — не то парень, не то девчонка, нимало не смущаясь своим прозвищем «Стиляга» (да у тех, кто ее знает, это, скорее, любовная кличка), хочет — идет на танцы, хочет — лежит в палатке, в полном одиночестве, читает или думает о чем-то своем. И хранит ее судьба среди грубого люда от пошлых приставаний: редко какая девчонка прoderется сквозь толпу парней перед бискампинским клубом, чтобы ее не лапнули, не сказали что-нибудь сальное. А Людка стряхнет волосы с лица, поднимет свою широкую, не по росту длиннопалую руку, произнесет мальчишеским альтом: «Ну-ка, дяденька, дайте пройти!» И расступаются...

Вот такие дела.

Один мой знакомый писатель приехал тогда с сибирской стройки в панике: «Там калечатся судьбы детей!..» Но каждому поколению выпадает свое испытание на стойкость и жизнеспособность.

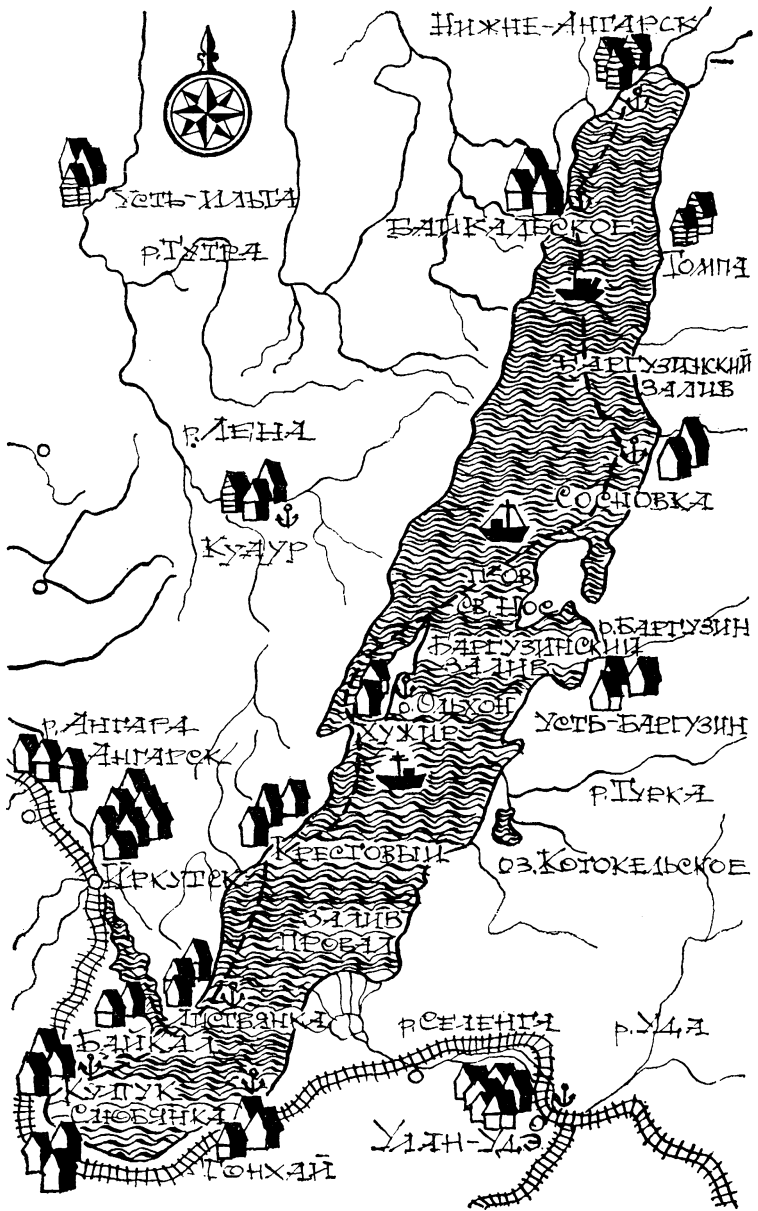
Нашим отцам — революция, гражданская война, старшим из нас — фронт Отечественной, нам — тыл. С четырнадцати-пятнадцати лет работали в оборонных цехах по две, а то по три смены, продавали водку и последнее тряпье на рынке для того, чтобы купить хлеба, ездили менять барахло на картошку в разные края, ночевали на станциях под лавками — ничего, остались живы, сохранили человеческое сердце и не приобрели цинизма.

Ну, а этому поколению выпала целина и сибирские

стройки. Тоже не простое испытание, но вполне перепосимое. Пусть и они проверяют себя на жизнеспособность.

Ну вот и все пока про железные дороги и про людей, которые их строят.

В пятьдесят девятом году была наконец окончена дорога Сталинск — Абакан, в шестьдесят третьем Тайшет — Лена, в шестьдесят шестом Абакан — Тайшет. Десять лет я была верна этой теме «Строители железных дорог», я не жалею об этих десяти годах, иногда мне вообще кажется, что это были самые лучшие, самые счастливые годы в моей жизни, наверное, потому, что я была тогда еще молодой, полной надежд, и пилося тогда от реки жизни нерасчетливыми, полными глотками.



Нижне-Амурск



Усть-Ильча

Р.Ильча



Банкадское



Домна

Баргузинский

Залив

Р.Лена



Кузур

Сосновка



Новоселов

Р.Баргузин

Баргузинский

Залив



Р.Ольхон

Хухир

Усть-Баргузин

Р.Ангара

Ангарек



Крестовый

Р.Уссурия



Крестовый

Оз.Котокедское

Залив

Провал

Р.Иссык

Банкада

Р.Селенга

Р.Уда

Кутук

Стеблянка

Усть-Уда

Тонхай



## БАЙКАЛ, ГОД 1963

**1** Кто это первый сказал, что цвет воды в реке зависит только от цвета неба? Серое небо — серая река, голубое небо — голубая река?..

Я-то знаю, что в самый голубой день вода в Иртыше — коричневая; в Вишере — той, что впадает в Каму, — огненно-рыжая, словно кошачьи глаза; в Енисее и Абакане — стеклянно-зеленая; в Лене — серо-голубая, точно растекшаяся ртуть. В Ангаре, до того как построили ГЭС, была синяя, очень синяя... В Тибре — мазутно-смуглая, такая же, впрочем, в Москве-реке и вообще в городских реках: в Клязьме, в Темзе, в Сене...

Очень люблю я текучую воду и, когда удастся, гляжу на нее пристально, чтобы поймать среди тысячи оттенков ее сокровенный, вечный.

Если говорить точным языком науки, этот сокровенный цвет текучей воды зависит от количества взвешенных частиц: глины, ила, планктона или той индустриальной дряни, которой «обогащает» ее человек. Если таких частиц мало, вода прозрачна и поэтому темно-синяя, как чистое небо.

В начале лета Байкал темно-синий, потом начинается цветение планктона, и вода становится зеленоватой.

Байкал очень холодный. В самую жару вода в нем не выше десяти градусов, а среднегодовая всего лишь четыре. Поэтому утром над Байкалом всегда колеблется дымка: огромная холодная поверхность сгущает водяные пары, тянет к себе.

Кстати, когда знаешь, что откуда идет, — меньше де-



лаешь ошибок. Можно было бы написать: «утрами над Байкалом курится парок» или «вода в нем дымилась», — а это неверно. Слово «дымится» или «курится», во-первых, подразумевает движение вверх, а главное, поверхность, с которой поднимается дым, теряет в объеме. Здесь же совсем наоборот.

Здесь глядишь на желтоватую мглу, стягивающуюся к молчаливо-напряженному, точно огромный аэродром, зеркалу воды, — и почти физически ощущаешь, как ненасытный Байкал сосет водичку из атмосферы. Мало ему!.. Больше трехсот притоков вливают в него семьдесят кубических километров воды за год — а для чего? Для того, чтобы он отдал ее одной-единственной Ангаре. Впрочем, всю воду из Байкала Ангара смогла бы вынести только за четыреста лет. Нигде на земле нет столько пресной воды, собранной в одной котловине.

Байкал, сказка моего детства... Байкал, Ангара, омуль — знакомо ли вам обаяние непонятных слов, повторяемых в разговорах взрослыми с тех пор, как вы себя помните?..

Байкал, Байкал!.. Вот когда я до тебя добралась! Я теперь старше своего отца, того, что ходил в самые лютые морозы по улицам Иркутска в студенческой тужурке, рисуясь перед гимназистками; сидел за распространение прокламаций в Александровском центре и выгребал на веслах от Иркутска до Лиственничной — семьдесят километров против течения, пароход тут шлепает часа три!.. Я старше своего отца, оставшегося здесь, в прошлом, молодым и во многом нелепым, как и я.

Садится солнце. Байкал лениво молчит. С неба колеблясь плывет полупрозрачная мгла. Вода, белая как крыло самолета, бесконечно идет ровными, натекающими одна на другую волнами, доходит до берега и медленно прикасается к нему. Из мглы выступает пароход, молча ползет, теряя ключья дыма, и снова пропадает.

Все будущее в будущем, прошедшее в прошедшем, а настоящее неуловимо...

**2** — Здравствуйте, Глеб Юрьевич.

Он рассеянно кивает и проходит. Очень высокий, длиннорукий, чуть сутулится. В резиновых, завернутых сапогах и накинутой на плечи брезентовой куртке.

— Можно вас спросить?

— Я спешу. Впрочем, забываю, теперь времени у меня, в общем, много. Что вы хотели?

Он присаживается против меня на камень, расставив длинные ноги с худыми коленями. У него борода, чеховский лоб, давно не стриженные густые волосы и беззащитно-тревожные глаза.

— Тут такой воздух... Я люблю слышать, когда смешивается этот... чувствуете?.. бриз с Байкала, холодный и сладкий, как густое молоко... с запахом разогретой пыли и камня от прибрежных скал. Слышите этот запах? Он чисто байкальский.

— Слышу...

— Вы любите Байкал?

— Еще нет. Я ведь тут меньше недели. Но меня уже тянет к нему... И потом я прочла вашу книгу.

— У нас дома, когда делали елку, фитили свечек соединяли навощенной ниткой. Зажжешь одну свечку — и вспыхивают все.

— Я поняла: это вы про Бенедикта Дыбовского. Если бы вы не слушали его лекций в Варшавском университете, когда он вернулся из ссылки... Возможно, вы бы и не заинтересовались Байкалом. А от вашей свечки загорелось много.

— Да... Цепная реакция.

Он сидит, отвернувшись от меня, вспоминает. Лицо у него усталое, немного раздраженное. О чем он думает, этот человек, ярко проживший — нет, ярко сжегший свою жизнь?

У него было много друзей, но, может быть, еще больше врагов. Он работал по двенадцати, а иногда и по четырнадцать часов в сутки и все же никогда не отказывал в своем времени людям, как и он, влюбленным в науку. Но не считал нужным скрывать свое презрение к тем, кто просто кормится возле науки, проводит время, что-то почитывая, что-то пописывая... У него было много друзей, но, может быть, еще больше врагов.

Он умер в сорок четвертом году пятидесяти лет от роду в своем кабинете, заканчивая работу о Байкале, двести восемьдесят пятую по счету. Умер, потому что перегрелся, как двигатель, который нерасчетливый хозяин давно пустил работать «на износ».

Сгорел...

Человек сгорел не потому, что спился, не потому, что слишком уж закружился в вихре жизненных наслаждений. Хотя имел для того полную возможность: он был удивительно красив в молодости, занимал высокие посты, бывал подолгу за границей. Мог сделать блестящую карьеру, не выезжая из Москвы, а вместо того все бросил и уехал в глушь. И здесь сгорел, изучая особенности какого-то озера...

— Глеб Юрьевич, я хочу понять...

— Лет десять назад в газетах печатали всерьез статьи о снежном человеке. Отправлялись экспедиции... Вам это понятно — интерес к снежному человеку?

— Понятно... Пожалуй, понятно.

— Вам, наверное, хотелось узнать от него, как жили люди миллион лет назад, как от волосатого, едва прозревшего, еще не знающего, что такое огонь, человек пришел к элегантному ученому, расщепившему атом и ежедневно пользующемуся электробритвой? Узнать, так сказать, из уст очевидца?..

— Да... Приблизительно так.

— Значит, и вас интересует вопрос: как это было? Меня тоже... Есть такой моллюск лиобайкалия.

— Я видела ее в музее института. Похожая на крохотный обломок штопора, хрупкая, словно скорлупка перепелиного яичка... В водах Байкала мало кальция, поэтому крупных раковин нет: моллюскам не из чего строить свои домики.

— Да. Вы заметили, конечно, что у нее совсем развернутые завитки? Она очень древняя, эта лиобайкалия, на девятнадцать миллионов лет древнее первого человека, и совсем примитивная: едва-едва, неплотной ленточкой прикрыла тело моллюска — и ладно!.. Ее нашли в мезозойских отложениях на берегах Байкала, и точно в таком же виде она живет в Байкале... В Байкале ведь много таких сохранившихся со времен верхнего мезозоя или нижнего палеозоя животных и растений. И масса переходных видов. Изучая их, пытаюсь понять, под воздействием чего они претерпевали изменения, я тоже стремился ответить на вопрос: как это было?.. И на второй: можно ли этим управлять?.. Я торопился, конечно, мне хотелось все самому...

— Глеб Юрьевич, многие мне говорили, что в своих работах вы допускали ошибки. Иногда грубые.

Он резко взмахивает рукой:

— Я ставил вопросы и давал на них ответы. В науке ничто не задерживается на месте...

Он уходит, не прощаясь, озабоченный какой-то своей мыслью.

У него было много друзей, но, пожалуй, еще больше врагов. У него было много странностей, жизнь его людям правильным казалась нелепой, чересчур угловатой. Но не им его судить.

С того места, где он похоронен на кладбище в Лиственничной, хорошо и далеко виден Байкал. На могиле его стоит деревянный крест: так было в завещании. Говорят, это просила Глеба Юрьевича мать, которая умерла незадолго до него и похоронена рядом.

Могила заросла бурьяном, нет на ней ни кустика — не сорвешь листок на память. Трава вокруг высокая: у Верещагина нет ни детей, ни родных, некому пробить к могиле тропку, а сотрудники института не сентиментальны. Экскурсантов сюда тоже не водят. Впрочем, Верещагин не был тщеславен, наверное, он пожал бы плечами: ходят, не ходят, какая разница, что из того?

И правда, что из того? Возможно, это предрассудки, пережитки далеких, полных суеверия времен — что, хороня своих мертвецов, мы ставим над холмиками памятники, надеясь возвращаться к ним?

Что это, собственно, дает?

На том же кладбище в Лиственничной на сровнявшемся с землей холме лежит обомшелый камень: «Здесь похоронена иркутская мещанка». И все. Ни имени, ни даты. Может быть, надо так?.. Или вовсе без холма: не слишком ли много места на ставшей очень тесной и маленькой земле занимают кладбища?

А может быть, все же стоит помнить своих мертвецов, потому что наш малый разум — это их высокая мудрость? Может быть, стоит водить студентов к могиле Глеба Юрьевича и рассказывать им, что «он не из пламени дыму хотел напустить, но из дыма пламень извлечь...».

Ради цепной реакции...

— Что это вы, матушка, раскисли! — говорит сер-

дито Глеб Юрьевич.— Памятник, тропку вам надо... Пустяки это все... Вот он — памятник! — Верещагин кивает на Байкал.— Двадцать миллионов лет ему, и еще будет столько. Нетленный, неизносимый, вечный. И тропки по моим следам катера институтские бороздят. Проверяют, спорят со мной, ругаются... Не забывают! — Он хитро усмехается. Я тоже. Он прав. Как всегда, прав...

**З** Капитан нашего катера Василий Васильевич Семенов. Сколько ему? Лет сорок пять... Стоит, чуть нагнув голову, сунув руки в карманы. В сапогах и старом залатанном кителе. Лицо загорелое, заросло светлой щетиной и еще каким-то белым пухом; темные жесткие брови опущены на глаза. Глаза — синей чертой поперек лица, будто небо просвечивает сквозь череп. Даже неприятно.

Хмуро цыкнул на меня: «Отойдите в сторону, не мешайтесь при погрузке!..» Говорит — еле губами двигает, не сразу поймешь. А где здесь сторона?.. Таскают ящики со склянками, в которые Константин Константинович будет брать пробы, таскают мешки с мукой и сахаром: на Байкале — институтские экспедиции, одной рыбой сыт не будешь. Еще что-то таскают.

Отошла. Стою. Вроде никому не мешаю. Вот не люблю чувствовать себя пассажиром! Таскать бы что-нибудь. Но с таким капитаном лучше уйти в сторону. Опять шуганет, попадись под руку...

Подошел к нему какой-то пьяный мужик, уговаривает взять пассажиров. Отчего не взять: Байкал велик, сообщения на нем один «Комсомолец», который ходит от Байкала до Нижне-Ангарска, оборачиваясь за четыре дня. Другие капитаны берут: и людям помощь, и себе немалый доход. Наш буркнул снова, не разжимая губ:

— Куда возьму, на крышу, что ли? Не видишь — перегружен катер.

Пьяный опешил, после угрозы вслед; мол, погоди, тонуть будешь, трסה не брошу!..

— Зачем мне тонуть? Придумал тоже, тонуть! — И заворчал на кого-то из матросов: — Куда кладешь, не понимаешь, маленький, что ли? Волна будет — сразу за бортом!

— Култука тебе хорошего! — накликает пьяный.

Култук — это один из байкальских ветров, коих много. Култук, верховик, горный, баргузин, сорма, ангара... — Попутный будет! — буркнул капитан и ушел в рубку.

Ох и характер! Ну, пусть его. Я пассажир, еду смотреть Байкал и его население. Пожалуйста, мне не трудно: я могу эти девять дней ни с кем не разговаривать.

А мой начальник?

Константин Константинович бегает по причалу, что-то тоже грузит, пишет какие-то записки. Маленький, озабоченный, взглядывает на меня, застенчиво и раздраженно улыбается: «Не до тебя, матушка, не путалась бы ты под ногами!..»

Понятно.

Скорей бы отсеивались пассажиры: везем геологов, лимнологов, еще кого-то. Скорей бы утряслись люди: в толпе не видно лиц.

Взял-таки Семенов пассажиров, за которых хлопотал пьяный. Оказалось, что это муж с женой и девочкой едут к брату в Богульдейку: у брата не то потерялся в тайге, не то утонул мальчик, надо помочь.

— Такое дело, ладно, — сказал Семенов.

Утряслись, отсеялись. Едем уже пять часов. Разошелся верховик — главный байкальский ветер, дующий вдоль его котловины с севера на юг, а точнее для этих мест, с востока на юг. Катер здорово кидает, волна летит через нос на палубу. Я сижу над машинным отделением, здесь качает меньше.

Константин Константинович устроился на крыше кормового кубрика. Ссутулился, нахохлился, большие навывкате голубоватые глаза напряженно смотрят в себя, а на лице застенчиво-вежливая улыбка: «Да нет, я здесь, я нужен — пожалуйста!»

Я протягиваю блокнот, где выписаны цитаты из книги Константина Константиновича «Гидрохимия озера Байкал», прошу растолковать непонятное. Константин Константинович надевает очки.

— Да, это вы верно списали, что?

В техникуме у меня по химии всегда была не твердая тройка. Я прошу Константиныча прочесть мою «хими-

ческую главку»: как бы мне не сделать его именем «открытий», претендующих на мировую сенсацию...

— Ничего, я привык. Мне одна корреспондентка приписала, что я изобрел антикоррозийное покрытие для судов, которым с успехом пользуются на Байкале. Я не обижаюсь...

— Ничего себе!

— А мы с ней разговаривали о том, что в силу своей малой минерализации байкальская вода действует разъедающе на металл, на бетонные сооружения. Ну, она сделала практический вывод, опередив, правда, значительно события. Вот тут как раз могла получиться мировая сенсация. Но обошлось...

Все-то он знает, о чем ни спросишь: о байкальской водичке, о рыбе, о планктоне, о разных версиях происхождения байкальской котловины, об удивительном озере Танганьика и о художнике Дубовском, писавшем закаты, похожие на тот, что перед нами. Сравнивает атлас Дриженко, составленный в начале века, с тем, который несколько лет назад составило Восточно-Сибирское пароходство.

— Пересчитали футовую систему — и все! — поддерживает его капитан. — Перепутали названия, места отстоя! Кабаний нос — место отстоя от верховика! И Каторжанка! А там больше всего бьет... Дриженковский — это был атлас: глубины, места отстоя — точно все.

Я спрашиваю, есть ли в Байкале «тяжелая вода», как предполагал Верещагин. Константин Константинович отвечает, что есть, но не дейтерий, а тяжелый кислород.

Зовут ужинать. Повариха наша — худая, лет под пятьдесят, крикливая, бывалая, огненно-рыжая. Готовит хорошо и чисто, что так редко и так трудно в этих условиях. Она наливает всем крепкого кирпичного чаю, а капитану просто воды.

— Вы почему с заваркой не пьете, Василий Васильевич?..

— А зачем ее пить?.. Вода — она вода и есть, а заварка зачем?

В принципе я с ним согласна. Байкальская водичка очень вкусная, имеет даже свой какой-то неуловимый

аромат, не то что наша фильтрованная хлорированная из водопровода... Но все же другие-то с заваркой пьют! Непонятно.

Мне уже рассказывали в пароходстве, что капитан наш со странностями. В домино не играет, не пьет. Со всем не пьет!.. За это его многие не любят, а кое-кто из команды жалуется, что с Семеновым «трудно» работать.

Между прочим, когда подходили к Богульдейке, пассажир, едущий к брату, принес пол-литра водки и пол-литра «красного». «Спасибо, что подвез, выпьем давай?» — «Не пью». — «Не пьешь?!.. Так куда ж я ее?» — растерялся парень. «Куда? Как принес, так и унесешь. Тяжело, что ли?» Денег за провоз Семенов с них тоже не взял, приведя тем самым пассажиров в окончательное недоумение.

— Да вы кержак, что ли?

— Кто?

— Ну старообрядец...

— Здесь их семейскими зовут, — подсказывает Константин Константиныч. — Политических по одиночке выселяли, а старообрядцев семьями. Семейские.

— Не с той политики смотрите! — сердится капитан.

#### 4 Тишина.

Вода гладкая, масляно-сизоватая, покачивается, играет солнцем. Берега затянуло дымом: где-то горит тайга. Сладко пахнет кедровым стлаником. И тишина...

Неужто на свете бывает такое?..

Тишина.

И лоснится, плотно покачивается в берегах Байкал, полный, как глаз.

— Так бы и побежал вперед катера! — вздыхает Гошка и подмигивает мне. — Верно, штурман?

— Верно, — говорю я. Штурман так штурман.

Гоша Федоров наш боцман. Черноглазый и подвижной, как медвежонок, он везде успевает, до всего ему дело. И вечно на лице его улыбка, смешок. Гоше двадцать четыре года, но в нем еще столько от мальчишки! Вчера во время качки опрокинуло кастрюлю с компотом. Все жалели повариху, которой ошпарило ноги, а Гошка... компот!..



— Давай, штурман, на руль! — распоряжается Гошка.— Сейчас отходить будем.

— Какой сегодня Байкал гладенький,— посмеивается Константин Константинович.— А говорят, женщина в рубке — несчастье приносит! Утих ведь, старик... Или прикидывается?

— Просто я счастливая.

Правду сказать, не очень-то и счастливая, вернее, не очень везучая: все, что у других получается просто, у меня сложно. Однако с некоторых пор я решила говорить, что я везучая, а если что не так — это не от меня. Одна моя знакомая приучила себя к этому с детства. Даже когда им дали квартиру неподалеку от химзавода, она говорила всем, что район прекрасный, правда, рядом химзавод, но «дым не в нашу сторону...». В этом есть своя мудрость: какое дело людям до твоих неудач и неприятностей? Люди любят везучих, с ними легче, чем с нытиками-неудачниками. Дым не в нашу сторону. И все.

— Просто я везучая,— повторяю я.— Постояла на руле, вот Байкал и утих!

Вчера капитан спросил, как мне нравится Байкал, не кажется ли слишком сердитым, не укачивает ли. Я ответила, что катер хорошо «отыгрывается» на волне, хорошо идет, и поэтому при любой погоде находиться на нем — сплошное удовольствие.

Мне рассказывали, что во время зимнего ремонта Семенов переделал катер по собственному плану. Приварил ему новый тяжелый киль для хорошей остойчивости, переделал корму, чтобы лучше волну резала, поставил добавочный мотор в восемьдесят сил на случай, если выйдет из строя главный. Эти новшества опять не пришлись по вкусу многим в пароходстве, тем более что за зимний ремонт команду катера премировали: «Что, у нас и есть только «Москвич» да Семенов? Все премии им!», «Испортит катер...»

Испортит не испортил, но «Москвич» действительно очень хорошо идет. На двух моторах он дает двадцать три узла, почти поднимаясь над водой, легкий, как глассер... Среди институтских катеров скорость у него самая высокая. И пожалуй, самое надежное сочетание на Байкале — Семенов и «Москвич». Недаром, когда

приезжал Фидель Кастро, по Байкалу его возил Семенов на «Москвиче»...

Я беззастенчиво лъщу Василию Васильевичу в глаза, расхваливая ходовые качества катера, в которых ничего не понимаю, а он радуется как ребенок, жалуется на тех, кому не нравятся его усовершенствования, объясняет мне какие-то технические подробности, которые я тоже понимаю только наполовину.

— Идите, станьте на руль,— решает Василий Васильевич.— Вы журналистка, так вам надо все уметь. Пригодится.

Необыкновенная серьезность сочетается у Василия Васильевича почти с детской наивностью. Где мне может пригодиться умение водить суда по бурному морю! Я пытаюсь сопротивляться, но, конечно, безуспешно.

— Сердце доброе, отказать не могу,— говорю я Гошке, сменяя его за рулем.

Он моментально перенимает у меня эту присказку и отвечает другой, моей же, которую «освоил» еще вчера:

— Что нам стоит дом построить, нарисуй — и будем жить! Давай, штурман, жми на баранку!

— Вы спокойней, спокойней, не дергайте его,— говорит Василий Васильевич.— Как на велосипеде: руль кладите в эту же сторону, куда он уходит.

Если бы я умела ездить на велосипеде!.. И к компасу никак не приладишься — ползет, дергается стрелка, не стоит на месте. А Василий Васильевич управляет катером... ногой. Правда, не левой, а правой. Сядет на столик, поставит ногу на штурвал, покачивает его то вправо, то влево. И катер идет как по линейке!

Восемьдесят километров поперек Байкала, глубины, к счастью, большие, учиться можно. И где-то на середине, часа через два, я начинаю увереннее чувствовать тяжесть руля, сопротивление байкальской водички и уже не дергаю испуганно руль, когда стрелка на гирокомпасе ползет в сторону от курса, а слабо покачиваю. И катер послушно идет по масляно плавящейся вороненой синевой воде, мачта будто влипла в горизонт, не колыхнется...

Байкал, Байкал, вот я и почувствовала тебя ладонью, тяжелую, сладкую твою водичку, живую твою водичку...

Вдоль берега тянется желтенькая полоска песка, горы не высоки, мягко темны. В первый день мы заходили на Песчанку: белый песок, сосны, светлые, выветренные «колокольни» на скалах. На Песчанке, говорят, наибольшее по этим местам количество солнечных дней в году, тут уже три года работает всесоюзный туристический лагерь. Глядишь на голых оливково-черных девчонок и парней, и кажется тебе, что не на суровом Байкале ты, а где-то на Южном берегу Крыма. Для меня тут слишком много народу...

Впрочем, чем дальше на север, тем выше, скалистей берега, тем дичее. Не засветится огонек, не зачернеет лодчонка. Можно пройти две сотни километров, не увидев человека на берегу или дымка на горизонте.

**5** — Есть надежда попасть в покойники! — говорит мне Гошка.

Но меня не проведешь. Я уже знаю, что Покойники — это деревенька на западном берегу Байкала, отстойное место от верховика.

Тогда Гошка сам себе повторяет:

— Есть надежда попасть в Покойники! Компоту бы сейчас без косточек!.. — и довольно смеется. — Хотите, я вам покажу пятнадцать фокусов на картах? Любую карту из колоды выберете, а я угадаю. Что смеетесь? Не верите? — И обижается: — Все на меня! День какой-то тяжелый!..

— Странный день, — соглашаюсь я. — От киселя люди пьяными становятся...

Гошка обиженно уходит.

Гошкина голова выше завязки набита всякой ерундой. Запоминает и перенимает он все моментально. Сведения о гидрохимии и гидробиологии Байкала перемешаны у него с низкопробными куплетами, кои привозят сюда халтурщики от эстрады. По этому высокому образцу он сочиняет и свои дразнилки. Гошка переимчив к любому ремеслу. Он хороший фотограф. Работал в институтской фотолаборатории, потом ушел: на катере свободы больше. Василий Васильич доверяет ему полностью: Гошка не хуже его делает проводку, стоит на руле, покрикивает на ребят, чтобы наготовили дров для кухни, вымыли палубу, заварили щели на лод-

ке. Он и себе сам ищет дела, сам делает все легко и весело.

Но вчера Гошка проштрафился.

Впрочем, капитан считает, что виноват во всем Константин Константиныч: «Ни к чему это! Встречи двух команд какие-то... Баловство одно для матросов».

Вчера мы пришли на Ушканьи острова, те самые, относительно которых Верещагин считал, что они погружаются, а современные морфологи говорят, что они, наоборот, поднимаются. Слили две тонны горючего «Черскому» — катерку местной экспедиции, отдали гидрологам продукты.

Ночью наш катер стоит: слишком мала команда, чтобы устраивать круглосуточные вахты. Выходим мы обычно часа в четыре утра, становимся на отстой часов в десять вечера. Команда работает здорово и безотказно.

Но сегодня мы пришли на Ушканчики в пять, и больше никуда идти не собирались. По сему случаю Константин Константиныч отдал ребятам бутылку спирта. Естественно, они обрадовались и решили «побурханить».

Пришел Николай Елиферьевич, капитан «Черского», работавший еще с Верещагиным. Принесли соленого омуля, опчан — омуля вяленого, распластанного на деревянных распорках; развели не очень жидко спирт и устроили вечер встречи двух команд.

Капитан наш тоже сидел за столом со всеми, тоже слил из своей кружки на стол водяному Байкала великому Бурхану; тоже выпил, «чтоб лишнего не говорили!...». И продолжал сидеть молча, поглядывая из-под жестких бровей на ребят невеселыми глазами.

Николай Елиферьевич, потерявший на войне ногу, принялся вспоминать фронт, к нему присоединился брат нашего механика, потерявший на войне руку, вступила повариха, прошедшая от Сталинграда до Берлина... Фронт, блокада Ленинграда, еще ветра байкальские — гудят в нашей тесной кают-компании горячие разговоры...

А ребята взяли лодку и уехали на берег: у кого-то из студенток нынче день рождения, надобно поздравить.

Как пропустил это наш суровый капитан? Может быть, он как раз слушал Николая Елиферьевича:

— ...как начал нас бить о дно култуков, механики рас-

терялись, я звоню в машинное отделение: мать вашу так!..

Может, в это время он говорил:

— В море я сам хозяин: пусть его рвет, страшно, что ли? А коли на берег швырнуло...

Злые языки утверждают, что Василий Васильич любит держаться подальше от берега. И на самом деле, в море он очень надеется на себя, на свой катер, на два мотора, но если горняшка швырнул судно о берег, то тут уж надеяться не на что. Капитан осторожен, потому что слишком хорошо знает, что может быть...

Так или иначе, ребята уехали, разговор утих, гости ушли на свой катер. А через час поднялся верховик.

Василий Васильич дал сигнал, но на берегу точно вымерли все. Еще сигнал — тот же результат.

— Отходить будем,— и стали тонкими губы.— Команда? Как разбежались, так пусть и сбегаются, маленькие, что ли? Где я их по кустам буду искать? Завтра я на разрезы должен выходить, работа или баловство — одно что-нибудь.

Дал отвальный гудок, заработала машина, загремел выбираемый якорь... И в последнюю минуту ткнулась о борт лодка.

— Ушел бы! — ругался Гошка.— Я его знаю — ушел бы!.. Жалко уж ему было, у Киры день рождения, кисель такой вкусный...

Что это за интересный кисель, от которого сразу подозрительно косят глаза?..

Ребята шумели, капитан молча ушел в рубку, катерок развернулся и вышел в Байкал, запрыгал по волнам.

— Куда идем? Куда надо, туда и идем! — ответил капитан на мой вопрос.

Поделом мне, не суйся!

Наутро ребяташки виновато отводили взгляды, впрочем, капитан ни о чем не вспоминал.

— Есть надежда попасть в Покойники! — говорит мне Гошка.— Правда, мы там один кисель пили...

**6** «Изведав мучения жажды, я попробовал вырыть колодец, чтобы из него черпали и другие». Это у Э. Сетона-Томпсона. «Он будет пить и вдоволь

не напьется, он будет есть и он не станет сыт, и даже если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется!..» Это у Гёте.

Кто заложил в человеке страсть к постижению непонятного? Не во всех, конечно,— иначе человечество, наверное, кончило бы свое существование на первом «ушибленном», попытавшемся понять, куда девается тепло из остывающей туши мамонта. Человечество живо людьми с практической складкой ума: они изобрели топор, колесо, паровоз и стиральную машину. А «ушибленные», пытаясь найти «философский камень», расщепили атом. Может, было бы лучше, если бы они его не расщепляли. Это другой вопрос.

Константин Константинович сидит на ящике перед рубкой, обставился бутылками с реактивами, титрует пробы. Добавляет в белое белое, оно становится оранжевым, потом лимонным, потом фиолетовым. Добавляет еще белого — и фиолетовое становится белым. От чего шли, к тому пришли. И все-то ему там ясно в этих переходах цветов, глаза за стеклами очков устали и знающи. Он похож на эльфа из норвежских сказок, пытающегося химическим путем получить обыкновенную фею. Но феи не получается, получается совсем другое. Константин Константиныч записывает полученное в блокнот и ласково улыбается. Он доволен.

Байкал для него живой и объемный, как, допустим, для хорошего врача человек. Если человеку впрыснуть подкожно яды, которые тот поглощает за день с пищей, он погибнет. Но яды нейтрализуются в желудке, в кровь попадает только то, что нужно, и человек здоров.

И это здесь, на Байкале, где воздух чист и сладок, как холодное молоко, атмосферные осадки в четыре раза чище наших. А какие же дождинки идут у нас в центре?.. Вода в Байкале всего лишь в два раза более минерализована, чем наши дожди, и только в полтора раза жестче. Она очень мягкая, эта байкальская водичка, даже когда моешь руки, чувствуешь...

Куда же все девается, каким образом Байкал поддерживает эту высокую чистоту своих вод, которой нет равной среди больших озер мира?..

— Да ну, ничего сложного,— говорит Константин

Константиныч.— Погодите секундочку, я вам все объясню...

Для меня абсолютно обаяние ума, таланта и знаний. По-настоящему умных людей, в общем, не так уж много. Больше, пожалуй, просто с фотографической памятью. Прочел, услышал — рассказал. Знания выдаются ими «на-гора», почти не преобразуясь. Со времен Евы люди знали, что яблоко сладкое, красное, тяжелое, что, если его уронить, оно падает. Но только Ньютон понял, что яблоко падает на землю, потому что та неодолимо тянет его...

Не так уж много людей, подобно реактору расщепляющих и преобразующих сведения о мире.

— Что-то вы уж совсем усложнили все,— говорит Константиныч.— Еще секундочку погодите, я сейчас...

И опять в белое добавляется белое, получается оранжевое, потом лимонное, потом фиолетовое, потом голубое, потом снова белое... Весь этот букет цветов надобен Константину Константинычу, чтобы понять, сколько же за сутки вырастает в Байкале мельчайших водорослей — фитопланктона; проверить, так сказать, какая продуктивность у байкальской воды. Интерес не праздный: планктон — главное питание всякой местной рыбы, в том числе и омуля.

Я уже писала, что притоки оставляют в Байкале двести пятьдесят тысяч тонн органического вещества живого и мертвого, идущего на питание рачкам и рыбам. Двадцать пять — тридцать тысяч тонн дают высшие и низшие водоросли. А фитопланктон дает сто пятьдесят миллионов тонн в год!.. Ясно, что любая жизнь в Байкале поддерживается за счет фитопланктона.

Наш катерок стоит посередине Байкала. Константин Константиныч провел на карте Байкала в северной его части пять линий, соединяющих берег с берегом, — это разрезы. На каждом разрезе — пять точек. Мы идем от восточного берега к западному строго по линии разреза, останавливаемся в «точке», измеряем температуру воды, берем планктонные пробы с разных глубин.

Сетка Джерди, которой берут планктонные пробы, похожа на воздушный шар Монгольфьера — его я, впрочем, видела только в детстве на рисунках. Сетку опу-

скают на нужную глубину лебедкой. Белый конус сетки виден сейчас не глубже чем на пять метров, а весной, говорят, на сорок. К августу Байкал уже густо населен планктоном, и нет в нем той прославленной прозрачности воды, которая описана во всех книгах. Правда, с точки зрения омуля прозрачность воды понятие не радующее.

— Константин Константиныч, давайте поллитру! — кричит Гошка и выливает процеженную с десятиметровой глубины водичку в бутылку. — Поехали!

Капитан кивает, лицо у него отсутствующее, в деревенской голубизне глаз текут свои, серьезные мысли. Вряд ли он считает все это таким уж нужным делом. Впрочем, иногда он задает Константину Константинычу вопросы, главным образом практического характера, например: кто сжирает больше рыбы — баклан или чайка и нужно ли их стрелять.

Я беру бутылку, пытаюсь взглянуть на ее содержимое «с точки зрения омуля». Что-то мелкое сует в ней, суетится, торопится жить. Крупные, с комариную голову, желто-зеленые пушистые шарики — это глеотрихия, сине-зеленая водоросль, скачками движутся циклопы, их немного. А остальное — главная составная часть байкальского зоопланктона — эпишура, любимое блюдо байкальского омуля.

Эпишура, крохотный рачок, — тоже байкальский эндемик. Еще его нашли только на Балканах, на Дальнем Востоке, на Камчатке и североамериканском многоозерье.

Он очень требователен к температуре воды и к ее составу. Едва температура повышается до 13—15 градусов, как эпишура начинает болеть грибком, который опутывает точно войлок. Несчастный эпишур не может двигаться и оседает на дно. В двадцать четвертом и сорок третьем году эпишура в южном Байкале был уничтожен почти полностью, и омуля пришлось очень худо...

Эпишура живет в Байкале круглый год и размножается дважды: осенью и весной. Рачок очень прожорлив, он основной потребитель фитопланктона Байкала — диатомовой водоросли мелозиры, не брезгует, впрочем, и бактериями.



Я спрашиваю Константина Константиныча: помнит ли он, что Тур Хейердал, плывая по океану, варил из планктона кашу, разнообразя тем самым свой стол? Может, и нам заняться варкой эпишуров; надоели макароны с консервами?

— Давайте,— соглашается Константин Константиныч.

Говоря между нами, он со всем очень быстро соглашается — видимая мягкость характера! Но я уже знаю, что это лишь нежелание спорить по пустякам, желание оттолкнуть от себя несущественное, мешающее оставаться один на один с мыслями. Где-то совсем неглубоко лежит в нем корундовой твердости сердцевина — пойдика на нее по главному!..

— Давайте,— повторяет Константин Константиныч.— Мы, правда, как-то лет десять назад пробовали ее варить... Плотники сбежали: запах примерно такой, когда падаль и всякие там тухлые кости на клей переваривают. Мы не сбежали. Есть-то не ели, правда.

Возможность заменить консервы тушеной дохлятиной меня не привлекает. Я уныло говорю:

— А как же Тур?.. Он писал, что планктон по вкусу напоминает креветок.

— Морской планктон совсем иной по составу,— утешает, посмеиваясь, Константин Константиныч.— Он много крупнее: до трех-четырех сантиметров... И, возможно, вкусный. Попробуйте при случае.

— А мелозиру вы не варили? — предлагаю я новый вариант.

— Мелозиру?.. Вы об нее зубы обломаете — смеется Константин Константиныч.— Мелозира как раз основной потребитель кремния в Байкале.

Я видела мелозиру под микроскопом: крохотные обрывки паутинки. Но эта невидимая глазом диатомовая водоросль (тоже эндемичная для Байкала) — любимое блюдо зубастой эпишуры — оказывается, и есть главный регулятор химического состава байкальской воды, а по количеству — главный населяющий Байкал житель.

Для строительства своих панцирей мелозира выбирает почти весь кремний, приносимый в Байкал притоками, а когда водоросль умирает, панцири опускаются на дно. Иногда мелозиры много, и кремния ей не хва-

тает, иногда на нее неурожай — и кремния в Байкале остается больше.

Питается мелозира азотом и фосфором, растворенными в воде, аппетит у нее хороший, и, если вдруг питания не хватает, она начинает хиреть и чахнуть. Ест она также и углекислоту, образует для своих тканей из всего этого белок...

А с железом, принесенным в Байкал, происходит вот что. Мельчайшие его частички, взвешенные в воде, под действием кислорода окисляются, затем коагулируются — собираются в более крупные. (Кстати, тот же процесс коагуляции происходит с черствеющим хлебом.) Превращаются в водную окись железа — студнеобразную массу (похожая течет из водопроводного крана, которым давно не пользовались). Она оседает на дно, покрывая донные камни бурой пленкой. Остальное железо соединяется с фосфором и образует фосфорно-кислородное железо, вивианит. Там, где вивианита накопилось много, например, неподалеку от села Мурина, местные жители используют его с успехом вместо синей краски... В других озерах, богатых болотным гумусом, взвешенное железо образует с ним стойкие соединения и остается в воде. В Байкале гумуса нет.

Вот, оказывается, каким образом происходит самоочищение Байкала...

Надо сказать, что есть у Байкала еще одна (и не последняя) удивительная особенность. Воды его очень богаты кислородом. Содержание кислорода в байкальской воде находится в равновесии с атмосферным. Причем — и это самое необычное — байкальская вода богата кислородом до дна. Разница в содержании кислорода между поверхностными водами и глубинными, вплоть до тысячи семисот метров, невелика — десять, пятнадцать процентов. Это почти невероятно: как правило, в озерах с глубиной содержание кислорода резко падает. Глубже ста метров идет бескислородная зона, а еще глубже — начинается сероводород. В Байкале же сверху донизу — атмосфера. Живите, дышите, радуйтесь! И живут. До самого дна Байкал заселен всякой живностью...

Огромная роль в обогащении байкальских вод кислородом принадлежит той же самой мелозире. Как и

всякое зеленое растение, мелозира на свету фотосинтезирует — то есть выделяет кислород, поглощая углекислоту. За счет своего фотосинтеза мелозира обеспечивает кислородом не только собственное дыхание, но также дыхание зоопланктона, бактерий и рыб... Великая она работница — эта удивительная байкальская водоросль!

— Смешная она, — ласково говорит Константин Константиныч, — неженка! Слишком яркое освещение летними днями ее угнетает, и лучше всего она поэтому работает не на поверхности, а на глубине пятнадцати — двадцати метров. А вообще летом она даже перенасыщает кислородом воду: сто десять, сто пятнадцать процентов к обычному содержанию.

Когда начинается массовое отмирание мелозиры и опускание ее на дно, количество кислорода в воде несколько падает: разлагаясь, водоросль потребляет его на окисление.

Константин Константиныч рассказывает, что есть у мелозиры еще одна, непонятная пока, особенность. Кажется — умерла она, опускается ко дну. Поймали, посмотрели под микроскопом — клетки ничем не отличаются от живых. Подняли к поверхности — фотосинтезирует сильнее, чем живая! Что происходит, странное какое-то оцепенение, непонятно...

Естественно, что мелозира работает только в верхнем слое воды, там, куда достигает солнечный свет. Но в Байкале воды очень интенсивно перемешиваются ветрами и течениями. В других озерах этого не происходит, так как разница температуры между поверхностными слоями воды и глубинными очень высока, а значит, и плотность воды вверху и на глубинах разная. Тяжелую и плотную глубинную воду трудно поднять на поверхность, поэтому перемешивания практически нет. В Байкале разница температур невелика даже в разгар лета, а осенью, зимой и весной температура воды с поверхности до дна где-то около плюс 4 градуса. Плотность воды поэтому одинаковая, перемешивание происходит легко.

Удивительные вещи совершаются в байкальской воде с точки зрения человека. С точки зрения омуля ничего удивительного в Байкале, наверное, нет. Все просто.

**7** — Какой ты красивый,— говорю я Байкалу,— влюбиться можно!..

Садится солнце.

Когда я собиралась сюда ехать, одна знакомая специально позвонила мне:

— Слушай, брось, пожалуйста, там свои привычки! Не ложись спать рано и не вставай поздно. Какие, если бы ты знала, на Байкале восходы и закаты!..

Я ложусь поздно и встаю в четыре часа утра, но сопки затянуты дымкой: где-то горит тайга, так что восходов практически нет. Что касается закатов, то на Сахалине я видела и почище: целая буря красок. Но во всем, что происходит на Байкале, есть какое-то уверенное обаяние.

Солнце неторопливо коснулось сопки и лежит на ней долго, спокойно. На черной воде — длинный огненный столб. Наконец солнце, шевельнувшись, скатывается за сопку, остается пучок неярких лучей, уткнувшихся в тучу. По воде плывет масляная синева и колеблющееся зыбкое пламя. Ветерок сдергивает синеву, вода становится мятой и черной, только возле берега гладкий вялый прибор — и по нему аккуратно стекает, сбивается на камни розовый закатный свет...

**8** — Девочки!..— кричит Николай Павлович Ладейщиков.— Замерьте уровень, Борис Филиппыч купается!..

Меня уверяют, что когда купается Борис Филиппыч, уровень воды в Байкале поднимается приблизительно на ту же величину, как после перекрытия Братской плотины. Правда, здешний погодный бог Ладейщиков только грозит замерить уровень, так что сведения не точны.

Сам Борис Филиппыч относится к остромам по поводу своего роста и объема с присущим ему достоинством. Он считает это пустое острословие не больше как периодическими вспышками зависти со стороны более мелких представителей человеческой породы.

На Борисе Филиппыче — брезентовые широкие брюки, ремень с якорем, клетчатая рубашка, брезентовая куртка, берет. Загорелый, огромный, по-своему краси-

вый, он похож на телохранителя главаря пиратов из фильмов, выпускаемых Одесской студией.

— Глядите, нерпа дохлая! — говорит капитан и передает мне бинокль.

Я беру бинокль, но все равно ничего не могу разглядеть. Желтое пятно какое-то на гладкой синеве Байкала.

Капитан меняет курс, мы подходим ближе. Действительно, плавает нерпа кверху желтым брюхом. Подстрелена она, наверное, давно, потому что шерсть с нее облезла и дух тяжелый... Я очень хотела увидеть этих занятных обитателей Байкала, переселившихся из Северного океана. Повезло? Наполовину только. Но увидеть летом живую нерпу, да еще на катере, почти невозможно. Высунет голову, глотнет воздуха — и опять под воду.

— Поехали!.. — морщится Константин Константиныч.

Мы разворачиваемся и уходим.

— Жира в ней много... Если срезать сверху испорченный, то там он хороший... Можно сапоги мазать. В голосе капитана крестьянское сожаление.

Выстрел. Еще выстрел. Мы все выбегаем на нос. Два подстреленных крохаля трепыхаются на воде, за третьим гонится наш катер. У крохалей еще не отросли маховые перья, они не могут летать — и вот маленький крохаль, вытянув шею и судорожно взмахивая крыльями, удирает от большого катера. Как на машине за сайгаками... Выстрел. Глаза капитана деловиты и озабоченны.

Три крохаля лежат на палубе, один все еще вздрагивает, живой черный глаз тоскливо глядит в небо. Борис Филиппыч берет его за ноги и ударяет головой о палубу.

— Чтоб не мучился, — объясняет он, отвернувшись, и добавляет через паузу: — После одного случая не могу я их стрелять...

Он спускается в кубрик, играть в домино с матросами. Из кубрика валит сигаретный дым, от хохота забивших «козла» и стука фишек содрогается палуба. Я говорю Борису Филиппычу, что не могу себе представить Верещагина играющим в домино.

— Верещагин! — сердится Борис Филиппыч. — Поду-

маешь! Написал двести восемьдесят пять работ, из которых три четверти, если не все, устарели. Жил аскетом и умер за столом. Пока молодой, надо жить!

Надо жить, я согласна. Надо жить, пока молодой... Что это значит — жить?

— Что? — Борис Филиппыч смеется, распахивает свои огромные руки. — Жить!..

— Жить... А вы живете так, как вам хотелось бы?

Борис Филиппыч сникает:

— Нет.

— Почему?

Молчит.

Вот видите: и не «живет» и работает в четверть силы. В тридцать три года Верещагин написал уже около сорока работ. О чем он только не писал!.. О пресноводной фауне Памира, Кавказа и Центральной Африки, о жемчужном промысле в Карелии, о гидробиологических исследованиях Невы, о гидрохимии озера Имандра, о Байкале... Он побывал в Югославии, Австрии, Франции, Канаде, делал доклад на IV конгрессе лимнологов в Риме, за что получил медаль. Русское географическое общество присудило ему медаль имени Семенова-Тян-Шанского... Впрочем, когда читаешь, сколько Глеб Юрьевич получил премий за свои работы, кажется, что вся жизнь его с раннего возраста была сплошным получением разных премий и наград.

— Он не жил, а вы живете?..

Борис Филиппыч сердится:

— Путаник он был! Намерил в Байкале глубину тысяча семьсот сорок один метр, знаете, как теперь трудно опровергать!

Борис Филиппыч гидроморфолог. Он серьезно занимается изучением дна Байкала, проверил наибольшие и наименьшие глубины современными приборами и глубину 1741 метр нигде не обнаружил. Борис Филиппыч автор новой максимальной байкальской глубины 1620 метров. О строении котловины Байкала Борис Филиппыч написал большую работу, которая в скором времени должна быть опубликована. Правда, говорят, что в той самой точке, где по Верещагину глубина 1741 метр, Борис Филиппыч не измерял, говорят, что многие сотрудники брали донные пробы с глубины 1700 метров...

— Чем вы объясняете, что Верещагин так сильно ошибся в промерах?

— Не знаю. Он не описывал методику своих работ,— Борис Филиппыч враждебно хмурится.— Возможен просто грубый просчет: когда травили трос, поставили лишнюю палку, лишнюю сотню метров. Ну, а двадцать метров — это обычный дрейф троса... Дыбовский точно описывал методику: промеры он делал зимой со льда, значит, дрейф троса незначительный. А потом промерочный трос они мочили, вешали на него груз и замораживали. Значит, на вытягивание троса тоже скидок не приходилось делать. Везде, где данные Дыбовского проверяю,— точно.

Грубый просчет? Что-то, наверное, не так...

— Нельзя объять необъятное,— убежденно говорит Борис Филиппыч.— Он за все хватался: за гидрохимию, гидроморфологию, гидробиологию, ихтиологию...

Хватался?.. Да, это был целый институт, а не человек. Он ошибался, но тем не менее его работы, его гипотезы, его прогнозы легли в основу того, чем тридцать пять лет уже занимаются сотрудники Лиственничной.

«Это был буря, буря, а не человек!» — сказала о нем одна сотрудница.

— Как, Глеб Юрьевич,— спрашиваю я,— нельзя объять необъятное?

Он неловко присаживается рядом со мной на ящик. У него чеховская бородка, бледный чувственный рот, худые щеки. Глаза задумчиво глядят из-под ресниц на воду.

— Можно попытаться объять,— говорит он и понижает голос:— Настоящий ученый... и настоящий писатель, наверное?.. должен быть немного сумасшедшим: его желания всегда должны превосходить его возможности... Уравновешенные люди, если они честно делают свое дело, тоже нужны. Но настоящий ученый...— он хмурится.— Впрочем, вы не болтайте об этом: ни к чему. Я не собираюсь ничего предрекать. Ученые, конечно, бывают разные...

Мы высаживаем Бориса Филиппыча в Заворотной. Ему надо подняться вон на ту гору, высотой три тысячи метров. Его будет жарить солнце и есть мошка. Борис Филиппыч хочет взглянуть, существуют ли ледниковые формы в долине реки Заворотной.

Катер уходит, а Борис Филиппыч и его рабочий — худой до желтизны школьник Сашка — стоят на берегу и машут нам вслед. Грустно, наверное, оставаться одному на земле. Грустно, но надо.

— Пусть каждый идет своим путем, — говорит Глеб Юрьевич. — Лишь бы честно...

Плывут мимо байкальские берега, волна захлестывает в клюзы, холодный ветер разглаживает, разваливает на прямой пробор густые с проседью волосы Верещагина. Он улыбается, смущенно проводит пальцами со лба к затылку, собирая волосы.

— Приехали, — говорит он. — Это мое самое любимое место на Байкале. Вы знаете, что такое по-бурятски Аяя?

— Самая красивая?..

Уже ночь. Полукруглая бухта, мелко шевелится вода, светится окошком домик, горит костер. Две сопки склонились над рекой, а река течет в Байкал. Река Аяя. Над сопками — луна. Спокойная, будто висит тут от начала света.

Стихает мотор. И на всем свете необыкновенная протяжная тишина. Так тут было давно. Так тут было всегда.

**9** — Мишку убили! Конечно, больше нечему... — говорит Василий Васильич, прислушавшись. — Три раза стреляли.

— Ну да! — не верю я.

— Мишку! — капитан берет бинокль и ревниво вглядывается в дальний мыс Аяи, откуда слышались выстрелы. — Вон везут, голова через борт свесилась. — Он отдает бинокль мне.

Теперь и я вижу на лодчонке, привязанной к моторке, свешенную за борт бурюю голову.

У меня всегда так: что в другой раз страшно обрадовало бы меня, теперь огорчает.

— Значит, в тайгу мы не пойдём? — спрашиваю я Василия Васильича.

Он молча разбирает патроны, что-то делает с ружьем.

— Как не пойдём, пойдём, — говорит он погодя. — У них свое дело, у нас — свое.

Василий Васильич человек обязательный, он непременно хочет сдержать слово. Но я-то понимаю, что было



бы нелепо: люди убили медведя, а мы уходим в тайгу еще за одним.

Я молчу. Мне очень хочется пойти в тайгу с Василием Васильичем, я еле упросила его взять меня с собой. Он долго раздумывал, потом согласился: «Конечно, вам нужно». «Нужно» для Василия Васильича — неотразимый аргумент.

Здесь, на Ае, много медведей, они бродят ночами вокруг рыбацкого домика, в котором живет экспедиция ихтиологов. Приманки хватает: на берегу густо пахнет тухлятиной. Ихтиологи ежедневно потрошат рыбы желудки, смотрят, чем питается омуль, сиг и хариус; есть ли в них икра или, наоборот, молоки, а может, вовсе нет ничего по младенческому состоянию. Привыкнув к кишкам, ихтиологи не брезгают ими и бросают тут же рядом, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Кроме того, за домом стоит бочка с омулем «рыбацкого посола», заглядывать в эту бочку не рекомендуется, а дух от нее — на всю бухту...

Не удивительно, что мишки бродят вокруг ихтиологического домика, вожделенно облизываясь и принюхиваясь. Они ведь неисправимые гастрономы. Кожевников, рабочий экспедиции, рассказывал нам вчера, что поставил несколько петель. И вот мишка попался...

— Конечно,— раздумывает Василий Васильич,— надо бы побывать на «именинах». Скажут, опять не уважаешь...

— Да и мне интересно посмотреть,— говорю я упавшим голосом,— я ни разу не видела, как «раздевают» медведя.

Мне очень хочется пойти в тайгу на медведя, такой случай женщине представляется, наверное, если не раз в жизни, то не чаще, чем дважды. И вот этот «раз» идет коту под хвост...

— Побудем немножко, поможем, а после возьмем лодку и поедем вдоль берега. Он, бывает, выходит ночью к воде,— обещает Василий Васильич.

Ладно, хотя это, конечно, не то, что в тайгу...

Мимо катера проходит к берегу мотодора с привязанной лодкой, в лодке лежит, свесив узкую голову за борт, мишка. На берегу радостно суетятся ихтиологи и

наши матросы — они уехали туда, едва мы пришли с разреза.

Мы тоже едем на берег. Мишка лежит, закусив бледно-фиолетовый язык, почти остывший: он удавился в петле еще, наверное, ночью, и стреляли для страховки.

Точат ножи, мишку начинают «раздевать». Главные «раздевальщики» Кожевников и Василий Васильич, матросы помогают.

Мишку «раздели». Жира на нем почти нет, белая плечка чуть покрывает вздутый живот. Странно видеть это голое, совсем человеческое тело, мускулистые руки с пятью скрюченными пальцами, жилистую шею, ключицы на впалой груди и отвернутую в сторону, еще не ободранную медвежьей головой с закусенным языком...

— Поехали на катер? — говорит мне Гошка.

— И я поеду. — Константин Константиныч, морщась, отворачивается от туши.

Мы уезжаем на катер, а на берегу ярче полыхает костер, вырезаются лучшие сочные куски, готовятся «именины»...

**10**

...Их ведут немые капитаны,  
в море утонувшие давно...

— Грустно что-то, — говорю я.

— Грустно?.. — полуютверждает, полуспрашивает Константин Константиныч. — Что ж, грустно... Ничего. Не грустно...

Константин Константиныч сидит на ящике в своей обычной позе: запахнув у горла телогрейку, нахохлившись, рыжеватые вьющиеся волосы топорщатся над белым в морщинах лбом, глаза виновато-усталы.

Мы уже выяснили с ним, что, оказывается, мой отец учился у деда Константина Константиныча в подготовительных классах иркутской гимназии. Действительно: тесен мир!.. И лодку бечевой против течения таскал по Ангаре Константин Константиныч, и на веслах выгребался до Лиственничной — все детские сказки, которыми развлекал когда-то меня на сон отец, знакомы ему. Наверное, от этого мне как-то проще и свободней разговаривать с ним, расспрашивать его.

Константин Константинович кончил в тридцатом году половину девятого класса, но, поскольку ему было только пятнадцать лет, в институт его не приняли. Он пошел лаборантом в химическую лабораторию — и так начал свою «химическую карьеру». Но по призванию он, скорее, не гидрохимик, а биохимик, потому что очень любит биологию. У него даже есть работы о миграции птиц... А вообще у него опубликовано листов семьдесят печатных всяких работ.

Ребята на берегу, мы садимся ужинать втроем. Гошка приносит бутылку водки.

— За братанов моих, — говорит он. — Вспомнил что-то я их сегодня...

Пьем за братанов.

— Встретил я сегодня в Нижне-Ангарске женщину, к которой меня «в дети» отдавали...

Мать Гошки умерла, когда ему было всего лет пять. Отец работал кочегаром на рейсовом пароходе, попивал, и пятеро мал мала меньше ребятишек были ему вовсе ни к чему. Рассовал всех по людям, а Гошку отдал в Нижне-Ангарск бездетной женщине «в дети». Мальчишка пождал-пождал, что отец, как обещал, придет за ним, потом во время очередного прибытия отцовского парохода в Нижне-Ангарск спрятался на нем и объявился лишь на другой день. Отец снова отвез его к той женщине, а Гошка снова сбежал. К этому времени отец женился, упрямого мальчишку оставили дома. Но мачеха пасынками тяготилась, поколачивала их, особенно доставалось озорнику и упряму Гошке. Как-то за одну из проделок мачеха воткнула мальчику в затылок вилку — орудие воспитания, новое в арсенале мачех...

Все же трудно понять, как складывается человеческий характер. Кажется, уж должен был вырасти Гошка озлобленным, нелюдимым — а на вот! Веселый, легкий, ласковый к девчатам и ребятишкам, жалостливый до всего живого...

— Четыре брата нас было. Двух Байкал взял, один сидит...

— И главное, я видел Николая минут за двадцать до смерти, — говорит Константин Константинович. — Идет из магазина пьяненький, куражится. Я говорю: домой бы, Коля, спать бы шел!.. И вдруг слышу: утонул...

— Лодку взял, перевернулся... — вздыхает Гошка и разливает остатки водки.

Второй Гошкин брат тоже пьяным упал с катера. Его так и не нашли: стоит где-то неподалеку от Больших Котов беленький обелиск. Что придумать, как сделать, чтобы хорошие ребята меньше пили, не гибли в пьяных драках, не гибли по-глупому, по-пустому, как Гошкины братья, как может погибнуть и сам он: веселый нрав, и, к сожалению, слабость к выпивке, видно, в Федоровской семье наследственная...

**11** Мы опять на берегу: зовут справлять «именины». Медвежати́на нажарена «в собственном соку» на противнях, стоит на длинном, засаленно-коричневом от времени столе. Нарезан крупно хлеб, стоит соленый омуль в мисках, спирт.

Горит над столом большая керосиновая лампа, на стенах висят ружья, телогрейки, в углу свалены сети.

Сколько здесь неумелых, неприспособленных? Трое, четверо?.. Оставь нас с ружьем и сетями тут на полгода — приходи собирать белые кости. Мы много знаем, но мало можем.

А остальные? Остальные — моя гордость и радость: руки их сильны и умелы, глаза светятся умом и добротой. Эта рука протягивает мне кусок медвежатины, хлеб и кружку с разведенным спиртом. Глаза улыбаются:

— Ешь.

Как хорошо собраться вот так вдвенадцатером, есть жареное мясо и хлеб, говорить о чем-то, слыша не слова, а голоса человеческие, чувствовать, как толкается о твое плечо плечо соседа, видеть рядом блестящие, густо лучащие дружеские биотоки глаза.

Горстка людей, стянутая случаем, как железные опилки магнитом, сближающаяся, роднящаяся с каждым глотком спирта. А кругом — черное небо, земля, тайга.

Горстка людей, пьющая не для того, чтобы забыться, почувствовать в вялой крови живое. Здесь пьют, потому что легче становятся разговоры, потому что с

каждым глотком спирта все родней тебе тот, кто сидит рядом.

Он человек. Ты человек. А кругом — небо, земля, тайга. Это необъятно... Человеку необходимо в этом свой круг, круг света от костра или лампы, свое маленькое кольцо, в котором гудят, как провода, уплотняясь с каждым глотком спирта, добрые биотоки...

Где найти предел, край, точку, за которым спирт уже не объединяет, а разъединяет? Предел, за которым в человеке пропадает живое, и он, подобно потерявшему управление роботу, не ведает, что творит?

Где тот предел, когда нам станет тесно за этим столом?..

**12** Василий Васильич поднимается и идет к выходу. Я встаю и тоже иду следом. Он не глядит на меня, молча выходит и, подождав, пока я сяду, гребет к катеру.

— Я сейчас.— Он берет ружье и патроны, снова спрыгивает в лодку и, осторожно положив ружье рядом с собой, гребет сильно и резко в сторону от катера, от огней и пьяных песен в глубь бухты, туда, где Аяя, ластясь, поднимает тяжелые, как полушубок, воды Байкала, забирается под них.

Василий Васильич гребет молча: я сказал — и делаю, нравится тебе это или нет, дело не мое.

Мне нравится, независимо от того, убьем мы еще одного медведя или нет. Не так-то часто удается плыть в лодке по Байкалу августовской ночью, когда такая луна и звезд за пять минут успевает упасть больше, чем можно насчитать людей на сто километров в окрестности.

— Василий Васильич,— говорю я,— расскажите, как вы медведя топором убили?..

Это мне сообщил по секрету Гошка. В июле, когда катерок развозил по экспедициям студентов, пристали в Заворотной. Студенты вышли поразмяться на берегу, а Василий Васильич увидал в бинокль медведя, взял топор и, спустившись на берег, рассек мишке череп.

— Говорят об этом? — спрашивает Василий Васильич.

— Говорят.

— Зря болтают, вы не смотрите на это. Маленько не так дело было...— Он наклоняется ко мне, лицо у него озабоченно-искреннее.— Только не рассказывайте никому, а вам-то нужно знать...

И он объясняет, как было дело, с непосредственной безжалостностью к себе человека, не видящего смысла в присвоении даже небольшого сверх того, что должно ему.

— Но все-таки убили. Топором! — упорствую я.

— Так ведь тут уж ничего хитрого, однако, не было... Теперь давайте тихо.

Он плывет совсем близко у берега, осторожно окуная весла в воду. Пристает. Выходит.

— Смотрите,— говорит он.— Тут недавно ходил, прибой не смыл еще...

Я вижу на освещенном луной белом песке у кромки воды следы как от босой ноги с высоким подъемом. Сильно вдавлена пятка и основание пальцев, а дальше — глубоко взрыли песок пять когтей. Я машинально иду по этим, живым еще следам.

— Вернитесь! — тревожно и сердито окликает меня капитан.

Василий Васильич велит мне сесть на весла и тихо грести, что я с грехом пополам выполняю, поскольку грести почти не умею. А он, примостившись на носу, кладет на колени ружье и смотрит, смотрит на берег...

— Слышите,— говорит он,— галька посыпалась?..

Гальку шумно катает прибой, но вроде и я слышу, как с откоса тихо сыплется галька. Ничего не разберешь: черные камни, черные кусты на берегу, начинаешь пристально вглядываться — все шевелится!..

Василий Васильич озабоченно всматривается в берег, а я гляжу на эти дымно-синие сопки, плавно стекающие навстречу друг другу, между ними — река Ая, над ними, в черном треугольнике неба, — маленькая горячая луна, звезды, и падают, падают кометы...

Ая, Ая, действительно красивее тебя я ничего не видала.

По тяжелой, как масло, воде широко течет лунный свет. Опустить весло — волна лениво и долго шевелит кругами сверкающую сине-белую поверхность.

В распадке между сопками, озаренные луной, гряды катящихся к югу гор. Там — Монголия, степи, табуны коней, что-то непонятное, грезящееся во снах.

Аяя — ты самая красивая...

Бледнеет треугольник неба в распадке сопок, расплывается луна, проявляются кусты и камни на белом песке берега. Все медведи ложатся спать в это время. Такой уж у них распорядок дня. Мы тоже едем домой, вернее, на катер.

— Не солоно хлебавши, — говорит Василий Васильич. Он прогоняет меня с весел, садится сам и гребет молча и резко. Долго гребет, километров на шесть уехали мы от катера.

На входе в бухту лежит плотной невысокой полосой туман.

**13** Вероятно, как-то объяснено уже учеными, почему среди людей встречаются двойники. Не двойняшки от одной матери, тут еще что-то можно понять, а двойники, чьи предки никогда не встречались и чаю вместе не пили...

Ученые это, конечно, объяснили, подвели трезвую базу, как подведена база под способность человека что-то предчувствовать, передавать свои мысли на расстояние и излечивать больных одним прикосновением руки. Правда, есть у ученых привычка сегодня опровергать то, что говорилось вчера, а завтра утверждать то, что опровергалось сегодня. В науке ничто не стоит на месте, все движется...

Мне же до сих пор все эти выше перечисленные явления кажутся таинственными и необыкновенными.

Тем более кажется мне необыкновенным, удивительным — таинственным, если хотите, — то, что у Байкала тоже существует двойник! Почти точный его зеркальный отпечаток. Это озеро Танганьика в Южной Африке.

Мало того, что они похожи очертаниями, что у них почти одинаковая длина: у Байкала 636 километров, у Танганьики — 645. Мало того, что после Байкала Танганьика самое глубокое в мире озеро: у Байкала наибольшая глубина 1741 метр, у Танганьики — 1470 метров. Что образовались они геологически похоже: в результате опусканий земной коры и почти в одно и то

же время: в середине третичного периода, 15—20 миллионов лет назад...

Удивительное сходство их на этом не кончается.

В Байкал впадает около четырехсот притоков, вытекает же из него одна Ангара. В Танганьiku впадает более ста притоков, вытекает из него одна Лукуга.

Предполагают, что обе реки образовались геологически недавно. Предполагают, что Байкал и Танганьика раньше не имели стока, были солоноватыми, а потом, вследствие каких-то геологических изменений, у озер образовался сток, и воды стали пресными.

Причины и время образования Ангары пока не выяснены. Что касается Танганьики, то известно, что в конце плиоцена в результате мощных вулканических процессов один из крупных притоков Нила изменил направление своего течения и стал наполнять кратер вулкана Киву, после чего в этом кратере образовалось озеро. Избыток воды образовал реку Рузизи, которая потекла в Танганьiku. Воды Рузизи подняли уровень в Танганьике, и после этого образовалась река Лукуга.

Для подтверждения гипотезы о том, что Байкал был раньше солоноватым, собираются брать особые пробы из донных отложений. Оказывается, в глубоких донных отложениях захораниваются воды, присутствовавшие в данную геологическую эпоху, и сохраняются без изменений многие миллионы лет. Профессор С. В. Бруевич брал подобные пробы из донных отложений Черного моря и выяснил, что несколько миллионов лет назад оно подвергалось опреснению...

Как и в Байкале, население Танганьики резко отличается от населения окружающих озер и рек. Это объясняется значительным возрастом водных масс Байкала и Танганьики и долгой их изоляцией, поэтому эндемики, потомки каких-то древних реликтовых форм, претерпели значительные изменения, образовали новые виды.

Как и байкальскую фауну, среди которой есть представители с морским обликом, фауну Танганьики тоже долго рассматривали как остаток древнего моря.

Впрочем, надо сказать, что с Байкалом до сих пор толком не выяснено, было на месте его море или нет. Сейчас ученые склоняются думать, что не было, что



эндемики с морским обликом, сохранившиеся в Байкале, вовсе с ложноморским обликом, как бы с морским... Хотя тот же многочетинковый червь манаюнка все-таки морской по происхождению, этого отрицать никто не может...

Кроме того, в озере Косогол, Орон и в других, находящихся неподалеку от Байкала в Монголии, найдены диатомовые водоросли и животные, эндемичные для Байкала. Следовательно, возраст существования байкальских вод и этих озер одинаков, значит, можно предположить, что здесь в свое время разливался гигантский водоем или море, остатки которого сохранились в этих глубоких впадинах.

Верещагин был страстным сторонником морского происхождения Байкала и его населения. Однажды профессор Дмитрий Петрович Резвой, едучи на Байкал из Ленинграда, захватил хорошо фиксированного голожаберного моллюска, представителя морской фауны, и во время экспедиции, когда вытаскивали сетку с донными пробами, он его туда подкинул. Рассказывают, что Верещагин просто неистовствовал от радости, и сказать ему о своем обмане Дмитрий Петрович в эту минуту побоялся. Сказал много позже, когда риск быть побитым или выброшенным за борт миновал...

Короче говоря, этот вопрос остается пока открытым.

Есть, конечно, между Байкалом и Танганьикой существенные различия, предопределенные прежде всего тем, что Танганьика — в Южной Африке, а Байкал — в центральной части Азии, в Сибири, и среднегодовая температура воды в Танганьике 24,5 градуса, а в Байкале 4,5. В Байкале ниже двухсот метров температура круглый год 3,6—3,7, а в Танганьике глубже двухсот метров круглый год температура 23,1 градуса.

Танганьика теряет 94 процента получаемой за год воды за счет испарения, и только 5,6 выносит Лукуга. Байкал испаряет 10,8 процента получаемой воды, Ангара же выносит 89,2 процента...

Отсюда воды Танганьики в четыре раза более минерализованы, чем в Байкале. Кислород там есть только в верхних слоях, с глубиной содержание его резко падает, а глубже ста тридцати метров уже полностью отсутствует. Ниже трехсот метров в Танганьике лежит

мертвая сероводородная зона. В Байкале эндемики полагают всей его водичкой сверху донизу, в Танганьике им приходится довольствоваться лишь поверхностной стометровой толщей...

Вот и все об удивительном африканском двойнике Байкала. От себя могу добавить весьма ценное наблюдение, которое ученые, по присущей им рассеянности, упустили. Как в Байкале, так и в Танганьике, купаться почти нельзя. В Байкале из-за того, что вода очень холодная, а в Танганьике небось крокодилов полно?.. Съездить бы туда, проверить...

**14** Не знаю, что ловят в Танганьике? Крокодилов, возможно. Или гиппопотамов. Неизвестно мне также, берут ли туземцы на охоту женщин...

Лодка неверно зыблется на волне, Алька, едва не падая за борт, выбирает сеть, а Гошка выдавливает из ячеек рыбу. Штук двадцать омулей и хариусов бьется на дне лодки. Не густо... Попался налим, Алька с ненавистью швыряет его далеко в море.

— У, противная харя!..

Налимов здешние рыбаки считают сорной рыбой. Я пытаюсь заступиться за налима, Алька обрывает меня:

— Молчите уж!

— Ели же их во время войны,— слабо поддерживает меня Гошка.

— Заткнись! — советует Алька и зло гребет к берегу.— Предупреждал Кожевников! Так нет, уговорили... Сроду теперь...

Все дело во мне. Женщин на рыбалку не берут. Вчера, когда наши матросы поехали ставить сети, я упрямилась с ними. Алька бурно возражал, но я сразила его доводом, что меня пускали даже в подводную лодку. Это была невинная ложь: я только собиралась побыть на подлодке. Но на этом Алька попался.

И вот я гляжу, как ребята с истовыми лицами кидают за борт капроновую сеть, как прыгают на древних волнах поролоновые поплавки. Такое смешное несоответствие между модернизированным оборудованием и этими, сразу потерявшими признаки времени, истовыми лицами...

А в четвертом часу Гошка расталкивает меня:

— Поехали, штурман!

Мало рыбы... Алька гребет к берегу, спина у него сердито-сконфуженная. Он заранее предвкушает, как здешний король рыбаков и таежников Кожевников скажет презрительно:

— Предупреждал же?.. И не просите больше сетей!..

Подходим к берегу мы, одновременно подходит лодка ихтиологов с Кожевниковым. Кожевников смущенно отворачивается, но я успеваю заглянуть к ним в ведро.

— Ага! У них только семь штук!..

— Из-за вас им и нам не повезло,— подводит общую базу Алька.— Лучше бы я вас не спасал...

Но это уже шутка, и лицо его проясняется.

Алька, или, если официально, Альберт Докшин,— наш второй механик и добровольный специалист по спасению утопающих. Плавает и ныряет он как нерпа. К тому же Алька еще и водолаз второго класса. Это он достает лимнологам со дна Байкала моллюсков и огромные, как рога оленя, зеленоватые байкальские губки.

Кроме меня, спасти которую, по его мнению, не стоило, Алька спас множество людей, заслуживающих спасения, а этой зимой — даже одновременно двоих. Неподалеку от Больших Котов в Байкале бьют горячие ключи, и лед даже в самые сильные морозы здесь слабый. Знающие шоферы благополучно объезжают гиблое место по береговой кромке, незнающие, после проверки трассы, печальный свой опыт обычно передать уже никому не могут. Случилось так, что шофер газика, на котором ехал Алька и беременная жена его товарища, забыл об этих ключах, и газик провалился под лед. Алька и шофер выскочили, женщина осталась в утонувшей машине. Шофер поплыл к берегу, Алька огляделся, нырнул, выволок женщину из машины, а затем и на берег. Сейчас девочке, которой Алька подарил жизнь задолго до рождения, уже полгода...

— Ну и что,— пожимает плечами на мои расспросы Алька,— вытащил. Мокрый пешком шел двенадцать километров. А вечером на танцы в Листвянку ходил. Не чихал даже...

Ежедневная жизнь здешних людей удивляет и восхищает нас, горожан. Так же, вероятно, как наша ежедневная жизнь показалась бы непривычной им...

— Вы хоть рыбу-то чистить умеете? — спрашивает меня Василий Васильич.

— Умею... — отвечаю я, глядя на грудку сваленной на берегу рыбы. Дома на четыре килограмма карпа у меня уходит больше часа, и нельзя сказать, что я с восторгом покупаю рыбу.

Василий Васильич недоверчиво качает головой:

— Четыре килограмма? Центнер — за час!

— Сто килограммов?..

Через пятнадцать минут рыба вычищена и лежит в ведре вымытая, распластанная, готовая к посолу. Теперь я верю: центнер за час.

Остры ножи, неторопливы, несуетливы движения рук. Взмах ножа — раскрыт живот, взмах ножа — сброшены внутренности, еще пара взмахов — и нет чешуи, взмах — распластан сочащийся жиром омуль. Соли, вари...

Но десяток омулей не моется и не чистится, только потрошится, разрезается пополам, и обе эти распластанные половинки надеваются на рожень — длинную заостренную палку. Рожни втыкаются над костром наклонно, с омуля медленно капает, шипя в раскаленном воздухе, сок...

Я не гурман и вообще к еде довольно равнодушна: чтобы толком поесть, как-то никогда не хватает времени. Но из спортивного интереса я пробую все: трепангов, каракатицу, шурпу, самсу; вырезку с цветами хуан-хуан, грибами сяньгу и побегами молодого бамбука; плавники акул, ласточкины гнезда, спагетти, пудинг, кьянти и бордо, ханжу и спирт — в общем, все, что едят и пьют на этой земле люди. И могу авторитетно сказать, что нет ничего все-таки вкуснее, чем «омуль на рожне». Удивительно сочный, нежный, чуть пахнущий дымом, горячий... Поневоле здешний народ считает налима сорной рыбой, налима по сравнению с омулем — то же, что треска по сравнению с налимом...

Мы все сидим вокруг костра, пьем крепкий плиточный чай. Я привыкла к нему здесь, у него бархатный, сытный, спокойный вкус. Ребята подшучивают над студенткой Шурой — крупной, милой девахой. Шутки добродушны: просто ребята соскучиваются за навигацию по девичьим голосам и лицам.

Борис, наш радист, налаживает на роженъ еще одного омуля. Алька неприязненно замечает:

— Были бы здесь рыбаки, морду бы они тебе набили!.. Слепой: конец у рожня торчит!

Оказывается, есть примета: если у рожня оголен конец — промысла не жди. Трудно разобраться, откуда это пошло, возможно, когда начинает гореть дерево, рыба теряет вкус, возможно, по другой причине. Но примета есть примета, и Борис покорно исправляет ошибку. Он все, что ему говорят, делает покорно, хотя и без особой охоты. Самое любимое положение Бориса — горизонтальное, любимое времяпрепровождение — еда и танцы. Танцует он все модное: твист, ча-ча-ча, липси, чарльстон. Есть Борис может всегда и в любом количестве. Возможно, он еще растет?..

— Утром просыпаюсь и сразу радио включаю: вдруг коммунизм объявили?

Представление о коммунизме у Бориса самое примитивное: работать не надо, ешь и пей до отвала.

— Ну, неленивый,— окликает его Алька,— топай за водой!

Неумек, неприспособленных к трудностям жизни здесь не любят. При мне произошла одна не очень веселая история.

На Аяе появились студенты-археологи. Трое ребят с одинаково худыми, плохо гнущимися фигурами, лицами молодых гениев в очках и с бородками. Археологи моментально раскопали на Аяе стоянку первобытного человека, нашли черепки, орудия производства, какие-то украшения. Поразили всех нас эрудицией и... страшной неприспособленностью к отсутствию цивилизации. Они несколько дней уже ничего не ели, потому что не умеют ни поймать, ни убить ничто живое. Их накормили и дали немного свежей рыбы в запас. Но взять ее они отказались, так как без котелка и сковородки приготовить рыбу они не умеют тоже...

Пришел в бухту катер рыбной охраны, стоял довольно долго, а когда собрался отходить — археологи вдруг решили ехать с ним. Они взяли лодку... И тут наш капитан и матросы насмеялись досыта!.. Один из археологов принялся грести лопатой, у другого весла то и дело вырывались из рук. А когда пристали к катеру,

у которого одну шестую часть линии бортов занимала подвешенная шлюпка, а пять шестых были совершенно свободны,— археологи полезли именно под шлюпку, решив почему-то пренебречь свободным местом. Кадр из плохой кинокомедии!.. Будь волна по сильнее, лежать бы ребятам на байкальском дне, осиротели бы ни за что ни про что поселения первобытных людей, а заодно и родители, оставшиеся где-то в Москве и Ленинграде...

Шутки шутками, а глядя на этих ребят, я ужасалась глупой смелости неведения, с которой они пустились в дикие места, абсолютно ничего не умея. Не потому ли так часты несчастные случаи в студенческих группах, уезжающих на практику в тайгу, что, подобно печально-знакомым мне археологам, они выходят в серьезный мир с непосредственной доверчивостью детей, уверенных в помощи доброго дяди?.. Но дядей в тайге нет, а которые есть, те к неумекам недобрые. В глазах моих матросов мне не увидеть сожаления, если подобный горе-путешественник сорвется в воду. Здесь человек за все платит сам, и потому он волен, как птица, или жалок, как рыба на песке...

...Василий Васильич делает стойку и довольно долго идет на руках по мягкому мху. Он ловок, точно кошка, при всей своей грубосколоченности. Ему за сорок пять, но сердце его молодо, как в двадцать: он может взбежать на гору, долго плыть, долго идти, грести, валить лес, косить сено... Он может вычистить за час центнер рыбы, сварить уху в бумажном кульке, убить и разделать медведя, подоить корову и отремонтировать мотор... Он сделал самоходную тележку с абсолютной проходимостью, чтобы возить сено с покосов в тайге, приспособив для этого колеса от «ЗИЛа» и мотоциклетный мотор.

Мне понятно теперь, почему здесь не берут женщин на рыбалку или на охоту, почему это стало дурной приметой. Просто здешний народ сам все умеет, не различая мужских и женских дел. А от женщины в серьезной жизни рыбаков или охотников и вправду одна смута...

**15** Ветра нет. Где-то далеко раскачало Байкал, идут высокие волны с острыми вершинами, тяжело разбиваются о белые валуны.

Закатное солнце насквозь просвечивает волны, кажется, что там, где волна грудью прикасается к валунам, зажигается ясный утренний свет. Можно бесконечно сидеть здесь на мысу, смотреть в море, слушать, как хлобыщутся волны о берег.

Бухта Аяя, песчаная бухта Аяя, высланная сухим оленьим мхом и сладким кедровым стлаником... Неужто я уеду и никогда не вернусь сюда? Обычно ведь не успеваешь возвращаться в места, которые полюбились: земля такая большая, а живешь недолго...

Ты удивительно соразмерна, Аяя,— здесь, вероятно, секрет твоей ясной красоты. Удивительно соразмерны полукруглая бухта, невысокая гривка тайги, две мягкие сопки, покорно стекающие навстречу друг другу, и неподвижно-тяжелая, как ладонь, река, положенная между ними.

Господи, не запомнишь это навсегда, не унесешь с собой...

**16** Живет в Байкале замечательная рыбка голомян-ка. Вместо того чтобы метать икру, она предпочитает родить крохотных голомянок. Почему она это делает — пока неизвестно. Обычно голомянка обитает на больших глубинах, там, где давление доходит до ста семидесяти атмосфер, но родить своих маленьких голомянку поднимается к поверхности, справедливо считая, что здесь им будет не так холодно и тяжело.

Я видела стальной барометр, у которого забыли открыть крышку, опуская на глубину всего-навсего двести метров. Прибор смяло, как в аварин. Вылезают глаза и разрывает внутренности у морских окуней, когда их поднимают на поверхность. А голомянка ходит на глубине тысяча семьсот метров, поднимается играючи на поверхность — обыкновенная толстенькая рыбка, чем-то похожая на простого бычка,— и ничего!.. Не сдавли-вает, не разрывает... Предполагают, что это происходит потому, что она на треть состоит из жира, да к тому же у нее нет воздушного пузыря. Как бы там ни было — это великолепно.

Говорят, голомянка очень красива — нежно-розовая, с перламутровыми прозрачными плавниками. Сама я ее, к сожалению, не видела, так же, как из разноцвет-

ных байкальских бычков мне удалось увидеть только желтокрылок, выброшенных штормом в Байкальске. Говорят, голомянка вкусна и богата витамином А. Раньше, для приготовления каких-то лекарств, голомянку продавали в Китай, сейчас ее не ловят совсем. М. М. Кожов считает, что запасы голомянки в Байкале составляют сотни тысяч центнеров, но дело в том, что эта рыбка — сугубая индивидуалистка и в косяки не собирается. Если голомянка представляет промышленный интерес, можно, наверное, что-то придумать, чтобы ловить ее?..

Сибирский осетр, таймень, ленок, омуль, хариус, даваточан, карась, окунь, щука, гальян, плотва, язь, елец, шиповка, пескарь, налим, треска, бычки, голомянка... Пятьдесят шесть разных форм рыб водится в Байкале, но основу промысла здесь составляют, конечно, омуль, сиг и хариус.

Байкальский омуль — недавний переселенец из Ледовитого океана, его ближайший родственник — ледовитоморский омуль — живет в предустьевых районах северных морей и ходит для нереста в Енисей, Лену и Обь. Промысловые размеры омуля — тридцать — сорок сантиметров, вес — от трехсот до пятисот граммов. Считается, что это размеры оставившего потомство вполне взрослого омуля. Изредка омуль достигает полметра в длину и веса до четырех килограммов.

Но в этом году омуль совсем мелкий, и план у рыбозаводов горит. Как нарочно, им увеличили размер ячеи с тридцати восьми миллиметров до сорока, и омуль, едва зацепившись, преспокойно выпутывается и уходит.

На рыбозаводе в Хужире в цехах полное запустение и тишина. Бычков отловили, наварили консервов, а омуль не ловится. Ходят рыбозаводские катера, ищут косяки, а косяков нет.

Уловы вообще падают, хотя техническая вооруженность бригад рыбаков теперь почти на уровне века. Вместо гребных — мотолодки, вместо закидных — ставные невода, капроновые сети. Затраты увеличились, а уловы уменьшились.

Если среднегодовой улов омуля в 1951—1955 годах составлял шестьдесят три тысячи центнеров, то сейчас



всего сорок. Едва ли не втрое сократился улов сига и хариуса, вовсе запрещен после войны лов осетра, а в прошлом веке его брали до трех тысяч центнеров в год. Впрочем, браконьеры осетра ловят. Заказников в местах наибольшей концентрации молодежи и на нерестилищах покуда нет.

Падение уловов объясняется, во-первых, тем, что перед войной и во время войны была сильно подорвана сырьевая база: ячея у сетей была такая, что брали всю омулевую и сиговую молодежь. Кстати, сиговая молодежь вылавливается омулевыми сетями и по сей день. Кроме того, сплавом леса испорчены места привычных нерестилищ: в прошлом году омуль не пошел на нерест в Верхнюю Ангару, в Баргузин и некоторые другие реки.

И тем не менее, несмотря на все это, общая добыча рыбы на Байкале (от ста до ста двадцати тысяч центнеров) превышает добычу рыбы во всей Восточной Сибири. Если же поставить дело на хорошую хозяйственную и научную основу, уловы ценной рыбы в Байкале за короткий срок можно бы увеличить вдвое.

Огромная площадь Байкала заселена рыбой неплотно. Омуль, сиг и хариус ходят и кормятся в совершенно определенных местах, а остальной Байкал — приблизительно пятая его часть — совершенно пустует. М. М. Кожов — известный ученый-байкаловед — считает, что свободную часть площади Байкала можно было бы заселить рыбой, которая будет есть не то, что омуль, и жить будет тоже в других местах. Такой рыбой может стать, допустим, сибирская ряпушка, пелядь, чир и нельма, не уступающая по вкусу лососине. Впервые в Союзе сейчас разрабатывается схема комплексного использования Байкала. Разумного использования. Кожов считает, что должна быть произведена полная реконструкция его ихтиофауны. Опять же разумная, осторожная реконструкция, и, конечно, при этом омуль должен быть поставлен во главу угла.

...Ну вот и настал час, надо уезжать. Меня ждет еще Байкальск, строительство целлюлозного комбината.

Существуют, наверное, люди, за всю жизнь не переехавшие даже на другую улицу. Как они видят, что время идет и меняет землю?

Если приехать в город, где ты жил ребенком, спустя много лет, то видишь, что время материально. Вытянулась береза, стали меньше дома, уйдя в чернозем по самый подбородок, стали ниже люди, казавшиеся тебе в детстве огромными. Короче улица, потому что длиннее твои шаги.

Для живущего на одном месте — мир постоянен. Человеческий глаз не может отметить и запомнить ежедневных изменений. Мир постоянен — наверное, так спокойнее, уютнее жить?

Вероятно, этим стремлением к покою объясняется то, что, прожив в какой-то точке земного шара десять дней, я привыкаю, и мне жаль, не хочется трогаться дальше. Уезжаешь с грустью, и неуютно тебе на первых порах в новом месте, особенно если это большая, суетная, неналаженная стройка Байкальск.

Особенно если приходится первые дни спать в коридоре гостиницы — и мимо тебя днем и ночью проходят озабоченные люди, они не хотят, не могут остановиться, чтобы взглянуть на тебя, рассказать о себе, установить с тобой тот человеческий контакт, без которого живому человеку плохо.

Особенно если через участок, про который ты собираешься писать, прошла вереница торопливых корреспондентов, и на тебя на первых порах смотрят неприязненно: «Лишние заботы...», «Пишете... Читаешь после, уши горят!», «Мешается только... Что от вас пользы?..»

Ты не виноват, но тебе грустно и обидно, потому что ты член какой-то касты и отвечаешь за всех, так же, как они за тебя. Но это первые два-три дня. Потом все незаметно меняется. Тебя переселяют из коридора в комнату, где стоит семь коек, где живет семь командированных девчат. И хорошо разговаривать с ними о пустяках, слышать ночью их дыхание, хорошо, когда ты не один. В командировках я не люблю отдельных номеров. Я не жажду одиночества, я могу работать, когда кругом смех и разговоры, когда поют и плачут.

Через два дня и на участке ты уже свой. С тобой здороваются улыбаясь, тебя зовут даже просто так на воскресенье в тайгу. К тебе привыкли, тебе поверили.

**17** — Ботик третьей сутки борется со стихией,— говорит Коля Нищеглот и улыбается.

Култук разогнал по Байкалу тяжелую волну, рвет ба-  
рашки. Дождь. Низко плывет серое небо. Холодно...  
За Байкальском на сопках лежит снег, светит белым —  
и по нему черными черточками стволы.

Еще позавчера был жаркий летний день: гладенький,  
тихий Байкал маслился под солнцем, а утром уже лете-  
ла по нему высокая волна, грохотала, разбиваясь о берег,  
хлестал дождь, а на сопках засветился, с каждым днем  
опускаясь все ниже, снег...

Вчера сорвало и унесло куда-то в море маленький  
красный ботик; второй бот, побольше, с которого водо-  
лазы спускаются под воду, тоже страшно мотает на вол-  
не. Волна тяжело хлопывается о берег, с рокотом подби-  
рает под себя гальку. Водолазы в плащах с поднятыми  
воротниками, в сапогах топчутся на берегу, гадают:  
сорвет или не сорвет?..

Женя Лукьянцев сбрасывает плащ, опускает ремешок  
мичманки под подбородок, отдает бумажник с докумен-  
тами и партбилетом: еще намочит!

Он и старшина станции Володя Речкин садятся на  
весла, Коля Нищеглот становится на носу, держа наго-  
тове багор, чтобы оттолкнуться. Рабочие подхватывают  
шлюпку под борта: толкнуть вместе с откатывающейся  
волной.

Но волна налетает на шлюпку, поворачивает ее бо-  
ком и, накренив, захлестывает. Воду выливают, шлюпку  
снова нацеливают на волну, но волна ускользает, как  
язык пламени, ее, рокоча, сменяет другая, хлопывает по  
шлюпке, опрокидывает, вымочив водолазов вконец. На-  
конец шлюпка вылетает на волне в Байкал, ребята резко  
и часто гребут, стараясь скорее отойти от берега, шлюп-  
ка то скрывается за волной, то колеблется на гребне, то  
попадает под «девятую», шипящую, высоченную, тяжело  
бьющую в борт — чуть уступи, оступись, поставит попе-  
рек, накроет, перевернет... И не выплывешь, разобьет  
о камни.

Здесь, в этом месте, строят насосную станцию, кото-  
рая будет качать на комбинат воду. Нужно вырыть на  
дне глубокую траншею, а потом уложить в нее трубы.  
Траншею роет ковш, который таскает лебедка. Техника

на грани фантастики: ковш, зацепив валун, каждый раз застревает, трос рвется, его высвобождают, связывают. Иногда траншею углубляют взрывами, и водолазам приходится закладывать снаряды. А вообще, когда море спокойно, водолазы моют траншею помпой, убирают большие валуны. Но сейчас под воду не пойдешь...

Ребята наконец на ботике. Вытравили подлиннее якорь, пособирали ведра и спасательные круги, которые еще не сорвал ветер,— и вот уже прыгают с борта в шлюпку, ерзающую на волнах.

Потом они едут вдоль оборванного и заваленного камнем троса, высвобождают его. Им помогает на берегу бульдозер. Наконец они подходят к берегу, волна выкидывает шлюпку, и рабочие быстро подхватывают ее, оттаскивают подальше.

Скоро оказывается, что нужно что-то наладить и посмотреть на поплавке, за который зацеплен трос, ребята снова садятся в шлюпку и снова опасно качаются вверх-вниз...

Так проходит час, два, три, четыре... Идет дождь, хлещет ветер, обносит сырой пылью волны.

Еще один такой же день. Еще один. Еще...

— Во: троса рвем! Это два раза в столовой рубаем, а если три раза будем? — говорит мне Володя Речкин. Он самый высокий из троих, у него широкие брови, светлые усы на большом белом лице и усмешечка в глазах.

— ...Были в Москве, кума в метро железные руки ухватили, я их кинулся растягать, а кум им пятак сунул — они и отпустили...

Кум — это Коля Нищеглот. Они с Володей подружились еще в армии и с тех пор ездят по стране вместе. Когда они работали на спасательной станции в Ханты-Мансийске, к ним присоединился Женья. И вот их трое. Они спокойно дружны, не считаются работой. Хорошие ребята...

Ночь, на столбе горит прожектор, толчется в луче сырь, качаются, грохаются о берег волны. Лебедка работает, ковш таскает грунт, водолазам пока делать нечего.

Когда выберут до нужной глубины траншею и начнут опускать трубу, вот тут уж водолазам будет трудно и

весело, вот уж тут поездеется местных корреспондентов, операторов, фотографов. А пока я одна коротаю с ребятами длинные часы. Они сочувствуют мне: не повезло! Что вы можете о нас написать!..

В маленьком, наскоро сбитом домике конторы топится чугунная печка, сушатся наши плащи и сапоги. Володя читает какую-то толстую книгу. Он все время что-нибудь читает, и я с завистью раздумываю: какую же надо написать книгу, чтобы ее читали вот эти ребята? Читали не от нечего делать, а с наслаждением, вырывая друг у друга из рук...

Володя Речкин прошлой зимой в тридцатипятиградусный мороз разыскивал утонувшие с почтой и деньгами аэросани. Нырнул с аквалангом, поплыл, а вода в трубке застыла, начал задыхаться — никак прорубь не найдет... Еще раз нырнул, и опять такая же история!.. Только с третьего раза нашел.

А Женя Лукьянцев работал водолазом на Витиме. Поднимали затонувший пароход «Сухона», он теперь снова ходит по Лене, даже план перевыполняет. А так вообще — ежедневная, обычная работа по очистке фарватера капризного, часто меняющего русло Витима от высоких камней, какие-то другие мелкие, незапоминающиеся дела.

Ищешь камушки, заложишь взрычатку — стукнешь... Через десять — пятнадцать метров опять спускаешься. И так всю смену. Хромая кобыла, на которой они возили по льду оборудование, была слабосильной. Приходилось перевозить сначала помпу, а после уж водолаза.

— Ждешь, смерзнешься, скрючишься, тебя навалют на сани, из чайника в клапан чуть-чуть польют горячей — бросят в воду: сам оттаешь!..

— Писал о нас один корреспондент, — смеется Женя. — До нашей палатки не доехал, в Витиме в контору зашел, расспросил, написал; смешно и обидно!.. Оборудование, оснащение у них, мол, наравне с веком... Водолаз, мол, закладывает заряд, прораб командует: «Пли!..» Как при Петре Первом: «Пли!..»

Женька насмешливо щурит свои красивые глаза в пушистых светлых ресницах. Думает небось: ну, а ты, корреспондент, как будешь расписывать наши подвиги?..

Я понимаю теперь, почему они, в общем, так спокойно относятся к своей ежедневной опасной работенке. Просто им есть с чем сравнивать. Если вытащил аэросани из-под воды один раз — это подвиг, но если каждый день совершаешь что-то равноценное — это уже просто жизнь. Жизнь, иная, чем у других.

Летчик-испытатель Марк Галлай, проживший трудную жизнь, написал в своей книге «Испытано в небе» умные и справедливые слова о том, как же такая жизнь действует на того, кто ею живет. Я позволю себе их процитировать:

«...Боюсь утверждать, что подобные номера сами по себе доставляли мне особенное удовольствие. Но, благополучно окончившись, они неизменно оставляли после себя очень сильное — и столь же приятное — чувство какого-то внутреннего удовлетворения. Используя в течение многих лет собственную персону в качестве «подопытного животного» для психо-физиологических наблюдений, я обнаружил интересную закономерность: выкрутившись из очередного сложного положения благодаря собственному опыту, отработанной реакции, навыкам, знаниям, всегда испытываешь прилив оптимизма, уверенности в своих силах, активного желания тут же немедленно лететь на строптивой машине снова. Зато самый что ни на есть благополучный исход опасной ситуации, в котором оказываешься обязанным случаю, слепому везению, счастливому стечению независимых от летчика обстоятельств, действует как-то не очень приятно: сегодня, мол, повезло, но завтра может и не повезти! В естественном человеческом стремлении к собственному благополучию хочется опираться не на случайность, а на закономерность...»

И мне снова хочется повторить, что мы, средние городские люди, очень ровно, вяло живем. И от этой ровной жизни возникает тяга к покою, нежелание испытывать лишний раз судьбу: как бы чего не вышло!.. И потихонечку утрачиваешь что-то, демобилизуешься..

Хлещет ветер с дождем, мотает по Байкалу тяжелую волну; быстро плывет черное пизкое небо. Будьте счастливы, все трудно живущие, хорошие люди! Будьте счастливы, пусть с вами всегда идет рядом заслуженная удача!..



НОВБЕД



ТАДЖИКАБАД



Р. ОБИХИНТОХ

КОМСОМОЛОВАД



БАНИ

Р. БАНИ



Ф. ВАХШ

КАДЖУМЕ



НУЛБАНА

Р. ПАНАЖ



РУШАН



Р. ШИВА

АФГАНИСТАН



Хорог



## АМИР, ГОД 1965

**1** Я на Памире. Еду в кабине «МАЗа», везущего какой-то груз в Хорог, шофера моего зовут Степан Петрович, по отчаянным памирским дорогам он ездит уже больше двадцати лет, и ни разу ничего с ним не случилось. Впрочем, тут случается обычно один раз. «Выпивши за рулем не сидел,— говорит Степан Петрович.— И потом тише едешь — дальше будешь».

Ему за шестьдесят, у него тяжелое лицо, коротко остриженные седые волосы, сонные и вместе себе на уме глаза в поросячьих ресницах. Увалень, калымщик. Сколько пассажиров пересовало за вчерашний день ему рублевки и трешки — я не считала. Много. Степан доволен, что я ему не мешаю привычно обогащаться, он жаден до пассажиров. И первое время приглядывался ко мне с ожиданием: не скажу ли чего. (Меня к нему в кабину посадило начальство.) Я не говорю: пусть события развиваются естественно.

В Душанбе мне советовали лететь до Хорога самолетом: зачем мучиться два дня — пятьсот восемьдесят километров жуткой дороги, Памира и за Хорогом хватит. Уговорили, но, на мое счастье, установилась нелетная погода. Я думаю, есть все же что-то, что управляет нашими жизнями. Характер? Случай? Пересечение случайностей? Это было бы слишком просто...

Впрочем, до сегодняшнего дня я думала (где-то глубоко, даже не осознанное, шло разочарование, почти раздражение), что командировка на этот раз не удалась.



Во-первых, Душанбе — новый, хотя и довольно красивый город. А я люблю старые города. Во-вторых, вчерашняя дорога — обычная, средней трудности, средней красоты. Мягкие облесенные горы, крутые серпантинные спусков — все это видано в Сибири, на Урале, в Карпатах, еще где-то.

Сегодня за Калай-Хумбом началось что-то новенькое.

В Калай-Хумбе мы со Степаном Петровичем последний раз поели шурпы в чайхане, попили зеленого чаю с лепешками. Только под вечер, перед паромом, в кишлаке будет столовая. Не чайхана, где чисто, где есть прекрасный зеленый чай, прекрасные лепешки и даже белый мед (шурпа бывает не в каждой чайхане: плохо снабжают бараниной, кончается картошка: июнь!), а грязная, обычная столовка с буфетом, где предлагают главным образом выпить, а не поесть.

И это на труднейшей трассе, по которой ежедневно, еженощно идет поток машин с грузом, где труд шофера — подвиг духа и физической выносливости! А ему негде ни поесть, ни переночевать... Так вот, привычный Степан Петрович, приготовившись до вечера не есть, крепко заправился в Калай-Хумбе, и я с ним вместе. Не торопясь, выпили два чайника зеленого чаю, сидя, как положено, в тени чинары, на кровати, закрытой ковром, посмаковали тишину, холодок, покой, пошли к машине.

Надо сказать, зеленый чай я оценила еще семь лет назад, когда впервые попала на Восток. Отныне тонкий терпковатый аромат и таинственное зеленоватое свечение кок-чая в широкой пиале навсегда связаны для меня с запахом прокаленной солнцем земли, запахом пыльных виноградных листьев, запахом несвежей воды хаузов. Утоляющий жажду, дающий силы кок-чай!.. Признаться, я пробовала заваривать его дома — впечатление несравнимое. Видимо, нужно пройти или проехать многие-многие километры под тем особенным солнцем, надышаться недвижимого, впрочем легкого для сердца, сухого воздуха, добраться до чайханы, предвкушая, алча получить из рук чайханщика низкий белый чайник, не спеша налить в пиалу чаю, вылить обратно и снова налить (ритуальное, священное, однако не бессмысленное, как я убедилась, при заварке любого чая, действие).

И, проследив, как заменяется в пиале цвет сухого белого вина более густым, желтовато-зеленым, как вместе с поднявшимся над пиалой легким парком достигает ваших ноздрей аромат,— поднесите пиалу ко рту, сделайте первый, небольшой, точно как когда пробуете незнакомое прекрасное вино, глоток...

Ах, чай, чай, как бы люди жили без чая — зеленого в пути; черного, когда работаешь дома, и работа не идет, и нужно подхлестнуть себя глотком, даже просто созерцающим этого чая, его цветом жженого янтаря, его ароматом, возбуждающим твои силы и фантазию... Да, а соленый, сытный плиточный чай, клокочущий на костре в чугунной чаше, густо сдобренный молоком и каймаком — он совершенно необходим на длинных конных переходах в Хакасии, в Туве, в Казахстане, в Монголии. Я очень люблю и этот чай. «Соленый чай хорошо пить после жирного мяса,— объяснял мне тувинский писатель Сарыг-оол.— Помогает желудку баранину переваривать...»

Короче говоря, да не иссякнут чайные плантации на земле, да совершенствуется мастерство чаеводов!..

Едем. Справа по-сумасшедшему несетя грязная, с каким-то мыльным оттенком вода Пянджа, за ним — Афганистан.

Крохотная белая вилла, на зеленой лужайке бродят маленькие коровы. Дальше — деревня, бегают коричневые полуголые ребятишки, кричат что-то.

Вдоль дороги мелькают деревца дикого граната с твердыми, точно красные свечи, цветами, розовые кусты тамариска, абрикосовые деревья, осыпанные желтыми абрикосами. Стоит девочка, протягивая поллитровую банку абрикосов, дальше мальчишка — тоже держит в протянутых руках шапку с абрикосами. Мы не покупаем, мы проносимся мимо. Собственно, что их покупать: остановился и набрал паданцев, деревья эти ничьи. Но дети рассчитывают на то, что шоферы спешат, до паромы целый день пути, опоздаешь — жди утра.

В кузове едут девушка и парень, врачи-гельминтологи, экспедиция. Обследуют население на глистность, но процент заражения ленточными глистами ничтожен: главная пища памирцев, особенно зимой,— чай и лепешки, лепешки и чай...

Машина едет, Степан Петрович молчит: он вчера еще рассказал мне свою биографию и самые интересные случаи из жизни. Я и недавно молчу.

Зачем я езжу?

Нет, сначала было все понятно. Что, собственно, я видела? Московские дворы и чердаки, потом завод. Только представилась возможность — я ухнула, едва не захлебнувшись, в поездку. Все было открытием, все ново для глаза, особенно люди. Я была полна щенячьей восторженной любви к человечеству, давала свой домашний адрес и брала клятвенное обещание приехать в гости со всех, начиная с проводниц поезда дальнего следования, кончая начальниками строительства. Мне казалось, что каждый встреченный мною человек — единственный в своем роде, и не увидеть его еще раз, не поговорить с ним — трагедия, невозможная потеря.

Сейчас глаз сыт, люди повторяются, тело устает быстрее, чем раньше. Зачем я езжу? Привычка?..

Да нет. Все еще тянет подспудная надежда, предчувствие, что вот еще поездка, еще одна... куда-нибудь к черту на рога — и откроется что-то, что-то откроется. Я обрету покой, обрету то, чего мне не хватает в жизни. А куда живу, словно жду, живу от поездки до поездки, поделив год на командировки и периоды между ними. Годы летят, словно косточки на счетах: щелк, щелк, щелк... Определенно отщелкано больше, чем осталось, а где оно, откровение, озарение, которое приведет все в моей неприбранной, непричесанной душе в порядок?..

«МАЗ» несется, то и дело попадая в столб пыли, оставленный встречной машиной: здесь дорога широкая, спокойная, я высовываюсь из окна кабины и перевожу пленку, заранее зная, что почти ничего не выйдет, кроме полос смази. Но уж очень много соблазнов: две скалы, сжавшие на излучине серую, точно кровь ведьмы, клокочущую воду; дальше — на синем пятне неба странно изогнувшееся сухое дерево; дальше — трехлетняя девчонка в ярком платье до пят и шароварах, с сережками в ушах, с бровями, соединенными усмой в одну широкую линию (усма — это черная краска, приготовленная из сока растения, очень стойкая и к тому же, говорят, способствующая буйному росту волос в бровях. Вчера Степан, заметив мою страсть к фотографирова-

нию, поразмыслил и сказал, как бы между прочим: «Будем подниматься на... там есть объект один, хорошо видно». Я поддакнула и истратила еще полметра пленки. Степан снова понаблюдал за моими усилиями и снова напомнил про «объект», я опять угукнула и сфотографировала на этот раз его самого, склоненного над забарахлившим мотором. Наконец мы добрались до обещанного места, и Степан с надеждой воззрился на меня и мой фотоаппарат. Но ни домики «объекта», ни лысые горы возле я снимать, естественно, не стала, и интерес Степана к моим занятиям заметно сник. Тут я сообразила, что, как мужчина хозяйственный, Степан Петрович намеревался сдать меня на ближайшую заставу, вместе с отснятой пленкой, решив, мол, деньги сами идут в руки. Рублей шестьдесят премии потерял...

Впереди вереница машин, шоферы сидят на корточках в тени под скалой, курят. Подходим узнать, в чем дело. За поворотом взрывали, теперь бульдозер расчищает дорогу. Задержка на час, а то и больше, но никто не ворчит: расширяют и ремонтируют дорогу, а это для памирских шоферов вопрос жизни и смерти буквально. Степан сказал мне: «Если этот Пяндж перекрыть, столько машин откроется, сколько во всем Душанбе нету...»

Обрывы, закрытые повороты, крутые подъемы и спуски, чуть смочило дождем — машина идет юзом, буксует; осыпи, обвалы... Впрочем, это все впереди.

Наши врачи решают идти пешком: кишлак недалеко. Мы сидим, ждем, спускаемся к Пянджу умыться, наконец из-за скалы показывается бульдозер, сталкивает в Пяндж последнюю кучу породы — и одна за другой машины трогаются.

Степан теперь почти не отпускает сигнал: дорога вжимается в скалу, вьется, как змея. То и дело приходится сдавать назад, разъезжаться, громко выяснять отношения, доказывая, что мы на подъеме, посему нам опаснее прижиматься к краю либо съезжать.

Я гляжу на встречные, высоко груженные машины — там, на вполне современном брезенте, возлежат в полудремоте таджики: полосатые халаты, белые, зеленые, красные чалмы с концом, спущенным на плечо, коричневые тонкие лица, узкие маленькие руки и ноги... Взгляд из-под тяжелых с чернотой век скользит по скале, по

мне, по кусту тамариска: «Ничему не удивляйся...» Мне никогда не понять этих людей: я не знаю их языка. Что там, за этим вялым, не задерживающимся ни на чем взглядом, что у них за жизнь в этом краю, где дорога действует четыре месяца, а после край цепенеет, словно ящерица под камнем — до тепла... Что у них за жизнь, что они думают, чем занимают мозг долгое-долгое время, когда за дверью юрты проносится с невероятной скоростью снег?.. Почему они не хотят перебраться на равнину, где им предлагают дома, землю, работу, где цивилизация, биение сумасшедшей нынешней жизни, двадцатый век?..

— «Внизу вода плохой... Воздух плохой... Быстро умирать будем...» — передразнивает Степан возражения памирцев. И комментирует: — Помирать! А здесь они больно долго живут! Видели вчера этого деда-чайханщика? Ему пятьдесят лет, моложе меня, а как выглядит? Вот смотрите на эту пшеницу. А козы? Это ведь взрослая коза! Погодите, скоро коров увидите!..

Слева скалы отступили, потянулись поля пшеницы. Низкая, чахлыми куренями пробивающаяся меж камней; козы ростом в две кошки, маленькие красные коровы, у которых и вымени-то не видно... Да, сельским хозяйством здесь заниматься вряд ли выгодно...

— Трактор загонят — он скачет по камням, как кузнечик! Горючего больше пожрет. Зато как у людей: план, хлебозаготовки...

Это у нас любят, чтобы только «как у людей». Выгодно не выгодно, — не из своего кармана.

— Днем и ночью идут машины, посчитайте, во что обходится щепоть народу прокормить? Силом всех вниз сселять надо, после поймут! И мы бы не мучились...

Степан рассказывает, что те консервы, которые сюда завозят, местное население не берет: рыба, свинина — они это не едят. Покупают «баночки» шоферы, и часто травятся: пролежав зиму, а то и две, консервы портятся. Недавно два шофера насмерть консервами отравились.

— А женщины здесь красивые, — обрывает себя Степан, увидев группу женщин на поле. — Памирки — самые красивые. Глядите: лицо белое, нежное, брови черные...

Действительно красивые. Таджики вообще красивый народ. Ах, какую таджичку я видела в Бухаре, до сих

пор забыть не могу — словно из восточных сказок, которые в детстве читала!.. Косы до пят, нежное прекрасное лицо, брови сплошной линией, бархатные глаза, тонкий с прозрачными ноздрями нос... В вышитой тубетейке из белого бархата, высокая, в этом своем радужном широком платье, которые не идут нам, европейским женщинам, и так хороши на женщинах Востока...

Мужчин красивых меньше, — видно, отбор шел по женской линии: гаремы требовали красавиц, их свозили со всего мира.

— Спасибо! — злится Степан, глядя вслед уходящим старухе таджичке и девочке: мы их подвезли километра четыре от кишлака до поворота, где стоит какой-то домик на отшибе. — Так и норовят на спасибе проехать, вот народ!..

Мне стыдно... Впрочем, в русской деревне совсем недавно вам могли подать молока и не спросить денег, шоферы на сибирских дорогах и сейчас останутся, не ожидая, пока вы поднимете руку, отвезут, куда надо, и денег не спросят. Ну, а в парижском отеле мальчик-портье отворил мне с улыбкой дверь, и, когда я с улыбкой поблагодарила его, он удивился, усмехнулся и больше мне дверей не отворял: он ждал денег, а не улыбки. И дело тут не в растлевающем влиянии капитализма, у нас в крупных городах мы тоже приучились платить, так сказать, «сверх прейскуранта», гардеробщику, шоферу такси, официанту, маникюрше, парикмахеру, портному — да мало ли кому!.. Удобства и блага цивилизации приучают человека не делать лишних движений — ничего сверх положенного, а сделав эти лишние движения, человек уже требовательно глядит по сторонам: кто заплатит?..

Впрочем, из любви к истине скажу, что на Памире я тоже встречала шоферов, которые останавливались, не ожидая, когда человек проголосует, и трогались с места, едва он спрыгивал на землю, не ожидая платы. Пока еще встречала...

Я люблю солнце. Вопреки всяким новейшим теориям, утверждающим, что избыток солнечных лучей белому человеку вреден, я люблю солнце. Серый московский декабрь, когда небо прочно закрыто облаками, — самое непереносимое для меня время года.

Здесь солнца хватает. Сейчас часов одиннадцать — оно движется к зениту, тени скал сошли к подножью, дорога обнажена — и комок гроыхающего железа, который несет нас в рыжем горячем безмолвии, раскален: сиденье обжигает; дверца, едва нечаянно коснешься ее, обжигает; дно кабины словно горит под ногами, даже сквозь подошву кеды слышно. Вода в радиаторе кипит, Степан то и дело останавливается, спускается к Пянджу с брезентовым ведром, доликает воду. Воды по дороге много: мутная из Пянджа (как таджики пьют ее?.. Впрочем, причастилась и я: был какой-то длинный перегон, очень хотелось пить, и я напилась из Пянджа, несущего в себе все грехи и тайны Памира. Вода шершавая, плотная на вкус, сытная. Не такая уж и плохая вода...), прозрачные, обильно хлещущие из трещин источники — фильтрованная известняками водичка холодна, мягка, безвкусна.

Поворот — дорогу перекрыла тень «заграничной» скалы, можно снять черные очки, стереть пот вокруг глаз, оглядеться. На том берегу, у подножья скалы, — длинный оползень снега, — наверное, туда, через вершины шеститысячников, никогда не заглядывает солнце. Берег на той стороне узкий, часто пропадает вовсе, — к отвесной гладкой скале над самым Пянджем прикреплен овринг — дорожка, сплетенная наподобие наших деревенских изгородей из веток. По этой дорожке идут куда-то, держа на плечах, на голове большие тюки, загорелые, почти обнаженные люди.

Скалы отступают, открывается большое пустынное плато. Желтый песок, из него высунулись коричневые валуны. Сверкают, точно шоколадные подтаявшие фигурки. Поверхность камня подтекла от солнца, вылизана бесконечным ветром с песком — сдвинулись, растопились, уплотнились молекулы. Невозможно определить, какой камень, что там, под блестящей коркой. Их много, высунувшихся из земли высоких валунов. Они отбрасывают на желтый песок тени, и в сердце начинает рождаться нелепый страх, томящее неприятное чувство: что это — камни? А может, живое? Или мертвое после живого? Нет, не неприятное — какое-то другое чувство, редко теперь меня посещающее, я его люблю, любила раньше очень: детское мистическое удивление, восхищение непонятым, незнакомым...

Открывается, предстает впереди каменная, песчаная страна, красные скалы принимают в себя желтую, делающую несколько размашистых извивов по песчаному плато дорогу.

Солнце встало в зенит. Теней нет. Красные сухие скалы поднялись высоко, коснулись солнца. В их сухой плоти видны странные завитки — словно чужеродное гнездо свито. Здесь, на Памире, горячее нутро земли близко, где-то есть разломы до самой магмы — так говорят геологи. Наверное, при всяких земных колыханиях в давно застывшее и обретшее форму врывалось бесформенное и тоже обретало форму, чтобы обособиться, остаться собой даже среди извечного, привычного, обладающего большей массой...

Солнце, солнце, солнце бьет в упор. Сколько? Пятьдесят? Шестьдесят градусов?.. Зной точно вставлен столбом между скалами — плотный, тяжкий, растворяющий. Раскаленная, тяжело колышущаяся, словно ванна с жидким металлом, среда... Нет сил руки поднять, вздохнуть — плывут мысли, как круги перед глазами.

Красные скалы, красная утомленная лента дороги, сумасшедшее кувыркание потока под обрывом. Раскаленное безмолвие, поглощающее тебя, лишаящее воли, отбирающее прошлые, мелкие, ежедневные мысли. Вот она — нирвана, растворение в мировом духе, странное, ни на что не похожее блаженство.

И ничего не надо, нет больше никаких желаний, деловых планов на будущее. Здесь конец и начало.

Все.

Мы миновали долину Ванча, долго ехали дальше, нам попадались на пути тенистые улицы красивых селений, живописные изгибы все того же клубящегося Пянджа, сверкающие гольцы шеститысячников на той стороне, закрытые повороты и крутые спуски, почти вертикальные подъемы — тут сердце замирало перед вечной проблемой «быть или не быть?»: столкнешься со встречной, поднимем на склон или сползем на стертых скатах к обрыву — а после медленно будем лететь (не наша машина первая, не наша последняя), теряя на острых выступах куски железа, пока не достигнем прохладного (интересно, почувствуешь в такой ситуации температуру воды?) Пянджа... Все это было на пути от Ванча до Хорога, но



ничего не запомнилось мне. Я запомнила долину Ванча. Я счастлива, что видела ее.

Наверное, каждый, раньше либо позже, попадает в свою «долину Ванча», где наконец постигает то, чего никак не мог понять, ухватить прежде. Почему со мной это произошло именно здесь? Может быть, потому, что я удивилась. Необходимое, главное в жизни чувство — удивление, последние годы мне казалось, что я утратила его.

Классики утверждают, что свободно лишь равнодушные, любовь — это добровольное, истовое рабство. «Не привязывайся ни к кому и ни к чему, ибо всякая личность представляет из себя темницу, тупой угол... человек должен уметь охранять себя: в этом заключается наилучшее доказательство независимости», — призывает философ. Он прав: ты зависим, уязвим, любя ребенка, человека, свое дело, свой дом, — то, чего можно тебя лишить, заставив страдать, растоптав, уничтожив тебя! Кроме того, эта любовь, эта привязанность занимает в твоих мыслях место, делая несвободным твой мозг, подавляет, стесняет твою возможность мыслить, постигать иное... Все правда. И однако мы добровольно принимаем это рабство, мучаемся, клянем его, а когда на какое-то время становимся свободными, понимаем, что были счастливы. И не дай бог, чтобы сердце очерствело, потеряло способность любить, привязываться, быть больно-зависимым. Старая, но, в общем, так и не объясненная еще истина...

Моя последняя привязанность, моя любовь — долина Ванча, сердце Памира, центр вселенной... Все увиденное позже я сравнивала с ней — и ничто не могло сравниться.

Теперь мне ясно, что Гаутама Будда строил свои мечты о нирване для каждого, отталкиваясь от действительности, что йоги кали-мудра ничего не выдумывают, рассказывая, как свободно, доступно им состояние «растворения в мировом духе». Длительные голодовки, палящее солнце Индии, половое воздержание, отрешенность от мирских забот — вот платформа, оттолкнувшись от которой они легко взлетают туда, где и я побывала однажды.

Обостренное (до звона в ушах) чувство протяженности времени, чувство предельной полноты жизни в этот миг, чувство, что ты был, есть и будешь, как пунктир, начавшийся издавна и не прекращающийся ни-

когда,— и словно конечное откровение, вдруг пришедшее понимание, что смысл всего, смысл жизни, есть преодоление сопротивления. Что сейчас, в данную минуту, это преодоление сопротивления состоит лишь в том, чтобы удержаться.

Чтобы кровь не прорвала разбухшие сосуды, чтобы сердце не прекратило слившийся от частоты в одно стук, чтобы не исчезло дыхание — арифметический подсчет простых физиологических действий, балансирование на краю, за которым нет ничего. Общее же ощущение от всего этого — удивительное блаженство. Возможно, потому, что освящено это элементарное желание выжить не страхом, а восхищением. Предельным восхищением, дальше которого опять же ничего нет, дальше уже разорвется сердце.

Так вот, в подобной ситуации преодоление сопротивления — это всего-навсего судорожные попытки сохранения жизни. Смертельно больному или человеку, подвергающемуся смертельной опасности, безразлично все на свете, кроме этой внутренней борьбы жизни с нежизнью. Но когда жизнь начинает одолевать, когда накапливается какой-то избыток сил, появляется жажда к преодолению иного сопротивления. Жажда более высокого поста или новой книги, нового научного открытия или женщины. Денег, новой квартиры, новой роскошной тряпки. У каждого свое...

А если нет такого конкретного «клочка сена», если человеку не интересна его работа или потерян вкус к завоеванию жизненных благ, то вместо воображаемых вершин он начинает брать конкретные горные вершины, преодолевая сопротивление километров,— и тут-то получает выход нерасходуемая сердечная энергия, существование его тоже обретает смысл. Наверное, поэтому во всем мире в последнее время такое огромное распространение получил туризм. Мне могут возразить, что есть крупные ученые, со страстью занимающиеся туризмом, альпинизмом, автомобиллизмом, собиранием марок или старых денег. Но это означает лишь то, что у них остаются свободные от работы эмоции. Курчатов, например, ездил отдыхать в Киев к своим коллегам, чтобы сменить работу на работу; Верещагин, байкаловед, мер на пятьдесят шестом году жизни,

обладая богатырским здоровьем,— сгорел на работе, не помышляя, конечно, ни о каких параллельных страстях — филателизме, нумизматике, туризме. Да вспомните сами те, пусть краткие, мгновения своей жизни, когда вы были истинно, до конца увлечены чем-то, поглощены подавлением сопротивления какого-то материала или жизненной ситуации...

Там, в долине Ванча, я поняла памирцев. Жизнь их полна. Они постоянно преодолевают сопротивление Сурового Климата, Недостатка Пищи, Нехватки Витаминов. Они не чувствуют неполноты жизни, так как у них не остается сил для большего. Если бы они не пребывали здесь из поколения в поколение, не зная вкуса иного бытия,— тогда у них возникало бы инстинктивное чувство отталкивания этих трудностей (как у тех, кто приезжает сюда жить из других мест), чувство необязательности угнетения суровым бытом, желание уйти от этого необязательного, небогащающего. Ведь они не пионеры, осваивающие необжитой край, не изыскатели, не путешественники — те принимают трудности, как сопутствующее открытию, в этом для них преодоление сопротивления незнакомого материала, следом — награда. Памирцы тратят силы бессмысленно, потому что их жизнь в малоокислородном, суровом, трудном для снабжения краю — есть просто процесс без взлета в конце, без награды. За те сотни лет, что люди живут на Памире, кислорода там не прибавилось и земля не стала родить лучше. Так пусть здесь живут геологи, изыскатели, пограничники — им это необходимо для дела. Остальных надо селять вниз, и чем скорее, тем лучше: человек не должен тратить силы бессмысленно, им всегда найдется более выгодное применение.

Вот что я поняла в долине Ванча. Я поняла и то, почему последние годы потеряла интерес к жизни. Просто все начало повторяться. Все, принадлежащее мне, было освоено, а новых вершин (моих вершин, возможно, на взгляд другого, очень низких, но ведь у каждого свои дороги и свои вершины) я не могла, не хотела брать. Потому ли, что я не чувствовала в себе сил житейских и творческих, элементарного желания не топтаться на месте, а идти вверх, потому ли, что я видела какие-то реальные, не зависящие от меня препятствия для лю-

бого подъема куда-то выше закрепленного уровня? Какая разница?.. В моей жизни больше не существовало преодоления сопротивления, и жизнь потеряла смысл и интерес...

**2** Через два дня после того, как я приехала на место, вместе с майором Челышевым, фотографом Мишей Дмитриевым и шофером Виктором Зеленцовым мы двинулись вверх по памирским дорогам на многострадальном пограничном газике. Надо сказать, я уже ощущала, что в атмосфере недостает двадцати с лишним процентов кислорода: тяжесть и боль в затылке, сердцебиение, а главное, какая-то притупленность внимания, будто все предметы видишь неясно, все окружающее воспринимаешь с усилием, расплывчато. Чем выше, тем это чувство острее. Отеки под глазами, распух нос — впрочем, не только у меня, но и у наших «мальчишек» Зеленцова и Дмитриева, хотя вроде бы они привычные памирцы. Мощность мотора упала наполовину, вода тут кипит при восьмидесяти градусах, и макаронные рожки, которыми нас кормят на всех заставах, не развариваются... Какой-то полковник, побывавший на Памире, сказал, что каждый шаг по Памиру — это подвиг. Но я не иду, я еду. Впрочем еду тогда, когда едет наш газик, а он все чаще останавливается — упорно спускает левый задний баллон. Сменили запасным — спускает, заклеили старый — спускает, засунули выпрошенный у встречного «МАЗа», здоровенный — спускает!.. Прямо колдовство какое-то...

Высота уже четыре тысячи двести, остались внизу пирамидальные тополя, кусты тамариска, гранатовые деревца, вообще всякая высокая трава и цветы. Здесь травка плотно жмется к серой, как прах, земле, и сама серая, как прах, покрыта коротенькими волосками, чтобы испарять меньше влаги. Полынь, плотные подушечки акантолиманов, а цветы — вот они, в карманной записной книжке, умещаются на страничке целиком от венчика до корня: левкой, сурепка, маттиолы, ветреница, клевер... Появились сурки — рыжие, нахальные, размером с лису-корсачка, стоят недалеко от дороги, любопытствующе сложив на толстых животах

короткие лапы, общительно поглядывают на нас, свистят. Сначала интересно: незнакомое живое, со своими повадками, привычками, да еще общительное к тому же,—потом перестаешь обращать внимание. И на архарьи рога перестаешь обращать внимание, хотя сначала тоже удивляешься: такая красота!словно две змеи возвышаются из камней, из низкой травы — картина жутковатая, особенно в сумерках. И вообще тут, на «крыше», жутковато, неуютно. То и дело сыплет снежная крупка, пересыпает серым и без того серую траву; на низком мутном небе — белые пирамидки вершин шеститысячников, а между ними огромные куски плоского пространства, кое-где блестят черные, плоско сровненные с берегами лужицы неглубоких озер.

Да, чтобы кончить с сурками, я скажу, что они существуют тут не так просто. При них противочумная экспедиция, которая проверяет, не являются ли сурки носителями чумы. Начальник экспедиции Эмилия Николаевна Головкич — красивая, приятная женщина — рассказала нам много интересного, в частности, что экспедиция выезжает на Памир уже шесть лет, но ни разу за это время чума подтверждена не была. На соседней же станции чума была подтверждена в 1940 году, а с тех пор ее тоже не обнаруживали. Ну что ж, раз сурки и песчанки являются переносчиками чумы, то это, наверное, хорошо, что у них ни разу за такое долгое время «не была подтверждена» эта жуткая бацилла. Чумологи предлагали мне взять сурчонка — толстого, мохнатого, озабоченно изучающего все незнакомое. Теперь жалею, что не взяла...

И еще одна любопытная встреча была у меня на Памире.

За день до отъезда мы поехали из Мургаба на озеро Ранкуль, возле которого размещалась поисково-разведочная партия, выясняющая, стоит ли на Памире добывать золото. Надо сказать, что Памир оделен самыми разнообразными полезными ископаемыми. По преданиям, уже в десятом столетии тут добывали свинец, золото, серебро, лазурит и розовую благородную шпинель — тот самый камень Лал, который был так моден среди красавиц Востока во времена тысячи и одной ночи. Рассыпное золото на Ранкуле добывали в тридцатых годах нашего

столетия старательским способом, там, где оно было доступно кайлу и лопате, выборочно. Потом разработку россыпей прекратили, практически забыли о них вплоть до пятидесят шестого года, когда Мельник, впервые попавший тогда с геологической партией на Памир (желая, как он выразился, увидеть более обнаженные участки земной коры,— мечта каждого геолога), дал заключение, что россыпи выбрали не все, и рекомендовал их для разведки. Этой разведкой и занималась сейчас его партия.

Палаточки партии расположились на берегу ручья у подножия пятитысячника Тузгуны-Тереснея. В партии больше молодежи, пожилых и среднего возраста рабочих всего несколько человек. Мельника мне довольно ярко описал здешний начальник комендатуры, так что, когда из средней палатки вышел огромный широкоплечий человек в ковровых памирских джурабах (шерстяных чулках до колен, связанных из разноцветных ниток со сложным рисунком), голубоглазый, с русой бородкой на румянном лице, я, не боясь ошибиться, сказала:

— Здравствуйте, Григорий Григорьевич!..

— Здравствуйте,— отвечал он округлым баском.— Приятно видеть женщину-журналиста без кислородной подушки. А то тут двое ваших приезжали месяц назад, с кислородными подушками все ходили.

— Так ведь я к вам сверху спустилась, с Джартыгумбеса, мне тут почти как на равнине. А с непривычки, конечно, без кислородной подушки трудноато, не зря ведь их к вам завозят сюда...

Так состоялось наше знакомство, и, следуя за Мельником от палатки к палатке, а после — от шурфа к шурфу, я думала о том, что лет десять назад такая колоритная фигура несомненно произвела бы на меня неизгладимое впечатление, может, я осталась бы здесь, дотошно расспрашивая его о подробностях богатой событиями жизни, попыталась написать рассказ, где главным героем был бы он — широкоплечий славянин, землепроходец, ему нипочем ночевка на сырой земле без костра, он добудет себе пищу в тайге, не пропадет. А сейчас хожу следом и ловлю себя, что слушаю его вполуха, думаю же о моем старике, который пойдет от подножья Памира до его вершин, проделает этот невероятный, непосильный и молодому путь, искупая вину перед собой за то, что из

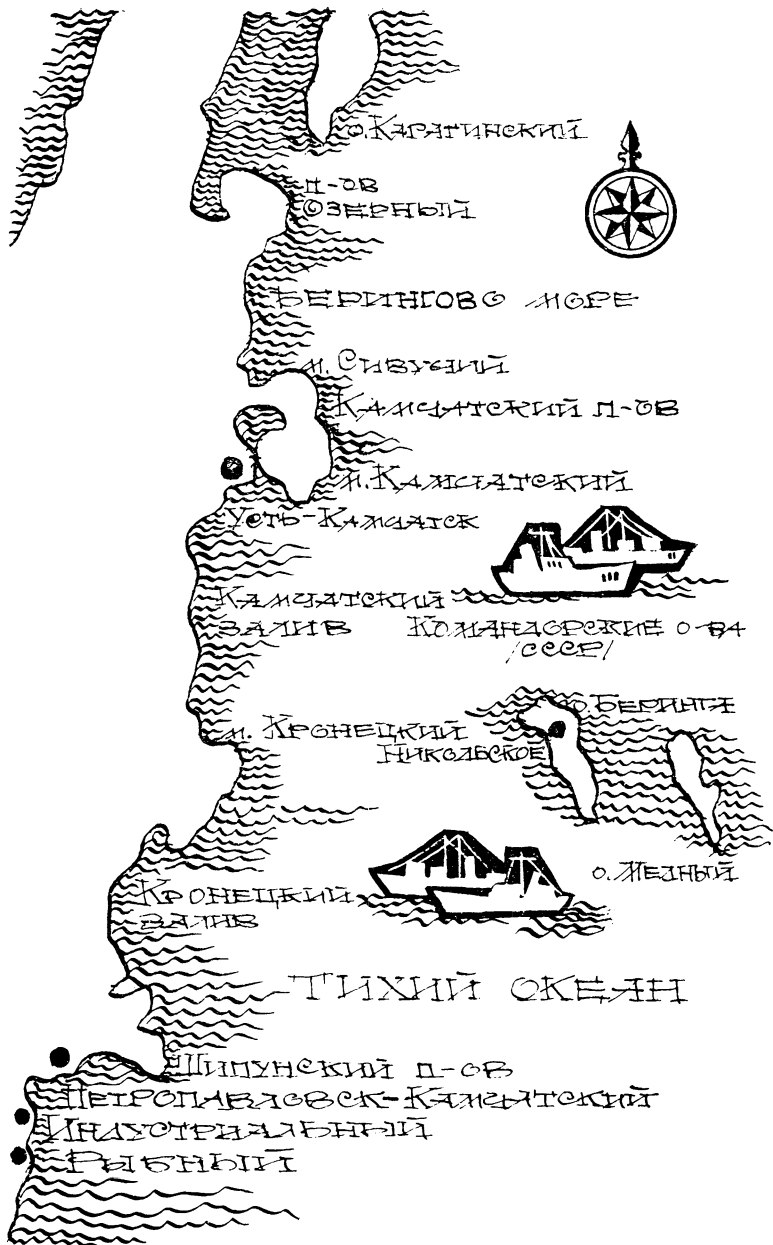
трусости, из чувства самосохранения предал себя: прожил жизнь начерно, а теперь вот пожелал взлететь, взлетел, — но упал лицом в пыль, разбился, уничтожился... «Мне отмщенье — и аз воздам...» — вложу в этого старика пережитый недавно страх, когда я вдруг оказалась с фотоаппаратом одна перед чужезычной толпой с черными знаменами, черными бантами в петлицах, толпой, гневно скорбящей о своих братьях, решившей, что я фотографирую их с какой-то нечистой целью. «Ты что снимаешь? А ну, зайдем в парадное, поговорим! Давай аппарат, пленку засветим!..» Это был не один человек, которому можно что-то объяснить, оправдаться, это было существо с белыми глазами, не слышащее простых, обычных слов, с ним надо было разговаривать как-то иначе, я не умела так разговаривать. Так разговаривать умел какой-то человек, который отстранил меня, загородил плечом, положил руку на мой фотоаппарат и крикнул что-то простое, отрывистое, — я не поняла, но, наверное, что-то вроде: «Я ее знаю! Она наша!», или «Она с нами!» И разряд человеческой ненависти, замкнувшейся на мне, ушел в землю, потерял напряжение. Ко мне утратили интерес, я побрела следом, смотрела, слушала, как толпа остановилась на углу, возле какого-то дома, долго скандировала какие-то слова, потом потекла дальше, выбила стекла в трамвае, двигалась по улицам города, расходуя, теряя свою ненависть, свою энергию на каких-то случайных встречах, ненужных стычках... Я шла с ними, на всю жизнь запомнив это, новое для меня чувство — животный страх части перед целым, провинившегося, отверженного племенем перед племенем... Стояла жара, ох, какая стояла жара, хотя было всего-навсего двадцать четвертое апреля, цвели персики и миндаль...

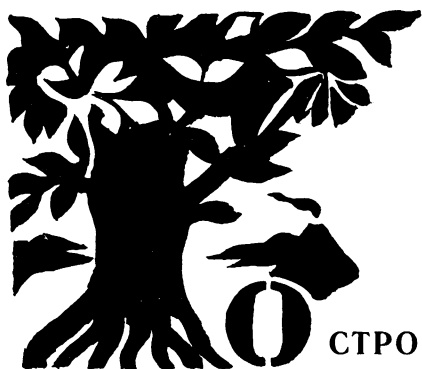
Я не отставала от Мельника и слышала в себе своего старика, его проход по невероятной долине Ванча, его обморок, ощущение полета, подлета к солнцу, реальное до боли в подмышках, сохраняющееся долго после. Десять лет назад я видела бы героя, подобного Мельнику, — видела, но не слышала. Видела бы, как он движется в пространстве: крупный, удобный, колоритный, делающий все вкусно, с размахом. Видела, но не слышала... Старая, человек почему-то утрачивает вкус к внешним проявлениям личности, с возрастом начинаешь слышать героя, а

не видеть, слышать, как фугу Баха: пробуждение, тоска по крыльям, взлет к небу, удар о солнце, агония — где всплывает в предсмертных грезах: прозрение, тоска по крыльям, взлет к небу, к солнцу, греховный, сладостный, раскованный полет... В этой двухчастевой двухчасовой фуге свободно вмещается жизнь любого человека — твоя, моя... Разница в высоте полета, в назначении, цели его...

А на месте Памира, оказывается, было море. Собственно, об этом можно легко догадаться: здесь, наверху, по обе стороны дороги, горы сложены конгломератами из окатанной морской гальки и ракушек, сцементированных мелким песком. Сначала от морской воды освободился западный участок — там сейчас выходы кристаллических пород; спустя триста миллионов лет поднялся и стал сушей северный Памир, потом юго-западный. Центральный и юго-восточный Памир поднялся из моря в середине третичного периода...







## СТРОВА, ГОД 1967

**1** Ничего не вижу — только изредка слабый свет обрисовывает тонкую шею, неширокие плечи Дьяченко, ложится на ствол автомата: вверху над тайгой луна. Продираемся сквозь высоченные заросли борщевника, с отцветающих уже зонтиков сыплется пыльца, какие-то мухи.

— Из этого борщевника раньше вино делали, — говорю я, вспоминая то, что прочла у Крашенинникова. — «Сладкая трава» его называют.

— Я об этом не слышал.

— Молодой еще. Это лет двести назад было.

Борщевник я увидела нынче днем, узнала удивленно, обрадовалась: Крашенинников видел эту траву, и спустя двести лет я вижу.

«Ствол тонкий из трех или четырех междоузлий зеленого и красноватого цвета с короткими белыми волосками. Листья сидят на круглых мохнатых черешках, испещренных красными крапинками. Местные жители соскабливают кожицу со стебля раковиной, сушат, после кладут в травяные мешки, где она покрывается сахарной пылью. При заготовке надевают перчатки, т. к. сок травы настолько ядовитый, что тело от нее сильно опухает. Поэтому русские и камчадалы, которые весной едят сладкую траву сырой, кусают ее не прижимая к губам... Вино готовят следующим образом: небольшое количество сушеных стеблей кладут в теплую воду и заквашивают в небольшом сосуде, вместе с ягодами жимолости или голу-

бики, пока не забродит,— это приголовок. Потом, таким же способом, делают брагу и выливают в приголовок. Квашеную траву вместе с жидкостью кладут в котлы, закрывают деревянными крышками, в которые, вместо труб, вмазывают ружейные стволы. Получается рака... Если вино сделано из травы с не совсем соскобленной кожицей, то от него ощущается большое давление на сердце. Зовется «давёжным». Травяное вино вредно для здоровья, так как кровь от него сворачивается и чернеет. Люди от него теряют сознание и синеют. Выпив несколько рюмок, человек всю ночь видит удивительные сны, а на другой день так тоскует, будто совершил какое-то преступление...»

Мне почему-то необыкновенно интересно читать все это. Не потому, что я хочу напомнить забытый способ приготовления спиртного,— слава богу, в этом вопросе человечество оказалось особенно изобретательным: водку не гонят разве что из металлолома. Просто мне удивительно разглядывать широченные, как у лопуха, шершавые листья, грязно-белые зонтики цветов, удивительно, сломив стебель и содрав с него кожицу, откусить мякоть, почувствовать приторно-сладкий, с морковным запахом вкус. Ели когда-то люди! Давно, недавно — ели! Сейчас вот забыли, лопушится везде, а когда-то был серьезной пищей, сырем. И Крашенинников, в первый раз увидав этот борщевник, тоже вот так обломил стебелек, откусил мякоть...

Сам Степан Крашенинников вызывает у меня какую-то горькую нежность: понесло милого чудака на край света, потерял в крушении все свои вещи, денег ему не платили по воле какого-то подлеца-чиновника, болел, голодал, однако бродил по земле, удивлялся, писал. Умер, так и не дописав. Вся жизнь ушла, чтобы собрать одну лишь эту книгу — «Описание Камчатки». Прекрасную книгу, до сих пор никто о Камчатке не написал лучше. Мне родное в этой нескладной, непрактичной жизни, в этом желании ходить, ездить, видеть, писать.

Мы выдираемся наконец из зарослей «сладкой травы», идем по дну оврага. Свистит какая-то птица, другая отвечает.

— Ночная, что ли?

— Просыпаются уже. Три часа.

А в Москве шесть часов вчерашнего вечера. Тоже ведь удивительно: я здесь, где уже «сегодня», но сама я еще во «вчера» — у меня, москвички, еще вчерашний вечер, поэтому я совсем не хочу спать. Спать я захочу через пять часов, когда тут все проснутся, пойдут на работу. Виной всему самолет. Если бы я, как Крашенинников, добиралась сюда на лошадях, мне не пришлось бы привыкать к часовым поясам. Постепенно, незаметно утряслись бы эти девять часов разницы. А главное, в общем-то ничего не выигрываешь: я за всю жизнь не увижу, не почувствую, сколько Крашенинников за одну поездку.

Овраг поворачивает, мы переправляемся вброд через речушку, идем лугом.

— Здесь княженики много, — говорит Дьяченко.

— Княженики?

Я даже останавливаюсь. Отец очень часто говорил об этой ягоде — ароматной, нежной. Варенье из нее, по его словам, ни с чем не может сравниться, вообще ничего подобного с тех пор он не ел. Ягода эта и тогда была очень редкой, росла на болотах, в труднодоступных местах — короче, у меня о княженике хранилось воспоминание, как о существовавшем в незапамятные времена и прекратившем свое существование, подобно многим другим вкусным вещам, о которых поминал отец: селедке «иваси» и «залом», очень толстому горькому шоколаду «Мокко», тому же омулю, которого, впрочем, я удостоилась-таки попробовать на Байкале. И вдруг Дьяченко запросто говорит о княженике!

— Много ее здесь?

— Много... Ее вообще на Камчатке много, в Забайкалье у нас нет.

— В Якутии я, например, моховку ела. Тоже редкая ягода: не смородина, не крыжовник — гибрид какой-то!

— Моховка есть в Забайкалье.

Спустя месяц я попробовала княженику, увидела, как она растет. Листочки у нее очень похожи на земляничные, вообще все растеньице похоже на землянику, а еще больше на морошку. Все они — одно семейство: розовые. Цветок нежно-розовый, мягкий. Вкус странный, тонкий, со слабым запахом ананаса. Однако, на мой взгляд, лесная земляника куда вкусней, даже малина и та вкусней, по-моему. Или это без привычки?

Мы взбираемся на невысокий холм и неожиданно оказываемся на берегу океана.

Длинный песчаный берег, на него медленно идет длинная волна. По черной поверхности растекся красный свет. Луна огромная, темно-оранжевая, висит невысоко над океаном.

Я обмакиваю руку в подкатившую волну (здравствуй, океан!) — и спотыкаюсь обо что-то, песок, вырвавшись из-под сапога, тускло просверкивает, словно бы подсвеченный луной — фосфоресцирует. Белеет полузасосанное в песок, большое, не то собака, не то поросенок.

— Это морской лев, — говорит Дьяченко. — Сивуч.

Далеко его занесло. Насколько я знаю, сивучи водятся только на островах, на Камчатке их нет.

Наконец берег упирается в скалу, похожую на таллинскую сторожевую башню, от нее ниже, перекрыв горизонт, тянется как бы крепостная стена.

— Это мыс Вертикальный, — говорит Дьяченко.

Мыс Вертикальный... Поистине бездна фантазии была у того, кто крестил тут мысы и бухты: Вертикальный, Шлюпочная, Океанская. Да и знаменитые Три брата, если честно, ни с какой видимой точки людей не напоминают. С Маяка они похожи на животных, с парохода — гнилые пеньки зубов в челюсти, замыкающей Авачинскую губу. Почему «братья» — непонятно. И легенда весьма банальная, самый распространенный сюжет: были влюблены в девушку, она заявила, что достанется тому, кто добудет больше рыбы, братья ушли в море, ловили-ловили — и окаменели, девушка бросилась со скалы — тоже окаменела. Где их только нет по свету, этих «братьев» и «дев», погибших от несчастной любви, я подозреваю, что сочиняют подобные легенды составители путеводителей, чтобы было чему умилиться.

**2** Пароход наш называется «Углегорск» — это грузо-пассажирское судно, и правильно, что слово «грузо» поставлено впереди. Те семьдесят человек пассажиров, что разместились в его неventedуемых, полужаселенных тараканами помещениях трюма, приспособленных под каюты, погоды не делают. В каждом порту «Углегорск» бесконечно разгружается, грузится, болтаясь

на рейде по нескольку дней, а пассажиры покуда ловят с борта палтуса, треску, камбалу — организуют себе питание, потому что в «ресторане» (так его важно отрекомендовали нам по трансляции) есть почти нечего, а что есть — есть невозможно, прошу прощения за вынужденный каламбур.

Впрочем, все это еще впереди: многочасовое качание на рейде в виду закрытых сеткой дождя берегов, неторопкое шлепанье по синим волнам океана, питание в местной пищевой точке. Ну, а пока я бросила вещи в камеру хранения, вышла на палубу. Сутолока, шум, возбужденные лица, брезентовые штурмовки, кеды — вероятно, едут «организованные» туристы в Долину Гейзеров, это дело теперь поставлено на поток, на конвейер. Впрочем, в шумной толпе есть и другие личности, выпадающие из общего туристско-беззаботного фона. Подобная личность пять минут назад хлопнула на пол в камере хранения два тяжелых чемодана, произнесла со смешком:

— Ха... Сердце-то, а? Как?..

Я оглянулась. Невысокий, с черной челкой, черными «местными» глазами, бисеринками пота на бледном лице. Молодой. В меру пьяный. Таких тут называют «приблывканый». Я поинтересовалась, каким образом он успел испортить сердце, он просто ответил:

— А чифирем.

Их едет целая группа куда-то, но в шумной толпе туристов они пока не очень заметны. Впрочем, подобные личности меня, как ни странно, меньше раздражают, чем эта суетная толпа, неизвестно куда и неизвестно зачем едущая. Я слышала в Институте вулканологии, как кто-то мрачно сострил:

— Великан прекратил свою деятельность: консервными банками забили.

Действительно забили, загадили и Долину, и дорогу к ней, повырубили реликтовую рощу пихты грациозной на нелепые сувениры: веточка этой пихты для глаз неспециалиста ничем не отличается от ветки обыкновенной пихты; обломали гейзериты. А главное, смысл подобного, очень трудного и очень дорогого путешествия, мне кажется, в том, что идущий должен остановиться мысленно, отключиться от ритма двадцатого века, постигнуть красоту и медленность природы. Стать выше, лучше,

чем был до этого, подумать о том, что земля прекрасна, что не надо ее топтать, гадить, не надо «покорять» природу, нужно просто научиться разумно пользоваться ее благами, подчиняясь ей, потому что она — наша Мать.

Эти сто с лишним километров туристы проходят едва ли не бегом, делая по тридцать — сорок километров в день, к тому же группы огромные — восемьдесят, сто человек. Тут уж не оглянешься, не помолчишь, не поразмыслишь, дорога трудная, опасная, да еще дожди — гляди живым бы остаться. Приходят в Долину измученные, не успев толком оглядеться, отправляются обратно. Зачем был совершен пробег в двести пятьдесят километров? Очевидно, ради того, чтобы сказать после в кругу приятелей: «Был в Долине Гейзеров, единственная в мире, между прочим...» — и показать несколько более или менее приличных снимков. Увы, я недалеко от истины! Сейчас путешествия, особенно дальние, стали такой же модой, дорогостоящим шиком, как лет пятнадцать назад собирание больших библиотек, владельцы же, как правило, книг этих не раскрывали. Оно конечно, вроде бы ничего: ноги свои, деньги тоже, здоровье тоже. Но природу вытаптывают, вот в чем беда! Нельзя в заповедные места пускать абы кого, надо бы с разбором, людей, зарекомендовавших себя бережным отношением к земле, по которой они ходят. Может, членов Общества туризма — я не знаю принцип, по которому принимают людей в члены этого общества...

Впрочем, хватит про туристов. Завтра утром они сойдут, и, слава богу, в следующий раз я их увижу только на обратном пути...

— Команде на швартовку по местам стоять! Парадный трап поднять...

Наконец-то отходим. Вообще мне сильно не повезло: ждала-ждала самолета, а он улетел вчера, когда я, отчаявшись ждать, уехала на Маяк, чтобы не торчать зря в Петропавловске. Пять дней — под собаку... Обидно так, что горло перехватывает, но в этом краю волея-неволей приходится приучать себя к терпению, к мудрому пониманию того, что пехом по морю не попрешь, не Христос же, а средства передвижения тут зависят от

многого: от того, на сколько метров приподнялся туман над землей, сколько баллов в море, от того, наконец, есть ли вообще какие-то средства передвижения в пределах твоей досягаемости... Хорошая тренировка для моей шибко вздернутой московской плотностью времени нервной системы. И потом, это даже хорошо, что «Углегорск»: постигну, как далеки эти острова от цивилизации.

— На баке! Отдать продольные. На баке! Какие отдали концы?.. На баке! Потравите немного шпринг через кнехты... Помалу, помалу травите шпринг через носовой!..

Отошли, слава богу! Шлепаем потихонечку мимо прилепившегося беленькими домиками по склонам сопки, вытянутого вдоль берега Петропавловска. Сейчас он мне кажется провинциальным, неудобным, как тоннель вокзала, городом,— когда вернусь, я взгляну на него иными глазами: теплый кусок земли, обжитой, прочный, надежный, тут меня ждет почта из дому, здесь у меня есть даже знакомые в гостинице, в обкоме, в погранотряде; отсюда, если плюнуть на дальнейший путь, можно через двенадцать часов прилететь в Москву... Все на свете зависит от точки зрения, от конкретных обстоятельств, от того — спускаешься ты с горы или поднимаешься на нее.

Проходим мимо Маяка, мимо Трех братьев, позади, фоном Петропавловску, дымит вулкан Авач, бухту окружили конусообразные, тоже бывшие когда-то вулканами сопки. Садится солнце.

— Девушка?..

У нас теперь вошло в моду всех называть «девушками», в самом деле, может быть, принять солоухинское «сударыня»?..

— Вы куда едете?

Снизу, из темноты трапа, на меня смотрит полупьяный «бич». Вообще это слово значит безработный моряк, а здесь так называют тунеядцев не тунеядцев, рабочих не рабочих. Небритых, пьющих, толкающихся без цели по материку и островам в поисках, где бы раздобыть денег на хлеб и на водку (вернее, на водку и хлеб), не прилагая особых физических усилий.

Этот — молодой, толстолицый, зарос мягкой бород-



кой, точно священник, мягкогубый, смазливый. Под левым глазом здоровенный коричневый синяк.

— На Беринга.

— И мы тоже. Вы — посмотреть?..

— В командировку.

— А мы работать...

Он улыбается улыбкой интеллигентного человека, извиняющегося за то положение, в которое случайно и временно попал.

— Вот везу ребят. Вербованные... На промысел котиков.

И опять эта усмешка человека, иронизирующего над собственной судьбой. Он спрашивает меня о профессии, я честно отвечаю. Прошли те времена, когда я выдавала себя за геолога или строителя-железнодорожника, наивно полагая, что иначе люди будут вести себя при мне неестественно. Во всех случаях этой неестественности хватает на пятнадцать минут, а дальше люди ведут себя обычно, если ты сам не дашь им повода для иного поведения. «Бич» начинает «работать» на меня, ведет разговор, как бы «entre nous»: мы с вами, мол, друг друга понимаем, единого круга люди. Но понять его трудно: он говорит не заканчивая фраз, не заканчивая мыслей, перескакивая с одного на другое, глотает слова. Размягчение мозгов у него от пьянства, что ли?..

— Кончил Плехановский... Да... Студенты. В преферанс играем, пьем, конечно, пили, да... Потом собрались — и на аэродром. Фарцовщики, вы слышали, знаете... Сейчас, конечно... — Он оглядывает свой костюм, помятый, потрепанный, — видно, в нем спал не раз. Впрочем, не без претензий: клетчатая куртка какая-то, брюки с лавсаном, заправленные в сапоги, галстук, съехавший набок, берет. — Одевались... Женился. Девочка... Красивая, а потом стала грубая, со мной поступала нехорошо... В Хабаровске в ресторане работал, у меня получилось нехорошо... Да. А потом в Солнечногорске... Хорошие все ребята, знаете... Ведь бывает так, что человек воровал — и честно работает?..

— Пьете вы сильно, — следуя внутренней логике его рассказа, говорю я.

— Пьем... — скорбно соглашается он, ему жаль сей-

час себя, свою кем-то загубленную красивую жизнь, хочется поплакаться.— Так живем, знаете...

— Да уж знаю. Кто это вам синяк посадил?

Он все еще цепляется за «интеллигентный», без житейской грубости, строй разговора, глядит мимо, прозрачно тающими в пьяной слезе глазами.

— Что вы... Это я ударился.

— Об угол стола? — уточняю я.

Он взглядывает вдруг на меня трезво и усмешливо: «интеллигентного» разговора не получилось. Не отвечает ничего, проникновенное выражение на его лице сменяется просто потеряннм, тупым.

— Толик! — зовет его снизу другой «бич», постарше и с усами, тоже в клетчатом пиджаке.— Буфет открылся!..

— Извините,— говорит мне Толик, все еще сохраняя благопристойность отношений между нами, «способными понять друг друга людьми». Уходит.

Откуда они берутся, эти ребята, черт знает, не могу понять. Ведь такой уже не вылезет, не поднимется, проспиртован насквозь, выпить ему прежде, чем поесть, хотя и всего-то Толику лет двадцать пять, не больше. А главное, работать, делать ничего не умеют, да и силенок нет: пропилил уже и силушку, и здоровье. Завербовался, аванс пропилил, теперь придет, будет просить другого аванса. Дадут — а он не работник. И будут его терпеть, перебрасывать с одной черной, подсобной работы на другую, будет мельтешить среди рабочего люда, снисходительно оберегаемый им, как ни странно, потому, что пьет сильно. Порок этот на Руси испокон веков не презирается, считается за болезнь, пьяниц потечески жалеют, добродушны к ним, ибо — кто ж не пьет...

Я спускаюсь в буфет, тут уже дым коромыслом, главный продукт, на который спрос,— «бутылочки». Туристы, научники и прочая шушера, вроде меня, померкли, стушевались в этом законном колорите. Толик, пошатаваясь, идет к моему столу с двумя стаканами водки, потом приносит стакан сметаны.

— Вы выпьете со мной? — спрашивает он робко, хотя градусов у него, против давешнего, явно прибави-

лось.— Нет?.. Тогда вот сметану ешьте... Ну хоть ложечкой мешайте, не уходите.

Он выпивает водку, не закусывает ничем, да и нечем закусывать: кроме сметаны и старых рыбных консервов, в буфете ничего нет.

— Вы не хотите поговорить со мной? — жалко прозвонит он, видя, что я встаю.

— Хочу.— Я и правда хочу, но укачалась, меня подташнивает, надо лечь.— Завтра поговорим, Толик, нам еще ехать и ехать...

От соседнего стола на меня с сомнением смотрят научники. Две девушки в брезентовых штурмовках, молодой мужчина, судя по акценту, эстонец, и мужчина в годах, видимо, руководитель партии. Здесь, в этом краю, среди прочего люда много, как иные аккуратно выражаются: «потерявших себя» женщин-бедолаг, которым все нипочем и море по колено. Мой разговор, мое явное тесное знакомство с пьяным Толиком, видимо, наводит научных девочек на мысль, что и я этого поля ягода, а поскольку моя койка в том же отсеке, где разместились научники, возникает вопрос: дам ли я им спокойно спать?.. Ах, девочки, девочки, все мы одним миром мазаны, и никто, особенно в вашем возрасте, себя до конца не знает — выплывешь из сложившейся ситуации или бесславно пойдешь ко дну?

Жаль, что меня укачало. Каждому человеку в трудную минуту нужен исповедник. Толик сегодня решил, что я пастор его прихода,— отчего бы не послужить людям в этом качестве?.. Но укачалась.

Ложусь. В нашей каюте кроме меня и научников еще девочка-алеутка, оба «бича», приבלатыканный, затем мужчина из этой же группы вербованных, но с лицом и руками рабочего, и две вербованные женщины — обе большие, с перманентом, серьезные, молчаливые, в широких байковых брюках и вязаных кофтах. Сидя за столом, они едят что-то сильно пахнущее, похожее на толстую лапшу. «Бич» с усами пристаёт к ним:

— А где вы, девчата, покупали кальмара?

Оказывается, это кальмар. Странное состояние укачавшегося,— хочется есть, аж под ложечкой сосет, и в то же время подташнивает.

— Иди. Не цепляйся,— отвечает одна из женщин. И, видя, что это не убеждает «бича», дает ему точный адрес: — Иди к...

«Бич» уходит. Я засыпаю. Среди ночи просыпаюсь: в каюте переполох.

— Это надо до такого скотства дойти! — кричит одна из научниц.— Животное какое-то, никогда не видела.

— Сейчас же оденьтесь. Оденьтесь! — тормозит кого-то дежурная.— Слышите, что я сказала?

В ответ — мычание, потом женский пьяный смех, сюсюканье, которое снова перекрывается голосом дежурной, призывающей кого-то одеться, а кого-то сейчас же выйти.

— Нельзя так, несхорошо,— убеждает дежурная.— Вы позорите этим свое искусство.

Почему она решила, что эти «бичики» имеют отношение к искусству,— непонятно. Или был какой-то опыт, повод к тому? Ввязывается одна из вербованных женщин, с грехом пополам укрывает снявшего с себя верхнюю одежду, но позабывшего, что нижняя отсутствует, Толика; выталкивает приبلудившуюся откуда-то пьяную женщину, цыкает на «бича», «позорящего свое искусство». Порядок кое-как водворяется, девочки-научницы, попищав, как разбуженные птицы, засыпают тоже. Тишина нарушается мощным храпом руководителя научных да периодическими вскриками Толика:

— Мама? Ма-ма... М-ма-ма!

Должно быть, ему, голому, снится, что он еще маленький, надо позвать маму, она укроет, пожалует...

И все.

На следующий день экзотика кончается,— видно, допивали на последнее. Утром Толик спит или делает вид, что спит, когда же я возвращаюсь после завтрака, его в каюте уже нет, и до самого конца путешествия на глаза мне он не попадается. Стыдно, наверное? Наверное, стыдно...

— Мы от него не ожидали,— говорит вербованная женщина.— Такой тихий, даже говорить не мог как следует. Водка...

— Мне сказал, что он ваш руководитель: везу, мол, ребят...

— Ну, Толик! — вербованная смеется.— Да мы тут

все одинаковые, бумаги подписали — едем. — И спрашивает у красивой тоненькой алеуточки Лиды: — Как, можно там заработать?

— Можно... — неуверенно говорит Лида и с сердцем дает подзатыльник дочке: — Не крутись, надоела хуже собаки! Сейчас за борт выкину!.. — Потом продолжает: — Мужчины хорошо зарабатывают, рублей по двести, по триста. На забое, на мездрении... Женщины выжимальщицами, считайте: три копейки шкура. Да если котик есть, можно заработать... Ты будешь вертеться? Ну, погоди!..

Лидиной дочке лет шесть, самой Лиде на вид лет девятнадцать. Отец ее татарин, мать — алеутка, коренная жительница Командор, отец приехал на Командоры давно, еще в тридцатые годы. Лида чернобровая, черноглазая, белозубая, похожа скорее на украинку, чем на алеутку. В красном кожаном пальто, красных японских ботиках, которые с золотой цепкой на подъеме (интересно, для себя японцы производят такую безвкусицу? Они нам и кофты продают, застегивающиеся на золотую цепочку, отделанные ни к селу ни к городу белым сутажом), в серых финских рейтузах, подстрижена по-модному, по-русски говорит без всякого акцента — южный быстрый говорок, сама быстрая, нервная, острая. Девчонка у нее такая же заноза, так что зря она ее дергает: взрослому тошно это медленное качание, не то что ребенку. Тем более что девочка от первого брака, новый муж Лиды — парень молодой, надолго ли хватит его великодушного терпения к приемным детям?..

Я глажу девочку по затылку:

— Ладно, не дуйся.

Она поднимает на меня туманные, полные обидой глаза — и вдруг рассиялась, забормотала что-то, закокетничала. Ребенок-оптимист, без рефлексий и комплексов...

Холодина, сыплет дождь, небо и земля закрыты серой хмарой — ноябрь, а не конец июля. К тому же ветер — даже в теплой куртке и свитере пробирает до костей. Лида говорит, пытаюсь произвести сильное впечатление:

— Ну, у нас, на Медном, бывает жарко: десять... —

Пауза, и как совсем невероятное: — Пятнадцать градусов...

— Пятнадцать? — удивленно ухватываюсь я за максимальную цифру. — У нас ранней весной пятнадцать, все в пальто ходим.

— А у нас разденутся, платье с коротким рукавом, загораем... Купаемся! — Опять пауза, после чего Лида говорит: — Муж солдатам-друзьям пишет: служить хорошо на Медном, сюда проситесь. На материке жарко: двадцать пять градусов!

Таким тоном я, вероятно, произнесла бы «сорок пять»... «Да не может быть, — думаю я. — Ерунда, не может быть, чтобы в июле — августе тут не было какого-то элементарного тепла, смешно. Ну не двадцать пять, так хоть восемнадцать градусов. Здесь же не Северный полюс, острова — на широте Москвы. Для холодов моя одежда не больно-то приспособлена...»

Забегая вперед, могу сказать, что когда я на Медном сошла на берег, мне дали теплую солдатскую куртку, до моего отъезда с островов я ее не снимала...

— Здесь влажность большая, туманы все время. Влажность девяносто — сто, редко восемьдесят, — говорит какой-то мужчина. — Если бы еще жара, жить невозможно, как в бане, представляете? А так — климат хороший, зимы теплые. Снежные, правда. Я вам скажу, кто привык к умеренному климату, тому на материке трудно. Приятель мой уехал на материк в отпуск: лето, жара около тридцати. Он помыкался-помыкался, дышать нечем. В погреб залез, просидел там три дня, снялся — и обратно улетел!

Господи, какие страсти...

— Птицы у нас много, — рассказывает Лида. — Рыбы всякой. А морские ежи какие вкусные!..

— Морские ежи?.. — изумляюсь я. — Разве в них есть что есть?

— О... — Глаза Лиды загораются, она сглатывает слюну. — Иногда они пустые, а вот в мае — июне, да и сейчас... В них икра. Попробуйте, приедете. Потом ракушки еще едим. Тоже вкусно.

— Устрицы, что ли? Сырыми?

— Нет, разные ракушки. В печке натомим, едим. Да приходите к нам, попробуете. Языки котиков варим,

из ласт котиков студень делаем. Трава есть у нас на горах, вроде как петрушка, только с красной каемочкой,— добавляем. Душистая... А цветов сколько... Приедете, потом вспоминать будете, скучать, вот увидите!..

Увижу...

Мы с утра стоим в Жупанове, туристов высадили, на пароходе остались только «свои» — те, кто по делу. На Командоры туристов не пускают. Утром при разгрузке утопили шестьдесят три мешка муки: прорвался кошель, сейчас ее вылавливают тралом, благо мука, подмокнув сверху, образует корку, сохраняясь внутри сухой. Матросы с плашкоута и наши тягают из глубей морских мокрые огромные мешки, мы ждем. Кое-кто ловит рыбу с кормы на поводок, попадается камбала, палтус, треска — скучная серая рыба, под цвет пейзажу. Вербованные женщины чистят ее, организуя себе обед.

Мы в общем-то все перезнакомились уже, доложили друг другу, «кто есть кто». Женщины, как и Толик, работали на строительстве Солнечногорска штукатурками, теперь вот завербовались сюда. Холостые, все умеющие, уверенные в себе: «Да не понравится — уедем. Что нам? На Север уедем, на селедку». Самостоятельные женщины. Опять же забегаю вперед, скажу, что на Беринге они устроились работать доярками, хорошо зарабатывают, прилично живут. Все умеющие, военного формирования, российские женщины — где их только нет, какой только нелегкой работенкой они не занимаются!..

Вроде бы мы с ними разговариваем и общаемся за просто: они берут у меня кружку напиток, я у них — зеркало причесаться, вроде бы никаких сложностей между нами нет. Но я почти физически ощущаю, что нас разделяет черта... Такие бабочки работали рядом со мной на заводе, таких я видела на стройках Сибири. еще до того, как туда приехали первые комсомольцы (а с ними и корреспонденты в большом количестве), с такими я спала бок о бок в общежитиях, о них писала лет десять подряд. Только о них. Правда, тогда между нами не было черты, мне не надо было прилагать усилий, чтобы выгладеть среди них своей, я и сама была почти так же одета, так же разговаривала, так думала.

Ну а сейчас, видно, пообтесалась, хотя и не замечаю этого. Что ж, тринадцать лет уже «в литературе», должно же это наложить какой-то отпечаток на мою среднерусскую, вовсе не интеллектуальную физиономию...

Хотя научники меня тоже не сразу приняли за свою: либо виновато мое вчерашнее тесное общение с Толиком, либо, скорее всего, «от одних ушла, к другим не пришла»... Здесь ведь судят не по одежке: одеты мы все более-менее похоже, судят по печати на челе. У меня ее, выходит, нет. И не будет уже, значит, теперь. Жаль...

Научники оказываются ботаниками. Двое из Москвы, из Главного ботанического сада: специалист по Дальнему Востоку, известный флорист Владимир Николаевич Ворошилов и сотрудник Лиля Плотникова. Галя Горохова из Новосибирска, тоже из ботанического сада, и фитопатолог Харри Карис из Эстонии. Фитопатолог — это человек, который занимается паразитами растений: грибами, плесенью, ржавчиной — всем, что живет за счет чужих соков. Харри — известный фитопатолог.

Владимир Николаевич — большой, рыхловатый мужчина с устремленным в себя вялым взглядом. Взгляд несколько оживляется, когда Владимир Николаевич начинает разговаривать с алеуткой Аней Буланниковой.

Аня укачивается, поэтому, заняв свою койку, едва мы отошли от Петропавловска, она не поднимается до самого Медного, не ест, не пьет. Впрочем, она не одинока: в соседних каютах многие местные женщины тоже лежат в лежку, хотя качки, по сути, нет никакой — так, небольшая зыбь. Видно, укачались когда-то на большой волне, а теперь рефлекс на запахи судна: краска, соляр, душный, застоявшийся воздух непроветриваемых, прокуренных помещений. Я-то ведь тоже лишь с прошлого года начала укачиваться, побывав на сторожевых кораблях близ Таллина. Три дня поболталась на рейде, на мертвой зыби, укачалась, а теперь, едва поднимаюсь на любое судно — плывет палуба под ногами, кружится голова. Кончилась моя мечта о поездке в Антарктиду через экватор. Месяц лежать пластом — какой в этом смысл и интерес? А жаль...

Так вот, Аня не поднимается, но разговаривать и



даже немножко кокетничать с Ворошиловым она может вполне. Она очень хорошенькая — эдакая полинезийка: выпуклый смуглый лоб, скулы, большой рот с крупными белыми зубами — модный рот; длинного разреза черные глаза. Тонкие смуглые руки — браслетов не хватает, не то была бы точно полинезийка или индианка с рекламных проспектов. Правда, когда Аня встает, она проигрывает: коротышка, нескладненькая. Алеуты вообще низкорослый народ. «Чистых» алеутов на островах не осталось, разве что два-три старика. Отец Ани — русский.

Аня любознательная, умная девочка, она хорошо помнит и знает цветы Медного: когда они цветут, отцветают, какие употребляют в пищу, какие на другие нужды. Владимир Николаевич жадно расспрашивает ее: у ученых очень мало времени, весь остров они обойти не смогут, вот Ворошилов и пытается заранее составить себе представление о флоре Медного — она почти не описана.

Я, свесившись со своей койки, слушаю. Ботаника — мое хобби, как теперь принято выражаться, а проще говоря, я еще со школы люблю ботанику, зоологию, орнитологию, минерологию... По-моему, очень интересно и необходимо знать, как и что вокруг тебя называется, как развивается, как, по каким своим законам живет, что с тобой сходно, а что различно. Свои удивительные тайны у природы, мало, в общем-то, разгаданные...

Молодые ученые слушают Аню вполуха, играют. Лиля донимает Гаю: толкает, задрав ноги, ее койку, Галя пищит, смеется. Харри — серьезный молодой эстонец с большим носом и светлыми прилизанными волосами — пытается участвовать в этом веселье, ему хочется, чтобы все выходило так же, как у девчонок, естественно, но через серьезность и замедленность темперамента нации ему все же не прорваться. Чувство юмора, впрочем, у него есть в достаточном количестве.

— Харри?.. — спрашиваю я утром в буфете, когда двое моих соседей опрокидывают по стакану «чая без заварки». — Эстонцы тоже пьют водку или только русские?

— Еще как! — Харри тихонечко, но очень весело смеется. — Еще как пьют!.. — повторяет он и замолкает,

не умея дальше подобрать слова.— Очень пьют,— заключает он и снова тихонько неудержимо смеется.

Кто ее, проклятую, не пьет...

Мы плывем и плывем дальше, по ходу судна справа и слева появляются кашалоты, пускают фонтаны; кувыркаются, сверкая белыми боками, косатки, все больше появляется совершенно незнакомой мне птицы: бакланы, топорки, кайры, ипатки, морские голуби — водоплавающая и, как утверждают, вполне съедобная птица. Кашалотов и косаток я, правда, еще не видела, обычное мое невезение: люди видят, я — нет. Ну, а птиц вижу даже я. Их бесчисленно. Скоро остров Беринга.

Я сижу на корме, на каком-то перевернутом ящике, и размышляю о том, что удобства цивилизации отнюдь не способствуют объединению людей. Отдельный номер в гостинице — и у меня не осталось в Петропавловске ни одной подружки. А из многокочных номеров старых сибирских гостиниц я увозила по шесть-семь адресов и сама раздавала столько же. Шесть-семь характеров, человеческих судеб навсегда оставались в моей памяти, хотя мы проводили рядом всего-то пять — десять дней. И тут тоже, если бы я ехала на комфортабельном судне, в первом классе, это было бы очень удобно, не утомительно, не грязно, но путь от Петропавловска до Медного был бы белым: ни Аниных рассказов, ни консультаций Владимира Николаевича, ни человеческого контакта, который установился у нас с младшими учениками — такого контакта, что я уговариваю их не оставаться на Беринге, а ехать на Медный, коли уж повезло и «Углегорск» пойдет туда. Обычно с Медным почти нет никакого сообщения: случайные рыбацкие сейнеры, которые по правилам пассажиров брать не должны. Владимир Николаевич, поразмыслив, соглашается (соблазнительно: Медный — белое пятно на ботанической карте). Я рада, мне будет хотя бы поначалу не так одиноко.

Я спрашиваю Владимира Николаевича про крашенинниковскую «сладкую траву», знает ли он, что это такое. «Как же! — обижается известный флорист. — Борщевник сладкий — так и именуется». В подкрепление своих слов он произносит какое-то латинское название. На дальнейшие мои расспросы он разъясняет, что ко-

жица стеблей этого борщевника богата токсиферолами — они-то и вызывают ожоги, когда ешь «сладкую траву» не обчистив. Однако при сушке или силосовании токсиферолы легко разрушаются, хотя, наверное, остаются эфирные масла — от них и происходило «дажежное» действие вина, приготовленного из неочищенных стеблей. Еще он говорит, что любой борщевник хорошо идет на силос, и, несмотря на то что он быстро забраживает, коровы его с удовольствием едят, заметно прибавляют удон.

Мне интересно слушать это.

Мы забираем на Беринге участников самодеятельности, едущих давать концерт для промысловиков, забираем местное начальство: секретаря райкома, директора зверокомбината, председателя райисполкома, директора школы-интерната, редактора местной газеты — они тоже едут на Медный, посмотреть, как идет подготовка к зиме.

Ну вот, через двенадцать часов я буду на Медном. Первый настоящий пункт моей командировки на острова...

**3** Подходим к Медному. Честно говоря, такого я все же не ожидала.

Садится солнце. Полосы белого тумана, объявшие горизонт, — в них, за ними, над ними — розовые скалы. Розовые с прозеленью — такого цвета старая медь. Вот почему Медный! Ползет туман, надвигающийся остров то проступает сквозь него, то скрывается. Розовые, точно цветущий персик, скалы и ярко-зеленые, как свежие листочки того же персика, полосы на них — никогда такого не видела!

Собственно, весь остров — это огромный монолит, одна огромная, высоченная скала длиной пятьдесят шесть километров и шириной пять — семь километров, кое-где разваленная неглубокими падами, кое-где море вымыло бухты. В одной из бухт стоит село Преображенское — больше населенных пунктов на Медном нет. Уже хорошо видно село: полтора, что ли, десятка серых домиков, брошенных в глубокую каменную ладонь. Сверху, с сопок, ползет туман, с боков тоже стягивает-

ся, влажно колыхается просвеченный солнцем туман. Покачивается длинными острыми полосами между выветрелыми зеленоватыми остатками скал. Впрочем, если точно, это я после разглядела, что зеленоватые, а сейчас цвет камня не виден: солнце сзади. Низкое, диск разъят высокой узкой скалой; по воде и вверх разбрызгивается свет — ослепляющий, темно-красный, напряженный. Та-та-та — будто скатывается по камням солнце, текут по черной воде синие маслянистые тени. Плюм!.. Все. Утонуло солнышко, малиновые полосы — по небу, в скалах сумерки. В Преображенском — давно сумерки.

Высадка с парохода довольно любопытная. Правда, после я повидала и похлеще, но пока она производит впечатление. Вещи наши летят с парохода на плашкоут, благополучно минуя то и дело разверзающуюся между бортами черную бездну. Затем в эту бездну спускают веревочный, выдавший виды трап — и все по очереди сползают по нему, отыскивая дрожащими ногами прилипшие к гладкому борту перекладкины. Повторяю, после мне подобные ситуации будут казаться детской игрой, а пока у меня тоже екает сердце, когда плашкоут, отыгравшись на очередной волне, отходит от борта, — и я повисаю, раскачиваясь на этом дохлом веревочном сооружении над глубокой и явно холодной водой. Наконец плашкоут тюкается о борт «Углегорска». «Прыгай!» — кричат мне. Прыгаю.

Идем к берегу. «Углегорск» остается далеко на рейде: здесь, у входа в бухту, полно подводных рифов. Зажигает в вечерних сумерках огни поселочек, если не самый маленький, то один из самых одиноких на земле. И оттого мне в нем заранее уютно, я заранее люблю его, я знаю, что мне там будет хорошо. Все будет хорошо, хотя сползается туман и точно мокрым полотенцем хлопает по лицу ветер.

Первым, кого я вижу, сойдя на медновскую землю, — это инструктор Никольского райкома партии Владимир Котов, встречающий прибывшее с нами начальство. Судя по валкой, чуть враскорячку походке и некоторой развинченности движений тела и конечностей, Котов — бывший моряк. Он стоит на лайде — так в этих краях называют берег, — высоченный, широколицый, с тем-

ным румянцем, в распахнутой телогрейке, в рубахе с расстегнутыми пуговицами,— и улыбается поражающей меня улыбкой. Не обычной, радушно-сдержанной, с которой все люди встречают гостей,— его улыбка как бы помножена на сто: расплзся неудержимо рот, побрались морщины возле глаз, на щеках, щурятся как-то по-шаллому глаза, косят в стороны... И не стоит он на месте, а будто пританцовывает, ссутулясь, раскачиваясь на лайде. Мне даже поначалу кажется, что Котов пьян, но не может же инструктор райкома встречать секретаря райкома в нетрезвом виде? И к тому же, как я узнаю позже, на Медном сухой закон: сейчас промысел, нельзя.

Ошарашенная этой безудержной улыбкой, запомнив ее, я уйду с Валентином Давыдычем Карпенко на заставу: я буду там жить.

Господи, какая тишина! Нигде уже нет такой тишины на земле: ведь даже над самыми глухими районами тайги пролегают самолетные дороги, самолеты летают по ним взад и вперед без конца. В любом захудалом поселочке есть хоть одна машина или трактор или еще что-нибудь передвигающееся на уровне двадцатого века. Здесь нет машин: некуда ездить, одни тропы через скалы; здесь не летают самолеты. Даже дизель кончил работу в двенадцать часов, потух свет. Тишина, тишина... тишина... Ходит часовой по двору заставы, я его не вижу, просто черное, непрозрачное пятно возникает в черноте — более черное, чем эта чернота. Небо кое-где очистилось, видны звезды. О лайду тихо хлопается море. «Углегорск» далеко на рейде тихо светит бортовыми огнями. Ах, как хорошо стоять на земле, на твердой земле!..

Правда, завтра снова предстоит поездка на рыбачьем сейнере «Елец» на юго-восточную часть острова: там сейчас живут промысловики, бьют котиков. Что поделаешь — иных способов передвижения на Медном нет, даже верхом не поедешь по этим скалам.

...Ничего похожего, на следующий день мы никуда не едем: «Елец» «обсох». Не успел до отлива отойти на глубину — и вот работают винты, только намывают песочек под киль, а сейнер ни с места. Сойти с мелкого он сможет теперь лишь по приливу, где-то в четыре-

пять часов, а забой котиков обычно происходит в двенадцать.

Приходит директор зверокомбината Фролов, распоряжается стягивать сейнер с мели. Якорь на шлюпке увозят, сколько хватает цепи, в глубину бухты, работают лебедкой — но якорь пашет по дну, не цепляет, его снова увозят и снова забрасывают, он снова не цепляет, потом наконец цепляет, — и мы, помогая машине, со сходней толкаем, раскачиваем сейнер, тем не менее, как и следовало ожидать, ничего путного из этого не получается. Тросом, соскочившим с барабана лебедки, задевает по щеке помощника механика, он, обливаясь кровью, бежит в больницу.

— Я говорил, ничего хорошего не выйдет, — сдержанно замечает Фролову капитан «Ельца» Давыдов, и по скулам катаются желваки. — Дурацкая затея.

— Почему не сошли вовремя?

— Разгружали.

Разгружали... Правильно, разгружать удобнее со схода, но ведь точно известно, когда прилив и когда отлив, известно, сколько груза привез сейнер и сколько приблизительно времени требуется для его разгрузки. Начали бы разгружать пораньше — и все в порядке. А теперь день пропал. Горит время: я всего-то рассчитываю пробыть на Медном четыре дня, впереди еще много дел, длинная дорога. Но, конечно, не обо мне речь: у сейнера летит целый рабочий день, чем они могут заниматься, сидя на мели? План, зарплата, как с этим?.. Ведь «Елец» должен был привезти шкуры в обработочный цех, тушки котиков на звероферму для песцов. Однако я не замечаю особого огорчения на загорелом лице Давыдова, пусть нынешний простой и не по его вине: грузчики — медновские, это они начали поздно разгрузку, но план-то горит у него. Не видит здесь трагедии и Фролов, хотя он явно сердит. Пропадаю я, со своей привычкой к московской плотности времени, к тому, что поезда и пароходы отходят более-менее точно по расписанию, и даже маленькие несерьезные предприятия ежедневно что-то все-таки производят... Здесь, как видно, иначе.

Ладно, со своим уставом в чужой монастырь не суются. Не солоно хлебавши, бреду по лайде к заставе,

услышав, как сзади Фролов спрашивает кого-то из грузчиков, почему утопили ящик шифера.

— А это лишний! — весело отвечает опрошенный.

Веселый народ живет на острове Медном!

Застава разгружает уголь. Утром пришел военный транспортный корабль, привез на заставу кое-какую мебель, кирпичи, уголь. Вчера допоздна солдаты разгружали уголь для поселка, его привез «Углегорск». Сегодня — для себя. Чувствуется — устали.

Начальник заставы работает вместе со всеми, очень молодой он на вид, худенький, с тонкой длинной шеей и напряженным лицом. Напряженным не оттого, что устал, а оттого, что ему трудно быть на людях, командовать. Он болезненно-застенчив и самолюбив, это написано у него на лице. Он покрикивает на солдат, сжимая губы в ниточку, и румянец пятнами проступает на щеках. Такого рода застенчивость — навсегда, это уже характер, а не отсутствие опыта. Опыта у Карпенко хватает: он восемь лет — сразу после действительной — на разной руководящей работе. То освобожденным комсомольским секретарем в старшинской школе, потом старшиной, потом замполитом. Опыта предостаточно... Интересно, можно ли при наличии опыта скрыть свой характер, свою застенчивость от подчиненных тебе людей?

Сегодня солнышко, и — хоть и холодно — солдаты разделись до пояса, у каждого на голову надет пустой мешок, спущен на плечи, чтобы тара с углем не ранила тело. Бегают по настланным доскам от плашкоута к сараю, бегают не потому, что резвятся, а потому, что уже устали, на пределе сил, хочется поскорее кончить. Все они, в общем, для меня одинаковы, все чужие, все кажутся неинтересными: нет каких-то заметных, бросающихся в глаза лиц — обычная толпа молодежи от двадцати до двадцати трех. Впрочем, вот этот запоминается: ширококостный, не высокий, а уголь таскать ему труднее, чем другим, заметно. Лицо доброе, глаза улыбочиво-жалкие, напряженные, уголки губ судорожно поджаты.

— Шурик! — окликают его. — Пронин! Захвати из сарая пустой мешок.

Шурик Пронин... А вот еще парень: высокий, длин-

норукий, тяжелоплечий, густоющие мохнатые волосы, глядит чуть исподлобья, но не зло, а настороженно. Улыбка — не поймешь: не то всерьез, не то усмехается. Этого я знаю, он кормил меня вчера ужином. Данила Матясов.

По лайде бредет трехлетний сын замполита Юрка. Дойдя до солдат, он подает Даниле игрушечный автобус, начинает что-то объяснять про колесо, которое отвалилось, хотя автобус новый. Данила в это время, сбросив уголь, возвращается по настилу вниз, лицо его покрыто каплями пота, грязно, он тяжело дышит. Берет автобус, прилаживает походя колесо, говорит Юрке походя же что-то ласковое, вроде: «Ты мой милый!..» Даже чудно слышать из уст такого здоровенного парня эти ласковые слова, видеть нежность в его глазах, глядящих на ребенка... Забываешь, что солдаты — обычные парни, которые соскучиваются здесь по невоенной жизни, где есть дети, женщины, ласковые слова, обращенные к более слабому, маленькому. А у Данилы дома остались четверо братьев и две сестры, он — старший...

Юрка берет починенный автобус и идет к дому, что-то объясняя дорогой самому себе. Человек он необычайно серьезный, разумный, все подвергающий сомнению. С ребятишками начальника он почему-то не играет, я не видела, чтобы играли.

Впрочем, обычно сыновья Карпенко играют вдвоем — пятилетний Андрей и трехлетний Саша, вон и сейчас они бредут потихоньку с лайды через мелкую речушку к дому. Здесь в поселочке все рядом, любое нужное место не больше как в семи минутах ходу. Саша волочет за крыло мертвую урилу (так тут зовут бакланов), Андрей идет несколько сзади, лицо у него рассеянно-серьезно.

Странное место — остров Медный, место-наоборот: дети — серьезные, взрослые веселятся...

Я подхожу ближе, Саша останавливается. Труп урилы кишит какими-то толстыми короткими червяками, они сыплются на землю, Саша давит их ботиком.

— Пауки,— говорит он.— Уползут — и птичка будет.

— Брось ее.— Я отбираю у него урилу.— Она плохая, мертвая уже. Она никогда уже не будет.



— Пауки...— повторяет Саша и с сожалением смотрит на отброшенную птицу. Я понимаю, что стоит мне уйти, он снова с удовольствием примется освобождать ее от «пауков».

— Андрей, уведи его домой,— говорю я старшему.— Это грязная птица, не давай ему трогать ее. Он еще не понимает, а ты большой.

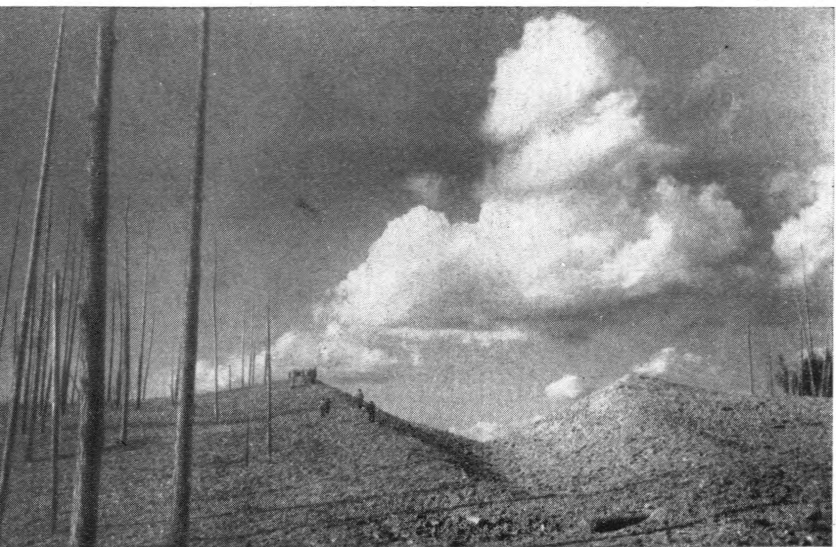
— Грязная...— пронзительно задумчиво Андрей, глядя светлыми и напряженными, как у отца, глазами.— Не понимает...

Братья очень похожи друг на друга и на отца, но старший поглубже лицом, поспокойнее, поразумнее. Сашок нервный, довольно хорошенький, плакса. А глаза у обоих отцовские — напряженные, неуверенные. Трудно им будет с людьми, замполитовскому Юрке легче. Юрке не надо преодолевать внутреннее сопротивление, чтобы подойти к любому человеку и заговорить с ним, попросить застегнуть пальто, взять на руки или починить автомобиль. Между ним и человечеством не существует перегородок, он — овца из общего стада. Девять человек из десяти возьмут его на руки и застегнут пальто и улыбнутся, починив автобус. А Сашок будет стоять, оцепенев, глядеть на незнакомого человека, очень желая подойти к нему и не в силах перешагнуть через что-то, чему он еще не знает названия. Ему будет трудно всегда, потому что, если человек подходит к вам с просьбой, заранее ожидая, что вы ему откажете, и страдая на ваших глазах от этого предполагаемого отказа, унижения, с ним связанного, — вы действительно колеблетесь (раз он не уверен, значит, не имеет на то права) и отказываете. А если о том же просят, как о само собой разумеющемся, вы в девяти случаях из десяти удовлетворяете просьбу... Впрочем, возможно, как раз на военной службе и удастся скрывать это свое неполноценное естество? Раз ты начальник — приказывай, подчиненные выполнят. Приказ командира обсуждению не подлежит...

Иду по лайде под кекур. Так называют здесь большой нависающий камень, который слева заключает бухту. По Крашенинникову — кекур — каменная коса, я думаю, что и здесь слово это значило то же, а потом изменило значение: при отливе под кекуром как раз



**Первый поезд.**

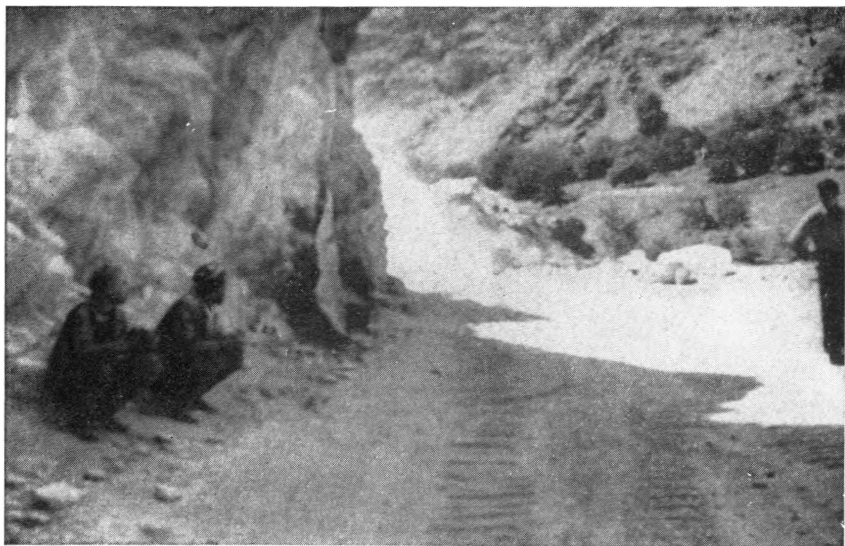


**Подготовка трассы.**





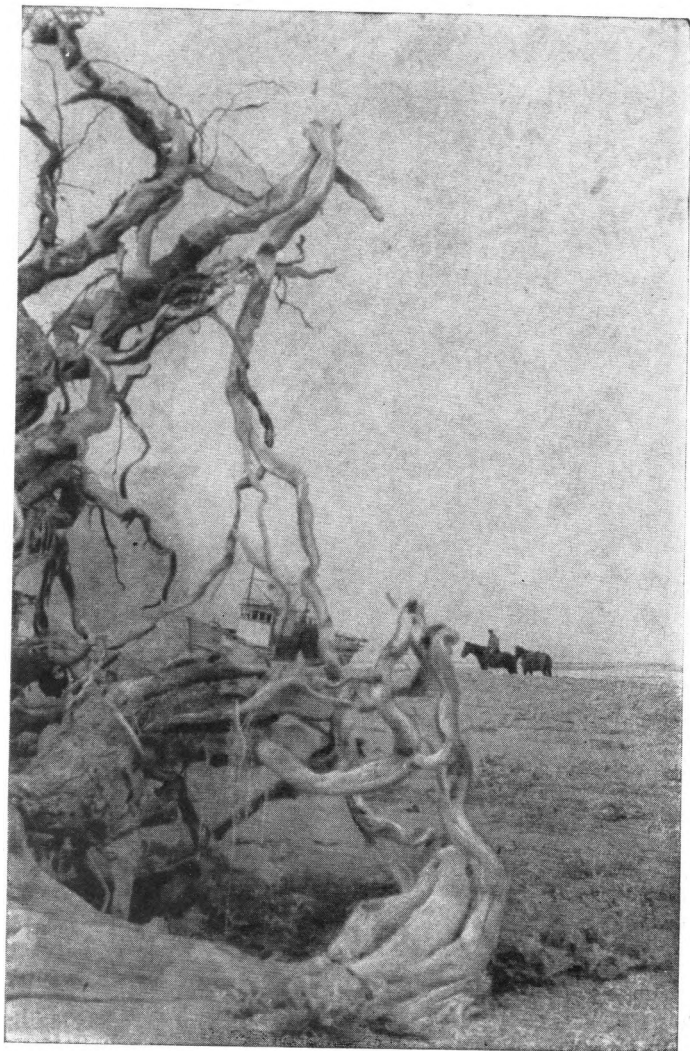
Памирка.



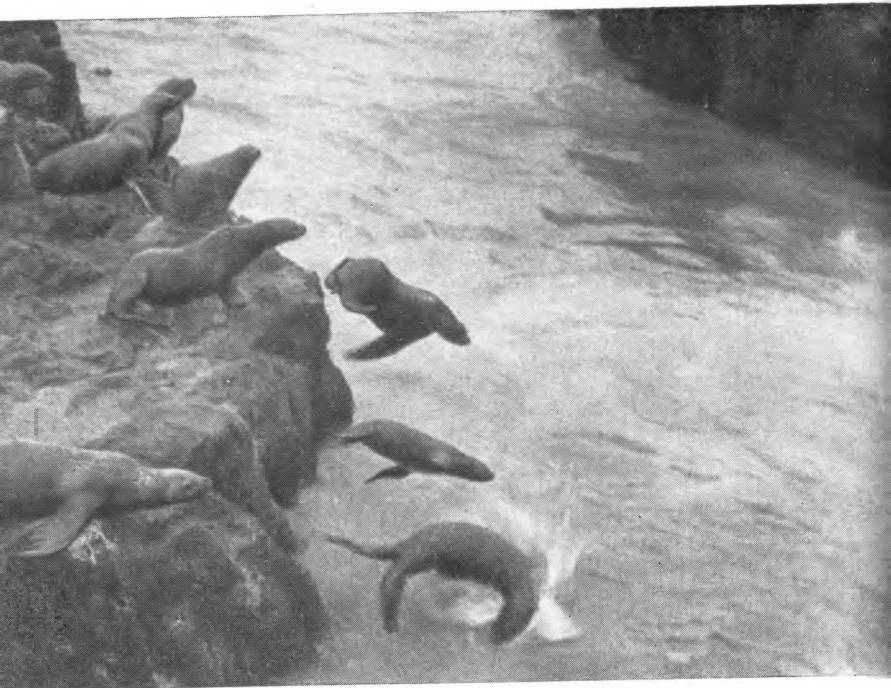
**Перекур на дороге жизни.**



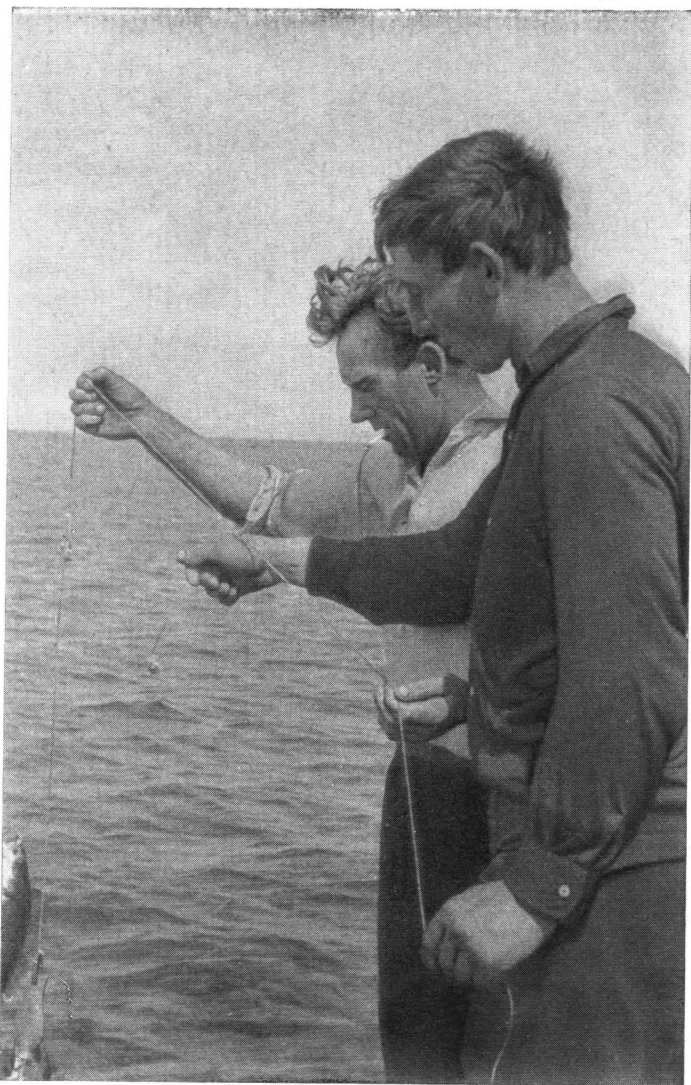
**Посадка.**



На океанском берегу.

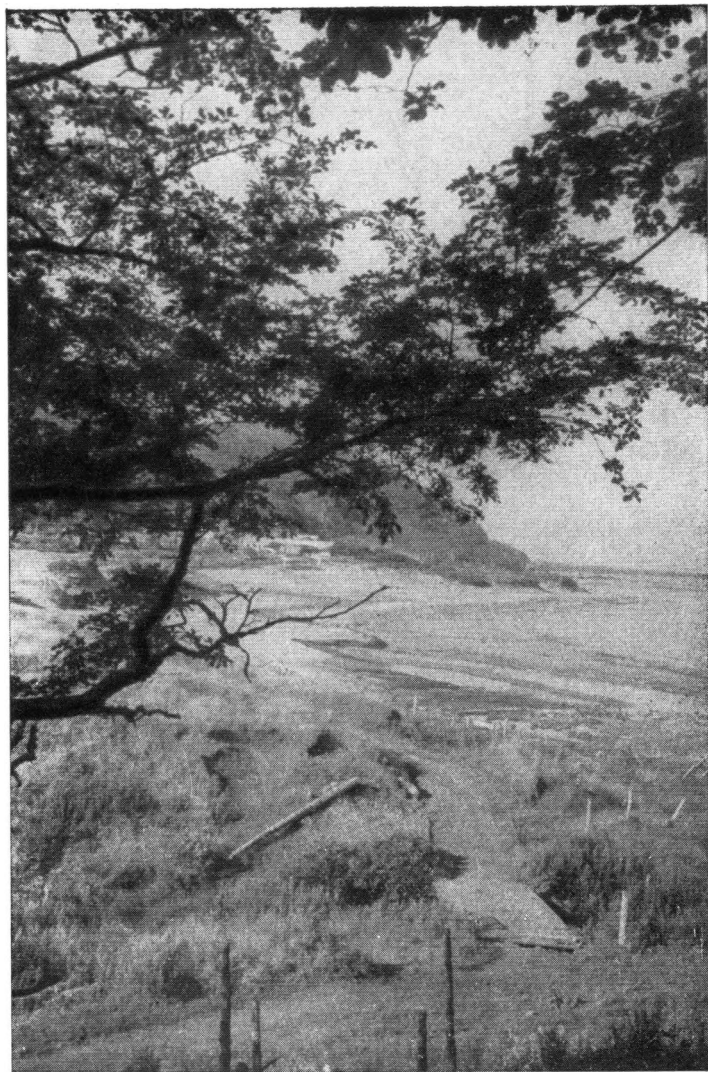


**Командорские котики.**

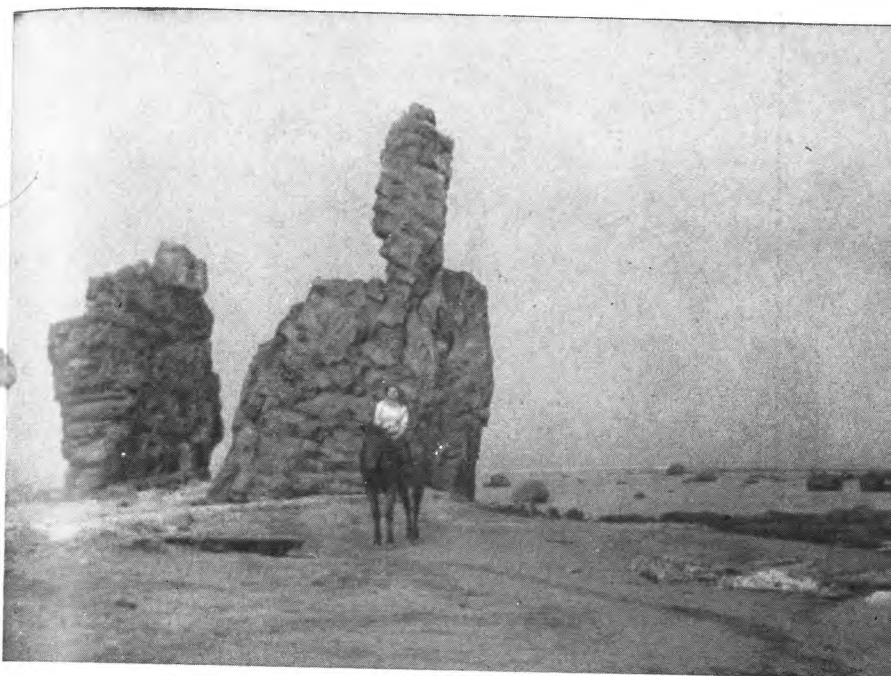


**Капитан Николай Семенович Давыдов и старпом  
Виктор Михайлец.**





**Курильский пейзаж.**



**«Два брата».**



**Тетя Саша из деревни Волково.**



Церковь в Великом Устюге.



**Русский пейзаж.**

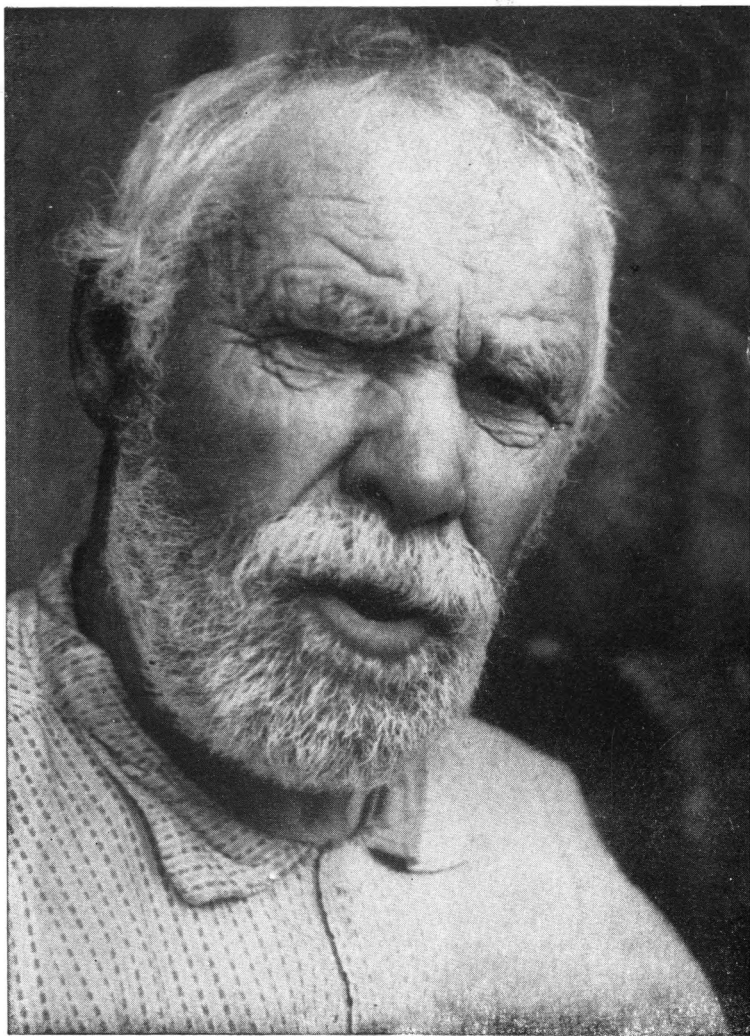




**Ольга Егоровна и Вера Федоровна.**







**Николай Алексеевич Бушковский.**

обнажается длинная, далеко вдающаяся в море каменная коса. Коса гладкая как асфальт, идти по ней — одно удовольствие. В углублениях колыхается коричнево-улыбчивая, пронизанная солнцем, вода, там ползают раки-отшельники со своими раковинами, морские ежи. Очень смешно смотреть, как ползают ежи. Катится, вернее, скользит по дну, точно бы влекомый ветром, такой колючий зеленый шарик: ни начала, ни конца — шарик! Вытащишь его, положишь на камень, думаешь: должен ползти в эту сторону, а он неожиданно попер в прямо противоположную — и плюм в воду! Удрал. Я так и не решилась их попробовать, хотя видела, как люди ловко раскалывают ножом хрупкие панцири, выпивают содержимое. В них много йода и белков, но уж очень они пахнут этим йодом и белками. Океаном, как тут говорят... Рассказывают, в незапамятные времена начальник здешней заставы спас солдат от цинги тем, что заставлял есть ежей. Возможно...

Попадают морские звезды — красные, серые, синие, пятиконечные, трехконечные, шестиконечные... А еще бывают огромные, круглые, с двенадцатью лучами, похожие на солнце. Они так и называются — солярис... К стенке бочажка прилепились актинии, темно-красные, как георгины, грубовато-красивые, шевелят щупальцами, — похоже, точно лепестки водой колеблет. Я слышала, что они питаются всякой живой мелочью, но не видела. Не поверишь, раз не видел: цветок и цветок... Рифы облеплены семействами раковин — белыми, высотой с катушку, усеченными сверху, как вулканы, коническими, мелкими, — эти-то как раз и едят. Называются эти ракушки пателлы, но здесь их именуют алеутскими семечками: сушат в печке и едят, как семечки. Говорят, вкусно.

Через горы переваливает и начинает ползти вниз белыми узкими струями туман, скоро он полосами пронизывает поселок, крыши домов уже скрыты в тумане, а внизу еще солнце. Опять наоборот: у нас на лугах и по рекам туман внизу — здесь сверху...

Тут, на косе, тоже еще солнце. Рядом на камне прыгает крохотная птичка, ее и не разглядишь как следует: размером в два шмеля. Я по своей близорукости даже думала, что это просто точки плывут в гла-

зах,— бывает ведь так, пригляделась: нет, птаха. Я читала про нее, это качурка и весит всего тридцать пять граммов. А вон еще—побольше, с воробья. Когда вспархивает, похожа на бабочку: белая, а кайма крыльев черная, и какие-то полоски на спине и голове тоже черные. Воробьев же здесь нет. Ни воробьев, ни змей, ни паровозов нет на Камчатке. В кино, обычно, кричат: «Камчадал, смотри, паровоз! Камчадал, воробей...»

**4** Едем на Юго-восточный. Низкие облака, морось. Красивые розовые скалы медновские почти закрыты туманом, кое-где проглянет, качнется розовое пятно — и снова затянуло. Но это хорошо: в солнечную погоду котики на лежбища не выходят.

Почему-то я очень волнуюсь. Мне кажется, что обязательно что-нибудь произойдет: либо котики не выйдут на лежбища, либо выйдут, но мало, и тогда забоя не будет. Раз забоя не будет — мы на лежбища не пойдем. Мне очень хочется увидеть котиков, и даже не буду врать, что для дела. Дело делом, само собой, но я просто очень хочу увидеть котиков, вылезавших из моря, лежащих на берегу среди камней, ползающих, живущих — подобно как это было вчера, сегодня, сто, триста лет назад.

Котиков хочется увидеть не одной мне — всем пассажирам «Ельца». И вообще люди, туристы рвутся сюда с материка только с этой целью: увидеть котиков. Я, кстати, давно уже заметила распространенное весьма человеческое свойство — любопытство к незнакомому живому. Проплывают в океане косатки, все бросаются к борту, смотрят, глаза проглядят, пока косатки не скроются. Дельфины, кашалоты — опять бросаются все без исключения: молодые, старые, злые, добрые. Смотрят, радуются, кричат, ведут себя смешно, неразумно. Почему? Интерес к новому?

Но вот, допустим, в Авачинском заливе прошла наша подводная лодка, видно было перископ, кто-то подбежал, посмотрел, а кто-то и не пошел: подумаешь! Или, например, дерево какой-то необыкновенной красоты либо необыкновенного безобразия — кто-то остановится, смотрит, а кто-то нет. Но скажи: медведь по

берегу ходит, или слон, или еще кто — каждый побежит, будет смотреть, забыв себя, ловить малейшее движение.

Любопытство к другой жизни живет в каждом человеке, тут выключается разум, работает древнее чувство. И не инстинкт охотника, а не осознаваемое желание найти себе брата в мире. Так человек приручил собаку, лошадь, скворца и попугая, слона и мангусту. Не столько из желания извлечь из этого пользу, а из желания расширить круг общения. Потому-то мы с такой сентиментальной радостью поверили в человеческий разум дельфинов, что все еще живет в нас этот древний тоскливый зов: найти себе брата. Охотничий инстинкт — от нужды, от голода, а вот это оттого, что у человека есть сердце.

— Вон котик, глядите, — говорит мне капитан. Я стою рядом с ним в рубке: на палубе холодно, волна летит через нос на корму. Начальство и участники самодеятельности спустились в кубрик: кто спит, кто играет в домино.

Из воды высовывается и снова прячется круглая голова, потом взлетает черное мокрое тело и снова вонзается в воду. Точно белка с дерева на дерево. Снова выскакивает — и снова в воду. И вдруг прямо рядом с сейнером проходит косатка. Выворачивается из волны и плавно, будто вся она — медленно вращающееся колесо, уходит в волну, великолепно сверкнув черной спиной с острым, торчащим вверх плавником, белым боком.

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Пил вино, валялся на траве,  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове...

— Вы не знаете, — спрашивает Николай Семеныч, — поэта, он песню написал, там слова такие есть: почему твои рыжие брови в эту ночь мне уснуть не дают?

— Не знаю.

— Я когда первый раз услышал эту песню, поразился: всегда поют черные или там соболиные, а тут рыжие. Не знаете? Ну ясно, ясно.

И мне ясно, почему капитана так задела эта песня.

У Николая Семеныча брови —точно два снопа соломы над голубыми, «моряцкими» глазами. Худые загорелые щеки, крутой подбородок с ямкой. Он невысокий, поджарый, ловкий, властный. Я не слышала, чтобы кто-то из команды пререкался с ним. Впрочем, вернее всего, они просто дружно живут. И команды-то четыре человека: старпом Виктор Михайлец, боцман Виктор Шешенко, юнга Виктор Болтенко, сын секретаря райкома. Ну, а механик, для разнообразия,— Юрий. Фамилия его Барсуков.

Механик, пожалуй, самый молчаливый человек на «Ельце». Я ни разу не слышала за все свое пребывание на этом судне, чтобы Юра сказал больше пяти слов кряду. И вообще он либо сидит на палубе, свесив ноги в свое машинное отделение, либо стоит, высунувшись по плечи из машинного отделения, либо, наконец, его нигде не видно: он в машинном отделении. Бывают, правда, еще варианты — Юра ест и Юра спит, но это редко: помощник в больнице, Юра в машине один. Ему трудно.

Юнга Виктор — веселый смазливый парень, не дурак выпить, несмотря на молодость лет. Он студент техникума, подрабатывающий во время каникул. Хоть Виктор и сын секретаря райкома — фигуры, едва ли не самой главной в этом далеком от разного другого начальства краю, он не избалован. Безотказно драит палубу, моет гальюн, топит железную печку в кубрике, так что там нечем дышать, но, видно, когда намерзнешься на вахте, приятно войти в такое вот прокуренное, тяжкое, как удар топора, тепло. Метет пол и моет посуду.

Ну, а про двух других Викторов — старпома и боцмана — речь впереди.

Через четверть часа мы прибываем на Юго-восточный.

Чтобы добраться до поселка, где во время промысла живут забойщики, нужно преодолеть лестницу в триста восемьдесят (если я не ошибаюсь) ступеней. Поселок — на скале. Три или четыре изящных коттеджа, удобно оборудованных, — все вполне современно. Зверокомбинат — очень богатая организация, хотя вспоминает он об этом лишь в крайних случаях.

Возле первого домика стоят и сидят на ступеньках, покуривая, забойщики. Я узнаю их по длинным палкам — столько раз уже описанным в печати орудиям производства.

Есть среди забойщиков несколько пожилых алеутов (от алеутов перенимали когда-то наши специалисты технику забоя и выделки шкур), но большинство — молодежь. Толкаются рядом и трое мальчишек лет по двенадцати. Неужто и эти ходят на забой?

У многих — белые вязаные перчатки. Молодой курчавый парень советует мне насмешливо:

— Если с нами хотите, попросите перчатки. По веревке спускаться — руки обдерете.

— По веревке?..

— Да, метров семьдесят.

И во сне не видела себя альпинисткой.

— Да и вообще, пока вы дойдете, все кончится. Я видел, как вы по лестнице поднимались.

Тоже верно: порок сердца у меня еще с войны. Выходит, предчувствия не обманывают, котиков я так и не увижу?..

— А вы чего ждете? — спрашиваю я, поразмыслив.

— Разведка сейчас придет. Если мало зверя на лежбище — не пойдем.

— Какой тропой вы ходите?

Мне показывают тропу по горе вверх. Я зову Володю Соловьева — редактора местной газеты, и мы с ним уходим раньше забойщиков: если пойдут, они нас догонят, не пойдут — подождем и вернемся. Володя тоже далеко не альпинист...

Идем. Влажность, по-моему, сто пятьдесят. Дождя нет, но лицо, руки, куртка — все мокрое, да и спина мокрая: жарко, хоть и холодно, — такой парадокс... Дышать нечем, к тому же ноги вязнут: на скале, на верхотуре, — чернозем, почти болото. Цветет все вокруг. Просто несчетное количество разнообразнейших, совсем незнакомых цветов. Моих ботаников бы сюда! Но они, облазив горы возле Преображенского, уже уехали, а нам некогда разглядывать цветы.

Наконец подъем окончен, начинается спуск — это еще хуже. Спуск довольно крутой, а под ногами ползет грязь и мокрая трава. Полосы тумана движутся — и

внизу, между ними, открываются скалы, белая пена прибоя. Бухты сверху кажутся крохотными.

— Смотри,— говорит Володя.— Это гаремы.

Я сажусь. Во-первых, уже нет дыхания, а во-вторых...

Справа, глубоко внизу, то возникает из тумана, то снова пропадает бухта. И оттуда, по этой каменной трубе, идет к нам вопль. Многоголосый, безнадежный, напоминающий то ли бляение огромного овечьего стада, то ли хоровое пение несметной толпы в огромном костеле. Вопль этот то ударяется о нас, словно пар из котла, то тает, скрадываемый очередной полосой тумана. И внизу, словно в сером дыму, копошатся на камнях — черви? Люди? Не звери — у зверей осмысленные движения. Копошатся, извиваются — и вопль. Грешники в Дантовом аду. Первый круг ада — язычники, обреченные безвинно на муки вечные. Их там несть числа...

— Это гаремы,— повторяет Володя.— Секачи с самками и «черненькими» — малышами этого года. Гаремы не трогают. Пойдем, а то забойщики уже рядом, слышишь?

Забойщики и все остальные легко нас догоняют, перегоняют, уходят вперед, но перед последним спуском садятся, прислушиваются. Мы подтягиваемся.

— Там!..— говорит бригадир Солонин — пожилой, с лицом крестьянина, лишний в этой толпе.

И — рывок. В полном молчании, будто даже не дыша, несутся забойщики, следом за ними, тоже с палкой, бежит высоченный Владимир Котов (мне кажется, что на его лице и сейчас мелькает та самая щедрая усмешка), за ним — секретарь райкома Василий Романович Болтенко, потом ребята и девчонки из самодеятельности. Замыкаем мы. Бежим, забыв про все, про то, что с успехом можно загреметь вниз, добегаем до спуска, где веревка, — это последний, в бухту. Забойщики соскальзывают по ней привычно, мгновенно, остальные — чуть медленней, спускаюсь и я. Мне все равно сейчас, лишь бы не опоздать.

Бухта. Темная, стиснутая черными высокими скалами, в нее глубоко вдается заливчик. И забойщики со своими палками, разделяющие стадо торопливо пере-

катывающихся между камнями котиков: надо отогнать секачей и самок, их не бьют. Бьют только молодых самцов.

Уходят секачи и самки, шумно дыша, проносятся мимо людей, бухаются в воду, и начинается...

Какие они, котики?

Я не вижу. Мечется между камнями черная, собранная страхом масса — похоже как люди на черном поле под самолетным огнем. Влево. Вправо. Качается черная мокрая масса — и рев. «О-о-о!» — уже не рев стада, не пение в хоре — предсмертный вопль. И удары. Смерть выбирает не спеша: удар по круглой голове в переносицу, голова дергается, туловище кренится набок, выпрямляется. Удивительное мускулисто-гибкое туловище, точно все оно — одна шея, движется разом, перетекая внутри мускулами, как бы пресмыкаясь. И мех темно-коричневый с седыми волосками, мокрый, грязный — за этот мех убивают? Еще удар — и котик, дергаясь, лежит на камнях, к нему подходит человек с ножом (это Владимир Котов), делает надрез по животу, отделяет края шкуры, затем вспарывает живот — вываливаются внутренности, сердце — оно еще пульсирует, его надрезают — фонтаном бьет кровь... Вся бухта залита кровью и мочой, сапоги скользят, тяжело дышать. Берут тушу: один держит, другой стягивает специальными клещами шкуру. Со стороны это выглядит довольно легко: точно мокрый чулок, прилипший к ноге. Шкура с мездрой тяжелая, грязная, окровавленная. Ее бросают мездрой кверху на кучу других. Все...

За скалой спряталось еще небольшое стадо котиков, голов двадцать, с ними секач. Огромный, седой, уса-тый, тяжелый, он рычит, ревет, обнажая желтые крупные клыки; ревет... — и, беспомощно скользя, пытается лезть на скалу, цепляется лапами за выступы, тычется в нее жалко и убого, пытаюсь уйти, за ним лезут, соскальзывают котики поменьше. Мальчишки с палками отгоняют их от скалы, заворачивают стадо на забойщиков, и эти огромные клыкастые туши покорно текут навстречу смерти, не сопротивляясь, не пытаюсь защищаться.

Вот черненький, отбившись от стада, вроде бы не замеченный никем, молчком жалко хлюпает к воде, весь



он — страх и стремление выжить. Ушел... Но их не бьют, иначе бы не уйти.

А в бухте уже все кончено. Гора шкур, бело-розовые тушки с круглыми странными головами — если человечество выродится после ядерной войны, то под землей, спасаясь от радиации, будут жить люди вот с такими маленькими круглыми головами, стесанными затылками, безвольными подбородками.

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Пил вино, валялся на траве,  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове...

«...Когда бог-отец, допросив меня о том, что я в жизни сделал, станет затем допрашивать, что я видел, то есть, чему я был причастен своим зрением, он, несомненно, задаст мне вопрос: «Скажи мне, мое создание, которое я сотворил разумным и человеческим, видел ли ты когда-нибудь бой быков на арене или же пять огромных голодных псов, разрывающих на части старого осла, тощего и беззащитного?..»<sup>1</sup>

— Увы, господи,— отвечу я,— я видела худшее: забой котиков...

Когда на львов, или тигров, или даже на соболя — это все-таки поединок: кто — кого. А тут убийство. Убийство глупых младших братьев... Раненый медведь страшен, раненый лось бросается на охотника, даже крыса, попавшая в ловушку, кусается, визжит, пытается спастись. И только человек перед лицом смерти так покорно-угодлив, все еще надеется обмануть, умиловить безносую, подластиться, подсунуть другого...

Вот такие дела... А теперь предстоит путь наверх, о нем подумать невозможно: дрожат руки и ноги, болят содранные при спуске ладони. Тем не менее — надо идти. Володя Соловьев уходит с инспектором рыбнадзора Томатовым другой дорогой, зовет меня, Болтенко останавливает:

— Там даже веревки нет, карабкаться на скалы надо, не ходите.

Редактор с инспектором уходят, и после редактор бу-

---

<sup>1</sup> Дневник Гонкуров.

дет рассказывать, как рядом на берегу лежали спящие котики, и они, проходя мимо, шутя хлопали их по лапам. Ну, а инспектор, в свою очередь, припомнит, как втаскивал редактора на скалу и тот в изнеможении лежал, раскинув руки, точно распятый, а от лысины шел пар... Каждому свое.

Начали подъем и мы. Лысины, к счастью, не имею, но подъем был веселый.

Сыто живя в городах, мы теперь забываем, какое это все же наслаждение, найдившись по полям и весям, прийти домой (под какую-то крышу) и напиться просто хотя бы чаю с хлебом. Забываем, теряем умение наслаждаться малым, потому уныло, скучно живем — приелось все. Надо возвращаться назад, вспоминать. Вот ради этого и я за туризм, но опять-таки не поточный...

После чая — разговор о том, что у котиков начинается линька, и план комбинат взять не успеет. Опять не успеет! В этом году ученые снова дали неверный прогноз о численности стада, — зависили план, и получается, что сработали на дядю. По конвенции мы и американцы (которые тоже добывают котика на Алеутских островах) отдаем часть добытых шкур японцам. Японцев действительное количество добытых шкур не интересует (оно бы их интересовало, если бы они узнали, что шкур добыто больше), им подавай договоренный процент от предполагаемого плана. Но вот уже второй год комбинат не успевает взять до линьки нужное количество котика, выполняет план на семьдесят пять процентов, а японцам отдает процент со ста. Прямой обидный убыток. Но нет квалифицированных, настоящих научных кадров по коту. По норке теперь есть, и рентабельность зверофермы сразу увеличилась, а по коту — нет. На Командорах же котиковый промысел — главное.

— Ее мездришь, а шкура уже синяя, — говорит Томатов. — Началась линька, луковица слабая, я смотрел... А как-то у меня был случай, сейнер не пришел вовремя, шкуры перележали, дернешь — волос лезет. Ребята в панику... В море положил, час побыли — и закрепился волос. Это меня еще Яковлев Алексей Степанович учил, алеут...

Томатов объясняет мне, по каким признакам в стаде отделяют самочек: внешне они абсолютно неотличимы,

у самок только клыки тоньше. Тут надо иметь очень опытный глаз, чтобы не ошибиться. Впрочем, ошибки все равно неизбежны: в этот раз, например, забили четырех самочек. Во-первых, жаль из-за будущего потомства, а главное, самки все покусаны секачами — шкура плохая... Томатов рассказывает, как однажды из-за сильной волны сейнер не смог подойти, — бригада на себе вытащила из бухты (по тому самому подъему) триста пятьдесят шкур. Рассказывает еще какие-то случаи, когда бригада попала в трудное положение и вела себя достойно. А мне даже записывать не хочется, не хочется узнавать подробности жизни и быта этих людей — я писать о них все равно не буду. Почему?.. Ведь это труд, за него платят деньги, они не браконьеры, эти бравые ребяташки. И я по природе вовсе не сентиментальна, смотрела спокойно на все, что происходило в бухте: к тому же не вегетарианка, ем мясо и, между прочим, зимой ношу шубу. Не котиковую, конечно, но какая разница... Тем не менее у меня до сих пор чувство, что там, в бухте, происходило что-то стыдное, незаконное, мне неловко глядеть на забойщиков. А уж мальчишкам-то, сыновьям забойщиков Толе Зайкову и Ладыгину Антону, вроде бы совсем там не место. Хотя то ли еще они здесь видят в свои двенадцать лет!..

Короче говоря, мне хочется скорее уехать, чтобы не «делать вид». От журналиста всегда ведь ждут распросов, дотошного выпытывания подробностей. Не хочу. Я и не предполагала, что такое может быть со мной.

Ну вот, участники самодеятельности наконец готовы, кровати сдвинуты, очищено пространство, достаточное для того, чтобы шесть человек (одновременно певцов, чтецов, танцоров) чувствовали себя свободно. И они чувствуют себя свободно, потому что не раз и не два выступали с тем же репертуаром перед той же аудиторией. Тут все свои. Но слушают внимательно, точно в первый раз, — не часты развлечения. А потом, и поют, и читают, и пляшут совсем даже не плохо, самодеятельность эта заняла второе место в области.

Главное, у них есть своя песня. Этим не каждый самодеятельный коллектив может похвастаться. Слова написал бывший работник местной газеты П. Емельянов,

но слова «пересочинялись», подгонялись всеми, кому не лень, пока не сложился более-менее окончательный вариант. А музыка, напоминающая протяжные русские песни,— Бориса Тютерева, того самого курчавого забойщика, который советовал мне надеть перчатки. Музыка хорошо легла к словам, песня пошла. Ее исполняют по местному радио, ее записывают на магнитофоны и просто заучивают приезжие. Значит, есть в ней что-то...

Я гляжу в необъятный простор,  
Предо мною скалистые горы  
И прибой жемчужный узор,  
Командоры мои, Командоры...  
Слышу я, как шумит океан,  
Гонит на берег волны седые,  
И густой, непроглядный туман  
С моря тянется в тундры глухие.  
Я теперь далеко-далеко,  
Разделяют моря нас и горы,  
Только жить мне без вас нелегко,  
Командоры мои, Командоры...

Слушают. В который раз ведь слышат, в зубах небось навязла, а слушают... Значит, цепляет. Борис Тютерев сидит на койке позади меня, выражение глаз у него насмешливо-нахальное, лицо неглупое, но и только. Никаких следов «поцелуя бога». Тем не менее было ему не лень взять аккордеон и подбирать к прочитанным в газете стихам мелодию. Если бы это была какая-то разухабистая песня, тогда понятно. А то — тоска по родине, по своей земле, где было трудно, где было хорошо,— было всяко, но тебя, точно журавля, тянет туда какое-то непонятное сто седьмое чувство... Выходит, есть у этого парня в середине что-то большее, чем просто желание заработать деньги любым способом, выпить, сходить на танцы (а образ жизни он ведет именно такой). Значит, есть это «нечто» — теплый уголок в сердце у него, у тех, кто слушает сейчас рядом с ним его песню, у тех, у кого отзывается это: «Командоры мои, Командоры...»

Вдаль по небу плывут облака,  
С тайной грустью я их провожаю.  
Может быть, они так же, как я,  
Приплывут к Командорскому краю...

Значит, есть теплый уголок в сердце, дотронувшись до которого можно заставить человека жить иначе, чем он живет... Но сложно это, хлопотно — дотрагиваться. И некому.

И все-таки мне легче становится, когда я вижу эти подобрешие грустные лица, затуманенные мыслью глаза. Я прощаю им то, что видела, и то, что увижу спустя неделю. Они не нуждаются в моем прощении — от него легче мне, а не им. Невозможно делается жить на земле, когда накапливаешь в себе кадр за кадром подобное кино...

На «Ельце» Николай Семеныч выдает нам «текст»: мы задержались, а уже вечер, и стягивается туман. Отходим сразу, идем на полной скорости.

Солнце село, но еще не темно, кажется, что светится вода — неярко, точно серый жемчуг. Волна есть, но какая-то внутренняя, не рвет поверхность, а перекатывается — словно кто-то возится там внутри под серой блестящей пленкой. Мы уходим довольно далеко от берега — и вдруг появляются котики. Сначала один-два, потом два десятка, потом сотня, а потом сотни котиков — всюду, куда ни глянешь, играют на воде. Точно стадо косуль, скачущих по поляне, — они так же легки, пластичны, прекрасны в воде — эти гибкие тени, взметывающиеся в воздух и без всплеска уходящие в море, снова взметывающиеся и снова ныряющие. Идут поодиночке, идут парами, ноздря в ноздю, не отставая друг от друга, словно лошади на скачках: выскакивают парно из воды, уходят в нее парно, снова выскакивают и снова уходят. По всему видимому полукружью моря взлетают над водой гибкие черные тени.

Сейнер везет тушки и шкуры забитых котиков. Может быть, это ритуальные прощальные танцы?.. Котики провожают нас долго, пока совсем не темнеет.

Я спускаюсь в кубрик. Здесь жарница, накурено, играют в карты. Но очень хочется спать, устала. Койки все заняты: девчата из самодеятельности давно спят. Я прижимаюсь сбоку к кому-то, задремываю, потом кто-то ложится у нас в ногах, кто-то рядом, на полу. Юнга Виктор приходит, подбрасывает в печку угля — это, по-моему, как раз то, чего здесь не хватало для полного сходства с душегубкой...

Просыпаюсь я оттого, что перестала работать машина. Гремит якорная цепь. Приехали, что ли?

По трапу спускается Давыдов, принося с собою кусочек свежинки и сырости, говорит:

— Видимость ноль. Минут пятнадцать не дошли до Преображенского. В бухту заходить не хочу, рифов много.

Спускается старпом и механик, уплотняемся еще. Гаснет свет. Тяжелое дыхание — и гремит, перекатываясь в клюзах, якорная цепь...

**5** Мы с Любой Карпенко собрались нынче на птичий базар в Бобровую бухту: тридцать километров в оба конца. Пойдем вдвоем, хотя ни она, ни тем более я там не были, но заблудиться тут нельзя: тропка — вдоль речки, в широком распадке, ни медведей, ни волков, ни лихих людей на острове нет.

Преображенское стоит как бы в чуть согнутой левой ладони. Если пойти прямо по главной ложбинке, наискось глубоко пересекающей эту ладонь, то придешь к океану минут через тридцать — сорок. Посередке есть место, где видно сразу океан и море Беринга. Если пойти направо и перевалить через гору, то попадешь в бухту Песчаную, откуда начинается путь в Бобровую. Мы так и сделали: поднялись по не очень крутой, но, на мой взгляд, бесконечно длинной тропе на вершину горы, закрывающей Преображенское справа, спустились в Песчаную и, посмотрев, как солдаты стаскивают в кучу плавник, набросанный по берегу, и вяжут плоты, двинулись в Бобровую.

Карпенко показал нам заросшую травой, еле заметную тропу (весной по ней ходили на птичий базар брать яйца, но с месяц, наверное, уже не ходит никто: птенцы повылупились), предупредил, чтобы мы старались с тропы не сходить: дорога идет по болотистой долине, встречаются «окна», затянутые сверху травкой. Попадешь — не выберешься. Я думаю, Карпенко не очень-то понимал, зачем это Любаше понадобилось тащиться со мной черт-те куда на птичий базар. Даже не потому, что это не имеет практического интереса: яиц не наберешь, — Карпенко вовсе не меркантильный человек. Просто он так устает, что ему диким кажется: люди за здорово живешь тащатся в такую даль.

— Валя, цветов наберу,— говорит Любаша и улыбается быстрой, доброй своей улыбочкой.

Цветов полно и рядом с поселком, Карпенко посмотрел на нас озабоченными, рассеянными глазами, повернулся и пошел к солдатам. Мы тоже пошли, стараясь не соблазняться бесконечным, даже в сибирской тайге не виданным мною, разноцветьем. Тропа, как ни странно, заметней не вблизи, а вддали: тоненькой черточкой, стежкой прошла она буйные, переполняющие долину травы. Любаша идет впереди и рвет темно-голубые, глубокие, как рюмки, колокольчики — один цветок на коротком стебле. Собирает в маленький тесный букетик и показывает мне издали.

Рядом журчит узенькая черная речка с торфянистым мохнатым дном, мелькают черными тенями гольцы. Мы то и дело пьем: Любаша спекла утром пирожки с фаршем из урил, пирожки вкусные, словно бы с печенкой, но хочется пить. Впрочем, пусть не обвиняют нас педанты-туристы, пьем мы не помногу — так, положем рот. И потом, куда нам спешить? Время — наше...

Удивительное это, прекрасное состояние, когда ты чувствуешь, что время — твое. То обычно оно придавливает, подчиняет, угнетает тебя, ты не забываешь об этой струйке неуклонно утекающего песка ни на мгновение, спешишь внутренне, начинаешь задыхаться, выбиваться из сил не от сделанного, а оттого, что ты пустился вперегонки, в непосильное соревнование с этим Утекающим... Падаешь в изнеможении — и вдруг постигаешь, что ты от него не зависишь, оно — твое. Спешка была иллюзией, болезнью, волшебным внушением. Живя медленно, успеваешь столько же...

Иду следом за Любашей по неуловимо выщелся вдоль речки тропе и чувствую, как рядом неторопливо течет время. И так же, как черные струи этой речки, оно течет мне навстречу, обтекает меня, утекает безвозвратно — и пусть.

С высоких, словно борта корыта, боков долины спускается тонкая треугольная пластинка тумана, пронизанная солнцем, останавливается над тропой. Сквозь нее проходит Любаша: над полоской сверху трясется голова в белом платочке, снизу мелькают быстрые ноги в коричневых чулках и резиновых сапожках; потом в нее вхожу я,

взглядываю вниз — ни колен, ни даже живота не видно в таинственной дымке, а кругом — солнце, разноцветье, голубое небо... Выхожу из туманной каши мокрая, на куртке влажные разводы, словно в ливень попала.

«Мы идем по вершинам ив» — такую кокетливую фразу придумала я для смеха, но мы и на самом деле идем по вершинам ив. Ими заросла тропа, словно подорожником. По форме их широкие листья точно похожи на подорожник, только более темные и чуть мохнатые сверху. Два прижатых к земле широких листка и сережка свечечкой торчит вверх, все — размером с обыкновенный подорожник: ива... Рядом с тропой заросли рододендрона — тоже переплеть коротких стебельков с мягкими, формой напоминающими брусничные, листьями, а из этой гущи поднимаются на тонких жестких веточках темно-розовые, как шиповник, восковые цветы. Похожи на камелию, очень красивые цветы. Есть на острове редкий желтый рододендрон, местные зовут его «кашкара», но он уже отцвел.

Бесконечно вокруг голубой герани, желтых купальниц, сиреневых небольших астр, ромашек. Колокольчики, которых нарвала Любаша, растут кучно: то тут, то там в темной зелени — голубое пятно, будто кто случайно семян просыпал. Крашенинниковская «сладкая трава», кустики рябины с грязными отцветшими соцветиями — тоже не выше колена, а черничник — до бедра, все перепуталось... Какие-то мне не известные розовые крестики, словно горсть конфетти; потом красно-лиловые свечки, белые, голубые, болотные, тоже как свечи по форме, цукута, желтые астры... С ума сойти, сколько цветов!..

Становится жарко. Я снимаю свитер, бросаю на тропу: на обратном пути подберу. Правильно алеуточка Лида говорила: «у нас бывает жарко: пятнадцать градусов!» В свитере и солдатской куртке слишком жарко, хотя сегодня всего лишь семь...

На изгибе речушки в общем фоне буро-зеленого кукушкина льна вдруг яркий кусок какого-то другого мха — ярко-желтого в розовых крапинках, точно шкурка нерпенка. А рядом кусочек чего-то странного, я выдираю его из мха: на тонких бурых ножках — крохотные круглые шляпки не шляпки, вроде как бы личики, окруженные тонкими красноватыми ресничками. Пахнет грибами это растеньице и патологически-красиво, если рассмотреть



как следует. Мы с Любашей начинаем размышлять, что же это: какая-то разновидность грибов (ведь грибами же пахнет!),— вдруг я замечаю полувывсосанную мошку, зажатую крохотными нежными ресничками. Росянка... Со школы знаю, что существует такое хищное растение, а вот увидела в первый раз. Растение?.. Я смотрю на росянку, росянка приглядывается ко мне, реснички напряжены. Ладно, этот кусок мяса тебе, моя милая, пока не по зубам... Я с некоторым злорадством сую росянку в карман куртки и иду дальше. Любаша смеется

До чего славная эта Любаша, есть же люди, обладающие талантом удивительной, ненавязчивой жизнерадостности... У меня была подружка в техникуме, утром, просыпаясь, она толкала меня и улыбалась: «Хорошо нам, Майка?..» И я чувствовала, что действительно хорошо, весь день шел после под этим знаком. И дело тут не в словах, слова может всякий сказать, дело тут в заряде этой ласковой веселости, что ли, доброй любви — не могу определить. И Любаша такая, повезло же Карпенко! Вроде бы некрасивая: вокруг глаз много морщинок — хоть и всего-то Любе двадцать четыре года; родинки какие-то нескладные, точно просо, зубы крупноваты, а все вместе — славное, приятно смотреть. Люба работает на метеостанции, ведет какие-то записи, измеряет температуру воды в море, берет пробы. Рада страшно, что работает, вечная проблема у жен пограничников — работа. Дома сидеть — с тоски помрешь. По профессии Люба бухгалтер, но бухгалтер на Медном не нужен.

— Пойдемте нынче со мной пробы брать на лайду, посмотрите, как вода светится,— напоминает Люба.

Идем, молчим. Хорошо... У Ганди по понедельникам был «день молчания», он накапливал энергию для важной работы; Пифагор молчал пять лет, жил внутренним своим, а накапливаемое, неразбазариваемое попусту электричество отдавал работе. Сколько мы тратим зря электричества на необязательные, нежеланные разговоры — энергия Братской ГЭС ежедневно уходит в мире в атмосферу. А слушать болтуна — наказание божье, из вежливости слушаешь, поддакиваешь не думая. А зачем?.. Взять бы себе за правило говорить лишь то, что необходимо, слушать лишь то, что действительно интересно,— так ведь обидятся! Скажут, молчишь из гордо-

сти или по глупости, не поймут, что из экономии своего или чужого времени... Вот на Древнем Востоке (если верить книгам) знали цену краткому, точному слову, там невозможно было наболтать себе авторитет...

Где-то я читала, что дикобразы в холодное время собираются группами и жмутся друг к другу, когда же они согреваются, то вдруг чувствуют, что их колют иглы соседа,— отодвигаются, снова замерзают. Такое сближение — отдаление происходит до тех пор, пока не бывает найдено наилучшее расстояние, при котором тепло и не колко. Бывают минуты, когда общество самого близкого тебе человека в тягость, но в то же время хочется, чтобы он был и рядом, в пределах досягаемости твоих душевных волн. И с другими людьми так же. Один человек жить не может, даже самый нелюдимый, но и все время на людях человек не может жить, даже самый общительный. «Одинокое полено не горит»,— говорят хакасы, я добавлю: излишек дров тоже тушит огонь...

Сколько же все-таки здесь травы — сочной, жирной, хоть на хлеб мажь. Сколько скота тут можно прокормить, одна беда: сушить сено трудно. Ясных дней в конце июля, в августе бывает четыре-пять, все остальное время туман, морось, дожди. Лето на лето, конечно, не приходится, но в среднем — так. И в этом году тоже было четыре за те полмесяца, что я тут пробыла. Конечно, при желании приспособиться можно: в Прибалтике, например, где лето куда лучше, и то ставят сушилка, на них трава провяливается, просушивается полегоньку, не прееет. Но это для здешних жителей слишком сложно.

Вчера мы ездили в Жировскую бухту посмотреть, какая там трава. Поездке этой предшествовал длинный хитрый разговор приезжего начальства с местным активом. Начальник зверокомбината Фролов предлагал поселковую корову забить на мясо, а молоко для детского сада и яслей пусть дает погранзастава от своих двух коров. «Можете вы выделить детям,—Фролов жал на последнее слово,—цельного молока? Мы солдатам заменим сгущенным. Можно это сделать для детишек?» И смотрел на Карпенко ясными наивными глазами. Карпенко хмурился, краснел: «Как так? Трава в поле, да не заготовить? Я сам, Котов, доктор накосим... Перевезите только. Вяленую возить или даже сырую, присолить не-

много, ничего...» — «Забить всегда успеем, — поддержал Карпенко секретарь райкома. — Надо заготовливать сено, а осенью решим, сколько скота оставить». Подоплека этих разговоров была ясна даже мне: Фролову не хотелось возиться с обеспечением поселковой коровы сеном. Надо выделять людей, давать сейнер и плашкоут для перевозки, — куда проще забить. Ну, а на заставе молоко не лишнее. Солдаты пьют досыта, и замполит с начальником берут по бидону домой. Как детям без молока? И остальным от цинги оно — одно спасенье.

На том и порешили. Вчера выдался ясный денек, мужчины взяли ружьишки, мешки для рыбы, Петр Буланников — отец той самой алеуточки Ани, которая на «Углегорске» рассказывала нам о цветах острова Медного, — завел моторку, и мы поехали.

Синяя вода, зеленые скалы, рифы, облепленные ракушками, морская капуста длинными многометровыми островами, раскачивающаяся на воде... Тарахтит мотор, летят брызги в лицо, через пять минут кожа становится шершавой от соли. И солнце... В Москве потом выяснится, что океанский загар куда труднее смыть, чем крымский...

Отъехали от Преображенской бухты, появилась птица. И началась пальба! Замполит, сидящий рядом со мной, бьет только глупышей: мясо у них нежное и рыбой не пахнет. Глупыши — это морские голуби, они темно-серые, размером с чайку и, в общем, на нее похожи. Такая же круглая головка на толстой шее, крылья полумесяцем, перепонки на лапах. Остальные бьют всех подряд: ипатак, топорков, кайр, урил. Урил попадается, пожалуй, больше всего. Шеи у них длинные, утиные, головы маленькие, когда урила сидит на воде — точно гадюка из травы голову высунула. Они крупные, мясистые, и пирожки с ними, как выяснилось, очень даже ничего...

Чем дальше, тем птицы больше. То и дело над самой лодкой проходит, распластав черные крылья, смешно поводя в воздухе головой, то урила, то глупыш. Между прочим, я не замечала, чтобы наши лесные птицы вертели в воздухе головой: летают собранно, целеустремленно. А эти поглядывают туда-сюда, и все равно: бах!.. Либо шлепается в воду, либо нет. Бывает, впрочем, третий

вариант: шлепается в воду и ныряет, такую оставляют в покое, нет смысла гоняться. Даже если убитая далеко упала, Буланников не заворачивает: бензина на обратный путь не хватит. Стреляйте, мол, так, чтобы прямо в лодку или, на худой конец, по ходу.

Лучше всех стреляет замполит — ни одного промаха. Доктор — тоже хорошо. Буланников и Котов — обычно: раз промазал, раз попал. А Карпенко мажет подряд, потом выясняется, что влет птицу он стреляет впервые.

— Командир, ты вставай, когда стреляешь, нос мешает! — подначивает Кравец. — Так, пух есть!.. Ого, молодец, нестись не будет!.. А, за бюллетенем полетела!.. Гляди, гляди, перина летит, стреляй!.. Ну, нестись не будет...

Комментарий к каждому неудачному выстрелу замполит выдает самый разнообразный, впрочем беззлобно. Скоро, однако, и Карпенко приспособливается, начинает попадать. За стяжкой обшивки лодки у него тоже появляются две урилы, глупыш, топорок, кайра. Добычу охотники суют носом за стяжку — все борта уже обвешаны птицей.

Красивая птица топорок: клюв красный, большой, как у попугая, щечки белые, сам черный. А кайры, или ары, как их тут называют, очень смешно бегают по воде: вдруг замашет мелко-мелко крыльями — и пузом таранит по воде, брызги только летят. Живот белый, голова и приопущенные крылья черные — чистый пингвин.

Едем. Плынут мимо розовые с прозеленью медновские скалы, бухты в белой кайме прибоя, колышется голубая, тяжелая, как нефть, вода. Холодно, и хотя солнце жарит нестерпимо, куртку не снимешь...

Почти никто уже не стреляет, наколотили свое. Я оглядываюсь. Котов, в старой ушанке, нахлобученной на розовый, обгорелый лоб, в старом распахнутом полушубке, щурится на солнце, улыбается, кажет белые зубы. Доктор в телогрейке и в ушанке, в буром свитере, болотные сапоги натянуты до паха, на подбородке щетина недельной давности, впрочем, это давно уже примелькалось: щетина. И доктор улыбается, щурится, на сухих щеках — продольные складки. Буланников держит руку на руле, полудремлет, не улыбается, но у него просто голова болит.

И вдруг я осознаю, почему такой веселый народ живет на острове Медном. У них — у единственных, наверное, на всем земном шаре — не существует никаких проблем, они ни о чем не думают, ни о чем не беспокоятся.

Ах, Медный, остров Медный — молочные реки, кисельные берега...

«...И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,— как они растут? Не трудятся, не прядут.

Но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!..»

Наконец-то я сподобилась увидеть людей и место, где живут по этим евангельским заповедям! Повезло...

Ну, а если всерьез, давайте разберемся. Все труды населения поселка Преображенского уходят лишь на то, чтобы немного помочь государству это население обеспечить. Уголь — разгружали для себя, для пекарни; горючее — для движка; продукты — для своего магазина, сено заготавливают для своей общей коровы. Да и то уголь наполовину им разгружали солдаты, за что зверокомбинат подарил заставе новый хороший приемник; сено будут косить опять же солдаты.

Летом в Преображенском работает мездрильный цех, заняты там человек десять. Сейнер привозит в цех шкуры ежедневно, привозит и тушки котиков, языки которых — вполне лакомое блюдо, и бесплатно. Ласты котиков, из которых готовят студень, можно заготавливать впрок, тоже бесплатно. Ну впрок можно насолить рыбы, только не ленись, а уж для ежедневного питания птицу и рыбу здесь только ленивый не добудет. Зимой в поселке сколько-нибудь преобразующего природу и окружающий мир движения вообще не производится. Раз в три дня пьяный возчик подвезет от склада уголь куда надо, да старуха пекарка со слезами уломает кого-нибудь принести мешок муки. И все. Что делают еще? Пьют...

Даже на охоту зимой мало кто ходит, правда, Кривец рассказывал мне, что он в свободный день цепляет на

валенки алеутские кошки, специально приспособленные для хождения по здешним обледеневающим горам, и, очень мало затратив энергии и времени, приносит домой штук двадцать белых куропаток. Но таких резвых в поселке немного: «Да ну, есть, что ли, нечего?..»

Зарплату они все получают тут хорошую: две материковских ставки, плюс надбавка. Доктор мне считал: «Материковский оклад сто сорок пять рублей умножить на два; да три надбавки...» Рублей триста пятьдесят, я думаю, выходит. Правда, доктор — единственный человек в поселке, кому зимой дела прибавляется, и вообще тут врачу хлопот хватает самых неожиданных. Когда он после окончания Хабаровского мединститута попал на Медный, первый его больной умер от инфаркта, правда, не от «почетного» обычного инфаркта, а от «местного»: у человека кровяное давление было триста, а он хорошо выпил. Кадяев вскрыл ему грудную клетку, начал массировать сердце, но, как и следовало ожидать, безрезультатно. Следующий смертный случай произошел у него приблизительно от тех же причин.

Позже доктор привык относиться к происходящему вокруг спокойно, памятуя правило: если человеку суждено помереть, он и сам померет, если же суждено выжить — негуманно мешать ему.

«Сюда надо стариков направлять,— говорит мне Кадяев,— кому осталось до пенсии два года. И пенсия будет большая, и спокойно. А то молодому и практиковаться не на ком и посоветоваться не с кем. Какой сложный случай — ни самолет, ни вертолет здесь не садится». Может быть, он и прав.

На том самом собрании, где обсуждался вопрос о заготовке сена, услышала я такие речи: «В интернате, где крысы проели сухую штукатурку,— забить клеенкой, чтобы они головы не высывывали и побелить... Печника пришлите, дядя Миша уже не работник, а печи по всему поселку развалены...» Подобные вещи говорили Котов, Шкаев, еще какие-то мужчины, а я сидела и молча удивлялась: «Да где же еще на свете может быть такое, чтобы на собрании решалось забить или оставить крысы дыры в помещении, где сидят свои же ребяташки! Здоровые мужики — печи не могут себе переложить!..»

Измельчал мужчина на государственном обеспече-

нии. Подобные речи о печниках, клеенке, ремонте знакомы мне по сибирским стройкам, где дома «от строительства» (как здесь — от зверокомбината), хотя, если человек уволился, выселить его из этого дома никто не имеет права. Тем не менее сам для себя квартиросъемщик палец о палец не ударит — иждивенчество, непонятно почему поощряемое в государственном масштабе.

Да, господа, когда в начале прошлого века мой прадед Иван приехал на телеге с Украины в Сибирь, что, его там готовая хата ждала?.. Взял топор — и срубил себе избу, срубил топором: для пилы нужны двое, а он был один. Недаром у большинства старых сибирских изб торцы бревен неровные: следы топора, а не пилы. Избу срубил и печь сложил, да не какую-нибудь, а большую, русскую, чтобы хлеба печь. И поле себе расчистил, и распахал его, и засеял, и собрал урожай. И стал жить, а от него пошли другие, уже коренные сибирские в этой мельчайшей ветке человеческого дерева...

Все это потому, что прадед Иван селился навечно, строил себе, детям, внукам. А медновцы живут, каждый год собираясь уезжать. Живут десятилетиями, у иных тут уж внуки от детей, рожденных на Медном, пошли, но все думается: на будущий год уже уедем. И живут кое-как, неуютно, непрочно, словно на вокзале, сидя на вещах...

Ну ладно, съездили мы в Жировскую, посмотрели отличную траву, сегодня туда забросили четырех солдат траву эту косить и сушить. Из тех урил, что принес Карпенко домой, Любаша напекла пирожков, утром мы их ели, а теперь вот без конца пьем из речки.

Идем дальше. Собственно, зачем мне на птичий базар? Для дела, что ли? Подсчитать имеющиеся запасы водоплавающей птицы?.. Не буду врать: не для дела, для души. Есть у меня такие, из детства еще вынесенные желания: увидеть айсберги, птичий базар, слонов на свободе и золотой храм сигхов в Амритсаре в Индии. Были еще кое-какие, но те уже сбылись, а эти остались. Впрочем, никогда не знаешь, что для души, а что для дела. Как-то меня спросили, на какой круг читателей я обычно рассчитываю, для кого пишу. Я честно отвечала, что пишу так, чтобы мне было интересно писать, — значит,

с расчетом на себя. Ведь есть же на свете люди, похожие на меня,— им тоже будет интересно.

Набрели на шикшу. Это такая черная ягода размером с крохотную брусничку, пожалуй, и вкусом она напоминает незрелую бруснику. В Сибири и Якутии она тоже встречается, особенно на горах ее много, но там я никогда ее не пробовала, даже не подозревала, что ее едят. А здесь других ягод нет — этой рады, даже вкусной кажется. Но вообще-то позабыли местные жители старую пищу, все позабыли. Вот что Крашенинников пишет про шикшу, сарану (здесь саранки тоже много, но она другая, чем в Сибири. Там саранка повыше, и цветы у нее веселые, розовые в крапинках, с вывернутыми кудрявыми лепестками. Здесь цветы у саранки почти черные, похожи формой на наши луговые колокольчики):

«Шикша или водяника — хорошее лекарство от цинги. Кроме того, ею красят в вишневый цвет полинявший шелк. Обманщики так искусно подкрашивают вареной шикшей с квасцами и рыбьим жиром морских бобров и плохих соболей, наводят на них такой лоск, что, взглядевшись, можно потерпеть убыток в несколько рублей.

...Пареную сарану, толченную с морошкой, голубикой и другими ягодами, можно считать лучшим и наиболее вкусным кушаньем на Камчатке».

То, что клубни сараны едят, я знала, даже сама ела — по вкусу они напоминают сырую картошку. Знала, что в прежние времена сарана и кандык у хакасов и тувинцев весной были главной пищей, помогавшей спастись от голодной смерти. Ну, а о таком вот блюде (наверное, и правда вкусном) слышу впервые. Да что там! Березовую кору, оказывается, ели.

«Березовая кора в большом употреблении, т. к. жители, сняв ее с сырого дерева, мелко рубят топориками, как лапшу, и с большим удовольствием едят, вместе с сушеной икрой. Зимой нет ни одного острожка, где бабы не сидели бы около сырого березового бревна и не крошили лапшу своими каменными и костяными топориками. Камчадалы квасят также с этой корой березовый сок, который становится от этого кислее и приятнее».

Возможно, с голодухи только и ели эту «березовую



кашу», а с другой стороны — вдруг и вправду вкусно? В Петропавловске летом тьма туристов, почему бы не построить хороший большой ресторан, где можно было бы попробовать истинно камчатские блюда, в том числе и сарану с морошкой и березовый сок, заквашенный на березовой коре, и чай из листьев кипрея, и оленину, и «дары моря». Сейчас в петропавловских ресторанах кормят невкусно, а берут за это дорого. Поскольку же ресторанов не хватает, везде очереди, то и стремления к совершенству, к какому-то изыску у местных заправителей общественным питанием не наблюдается.

Стежка вывела нас на взгорок и вдруг пропала. Но теперь нам уже было видно, что мы пришли: океан. Без дороги продрались сквозь густящие травяные заросли, спустились на берег.

— Направо, Валентин говорил...— вспоминает Любаша.

Идем направо. Уже слышен птичий гам, вон и чайки вьются над водой в количествах, мною не виданных даже здесь. Небо заволокло тучей, они вьются во мраке — легкие, белые, тревожные какие-то, словно пух, выпущенный из перины во время пожара. Сотни сотен их здесь. Кричат.

Берег каменистый, прыгаешь с валуна на валун. Появляется песок, тявкает и бредет следом. Идет почти вплотную, глаза клянчащие и нахальные, словно у нищего, ночью по совместительству занимающегося грабежом. И голос нахально-жалкий: «Ввав-ввя!..» Любаша смеется:

— Солдаты их Ваньками зовут. Крикнешь: «Вань, а Вань!..» Обернется, смотрит. Камнем бросишь — даже в сторону не отбежит, только голову повернет, посмотрит: что, мол, упало, нельзя ли сожрать?..

Вот это да!.. Берег уперся в скалу, у подножья которой плещется океан... Ходу дальше нет.

Время подшутило-таки над нами: думали освободиться от моего ига?.. Думали, да, видишь, не вышло. Как всегда, не вышло, мы рабы твои, от этого никуда не денешься. Прости...

Обида какая: метрах в ста от нас в океане видны уже скалы и рифы, сплошь облепленные птицей. Точно поганки на пне, торчат на рифах черные головы урил.

Но не добраться — не вплавь же, вода градусов пять, не больше. Может, через верх?..

Я сбрасываю сапоги и лезу на скалу, она ниже, чем та, на которую пришлось мне забираться с котикового лежбища. Любаша меня отговаривает, но я лезу: а вдруг?.. Трава казалась низенькой, на самом же деле это высоченный борщевник, через который еле продираешься. Чем выше, тем скала делается отвесней, потом борщевник кончается, я некоторое время лезу по голой скале, под ногами осыпается дресва. И вдруг что-то во мне происходит, я осознаю, что я на отвесной скале, довольно высоко над землей, распластанная, как лягушка, держаться не за что. Взглядываю вниз — не надо было этого делать!

Короче говоря, я кое-как сползла со скалы, и мы двинулись обратно не солоно хлебавши. Дошли до горы, за которой Преображенское, опять я иду вверх еле-еле, хватаю ртом воздух.

— Иди вперед,— говорю я Любаше.— Я дойду сама, недалеко уже.

— Ладно,— соглашается та.— Я побегу печку растоплю пока, обед разогрею. Вы придете — пообедаем.

Уходит. А я иду себе: десять шагов — остановка, дышу так, что ребра к позвоночнику прилипают. Уже довольно давно стемнело, но не оттого, что поздно, а просто спустились снеговые черные тучи. И туман. Медовский, командорский туман... Плутала, плутала тропа и дошла до облизанной ветрами круглой горы красного камня, на которой даже солдатские сапоги, ежедневно туда-обратно проходящие нарядом, тропки не оставили. Я начинаю подниматься и вхожу в ветер. О таком ветре я только читала в книгах: он уносит. Будто запутался в чем-то плотном, стягивающем с горы наискось и вниз. Иду, иду, иду — и останавливаюсь в спокойном отчаянии: не могу больше. Вокруг течет с невероятной скоростью туман со снегом, ветер вжимает в рот и нос бескислородный, плотный, как морская вода, воздух. И черт его теперь знает, где перевал, куда идти. Надо идти вверх, потом, когда дойдешь до самого верха,— спускаться вниз, пока не попадешь на тропу, ведущую в Преображенское. Но путь вверх может быть прямым и относительно коротким, что при данных обстоятельствах

лучше, а может проходить по зигзагообразной кривой, бесконечно его удлиняющей. Вроде бы я иду именно так... Ну, иду. Остановлюсь, иду снова — невесело, конечно, но, с другой стороны, солдаты же ходят здесь каждый день. Вдруг ветер доносит голос Любаши. Откликаюсь, находим друг друга, она ждет меня за камнем на перевале — это самое низкое место, сразу же за ним — тропа. По эту сторону горы ветер тише, скоро стихает почти совсем. Все-таки хорошо, что Любаша дождалась меня, одной на краю света в плохую погоду невесело.

Ночью мы с Любашей идем брать пробы воды на море. Вечер теплый, тихо, нигде ни огня, поселок спит.

— Смотрите, — Любаша бухает сапогом по воде, вода разбегается, расверкивается огоньками, будто огни большого порта по черноте заиграли. Я тоже рву сапогом черную гладь — и по сапогу текут холодные огненные струи. Море фосфоресцирует.

Возвращаемся домой, я ложусь спать — и не могу заснуть. Вижу то треугольную полоску тумана и голову Любаши, покачивающуюся сверху; то светло-желтую нерпеночью шкурку в буром мхе, то красные восковые рододендроны, торчащие из темной зелени, — весь этот прозрачный легкий денек вижу, слышу. И удивленно чувствую: нет у меня досады, что так и не попали мы на птичий базар... Похоже, опять Время дает уроки: «...Если бы ты поспешила, то, возможно, успела до прилива пройти на Камни и увидела тьму-тьмущую птиц. Но не кажется ли тебе, что в спешке ты не заметила бы дороги?.. Объясни, что такое заманчивое ждет тебя у Финиша, если ты так торопишься к нему, задыхаешься, не успеваешь думать, глядеть по сторонам, не видишь, кто рядом, что под ногами, не ощущаешь вкуса Дороги?..»

**6** Я снова на «Ельце». Ночь, о переборку толкается волна, гремит якорная цепь, ползая в клюзах, храпит боцман. Дверь закрыта, густо пахнет высыхающими полушубками и сапогами.

А какой был сказочный день!.. Начался он рано: «Елец» вывозил из Песчаной бухты дровяные плоты для заставы.

Пока плот обвязывали тросом и стягивали в море, мы с капитаном пошли пострелять птицу на обед. Пошел, конечно, капитан, взяв мелкокалиберку, меня же позвал в качестве зрителя и грузоподъемной силы.

Мы прошли по лайде, к концу бухты — шли минут сорок, разговаривая о том о сем, и вдруг, подняв глаза, я увидела, что скалы, заключающие бухту, какие-то странные — не зеленовато-серые, как обычно, а неровно-черные. Приглядевшись, я поняла, что они просто облеплены птицей; птичьи гнезда теснились на любом малейшем выступе, в каждом гнезде сидело по несколько уже больших, неуклюжих, покрытых серым пухом птенцов и взрослые птицы. Преимущественно это были урилы. Николай Семенович начал стрелять, урилы падали одна за другой, но оставшиеся не разлетались. Те, что сидели в гнезде, рядом с убитой, просто переступали на освободившееся место, устраиваясь поудобней, только подранки поднимались и, тяжело пролетев, плюхались в море.

— Вот их здесь сколько, как троекуровых собак,— удовлетворенно произнес Николай Семенович свое любимое присловье.

Сначала мы подбирали птицу, потом стали оставлять на валунах, которые повыше, авось песцы не достанут. Песцы подлаивали сзади близко и нахально, лизали кровь, ждали.

— Хотите стрельнуть? — спрашивает Николай Семенович.

— Не хочу, все равно не попаду: плохо вижу. Что зря патроны переводить!

— А чего их жалеть-то!..— капитан гремит патронами в кармане полушубка.— Вон сколько, стрельните.

Он настойчиво сует мне мелкашку, желая сделать приятное, думает, наверное, что я стесняюсь. А мне просто не хочется, неинтересно. Стреляла я раза три в жизни, всегда прочно мимо. Не вижу в игре этой для себя привлекательности. Но сердце доброе, отказать не могу — беру винтовку, навожу на какое-то черное пятно, добросовестно стараясь, чтобы мушка и прорезь в прикладе были в том самом положении, которое растолковывает мне Николай Семеныч. Нажимаю спуск. Урила, пере-

вернувшись животом наружу, размахав черные крылья, хлопается на камни. Капитан подбирает ее.

— Дайте.— Я сама не верю, что все-таки попала, но, видно, птицы так много, что, куда ни стреляй, попадешь.— Я отдельно ее понесу, все-таки раз в жизни кого-то убила. Наши московские пижоны черт-те куда ездят, чтобы несчастного рябчика убить, а я вон какую здоровенную утищу ухлопала!

Беру свою урилу, разглядываю ее иначе, чем чужих. Что-то во мне происходит, я чувствую, как какой-то древний дух просыпается, поднимает во мне жажду умножения этой добычи. Для чего? Сыта я буду и той птицей, что набил капитан: еле дотащить вдвоем. Домой не увезешь, навек не заготовишь. И, грустно проанализировав свое состояние, я понимаю: похвастаться. Зимой встречу кого-нибудь из знакомых, скажу между прочим: «Ездил осенью на охоту? Сколько убил?.. Эх, что вы едите тут, детские игрушки! Вот я этим летом...»

Да... нехорошо. Но человек слаб, и, когда Николай Семеныч, дает мне мелкашку и горсть патронов, предварительно объяснив, как заряжать и выбрасывать после выстрела гильзу, я иду вперед вдоль этих изобильных скал и стреляю, стреляю, стреляю, половину впустую, но все же убиваю еще четырех урил и одного ипатка. Я не подбираю их: некогда, тороплюсь, но... слава богу, кончаются патроны, я перевожу дух и оглядываюсь. Николай Семеныч машет мне: пора, «Ельцу» еще предстоит сегодня поездка на Юго-восточный.

Я возвращаюсь, отдаю ружье, азарт мой проходит, надо полагать, навсегда. Где еще будет столько птицы, что, куда ни пальни, в кого-нибудь попадешь?..

Песцы поработали: трех урил утащили, ипатку отъели голову. Бестии!.. Но с другой стороны, почему мы только себя считаем полномочными есть других?..

Еле волочим мы эти связки дичи, штук по десять у каждого, неподъемно тяжело.

— Море накормит, море согреет, море похоронит,— произносит капитан свой очередной любимый афоризм, глядя, как «Елец» стаскивает с песка последний плот, который только что кончили увязывать солдаты. Накупались они все досыта: начался прилив, плот рассыпался в воде.

Боцман, организовав в помощь юнгу, учит меня «раздевать» птицу. Не ощипывать, а именно раздевать: голова и ноги отрубаются, от шеи по животу делается разрез до мяса, затем пальцы запускаются под шкуру, отделяют ее, после кто-нибудь держит птицу за туловище, а другой снимает одежду. Быстро, просто, но руки по локоть в крови... Затем урила бросается в ведро с морской водой, наступает очередь следующей. Через полчаса боцман забрал у нас ведро с «раздетой» птицей: вымачивал и готовил он ее сам. Надо сказать, в его приговлении урилы были повкуснее уток и рябчиков, которых я пробовала в домах московских охотников.

Боцман Виктор Иванович Стешенко появился на «Ельце» недавно, в прошлый приход сейнера на Медный его еще не было. Фигура он колоритная. Грязная рваная тельняшка, лицо большое, желтовато-смуглое, заросшее кустиками щетины. Глаза черные, с желтыми белками, беспокойные, на ремне сзади — большой нож в деревянных ножнах. Говорит быстро, чуть заикаясь, сыплет прибаутками, большую часть из которых если и запишешь, да не напишешь... Одна рука у него ранена, локоть не разгибается: Виктор Иванович во время войны был здесь, на Дальнем Востоке, участвовал во взятии Шумшу и Парамушира. На руке у него, в числе других наколок, есть «18 августа 1945 г.» — дата взятия Шумшу, вероятно, самая памятная в жизни боцмана. Двадцать два года уже прошло, а до сих пор Виктор Иванович «под банкой» начинает показывать, как они, высадившись ночью на Шумшу, били застигнутых врасплох японцев. Глаза его тогда горят, нижняя губа отвисает, дышит с присвистом:

— Х-хек! Х-хек! Никаких выстрелов — ножи. Или вот так... — Он, согнувшись, коротко ударяет ребром ладони себе по горлу, протягивает мне ладонь: — Пощупай.

Вдоль всего ребра ладони у него мозоль — будто железная пластиночка проложена. Достигается появление такой мозоли непрерывным постукиванием ладонью по чему-то твердому. Я еще в детстве читала про джиу-джитсу, даже сама пыталась наколотить себе подобную мозоль (что значит мужское воспитание!), но терпения не хватило. Человек, знающий джиу-джитсу, не нуждается в холодном оружии: таким железным ребром

можно запросто перебить руку; ударив по яблочку — либо оглушить, либо убить человека: все зависит от силы удара. Чего только не умеют эти японцы, но в данном случае с ними сладили их же методами...

Короче говоря, первое впечатление от боцмана — вполне экзотическое, он даже сначала выпадает как-то из общего, добродушно-мягкого фона «Ельца», идущего от капитана. И ельцовские «старики» не сразу принимают боцмана. Капитан то и дело его одергивает: уж очень редко в речи Виктора Иваныча попадаются «штатские» слова. Но приживается постепенно.

Волна. За кормой «Ельца» волокутся два больших плота. С дровами, конечно: печи на заставе угольные, дрова нужны только на разжиг. Карпенко явно рад. Теперь осталось завершить ремонт, заготовить сено, насолить рыбы — и озабоченная складочка на лбу Валентина Давыдыча разгладится.

Он сидит на корме, сунув руки в карманы куртки, смотрит перед собой светлыми напряженными глазами, по худой шее ходит кадык. Думает о чем-то сугубо своем. А солдаты устроились на носу, покуривают, перешучиваются, возятся, пытаются согреться. И Кривец с ними, тоже мокрый, в болотных сапогах, натянутых до паха, он в них похож на мушкетера. Несет громко какую-то чушь, не думая, что сказать, все равно получается: солдаты хохочут. Полчаса назад он тоже лазал в ледяной воде, помогая солдатам увязывать плот. Полез не потому, что хотел «своим примером увлечь массы», а просто молодой, горячий, везде суется, неизрасходованная энергия играет. Впрочем, какой-то элемент актерства в нем есть, того самого «нужного нам» актерства.

Владимир Андреевич (пожалуй, интуитивно) играет образ веселого командира, требовательного, но справедливого. Получается, солдаты его любят. Вообще Кривец понимает, что командир это не «просто так, от бога». У него, например, заведен «конduit» на каждого солдата, где записана, во-первых, вся родословная, а потом всякие заметки и наблюдения о характере, привычках, способностях. Кривец рассказывал мне, что ему самому, когда он поступил в летное училище (потом по разным причинам пришлось перейти в пограничное), посчастливилось попасть к командиру, который считал, что

«пржде надо понять человека, а потом железо». Подолгу летал с каждым курсантом, приглядываясь, в чем его сила и в чем слабость, одного парня, который боялся высоты, но очень хотел летать, стучил исподволь от этого страха — теперь отличный летчик...

Отвозим в Преображенское плоты и уходим на Юго-восточный. Во-первых, надо доставить бригаде продукты, во-вторых, по дороге капитан мечтает добыть сивуча для норок и песцов на звероферме, это тоже входит в план и обязанности команды «Ельца»: снабжение зверофермы рыбой, котиковыми тушками, а если добудут, то и сивучом.

По дороге становимся накоротке на банку против Корабельной бухты, половить рыбу. Такое я тоже вижу в первый раз.

Многочисленные крючки (их шесть) наживляются кусочками мяса, потом поводок с этими крючками опускается за борт, его слегка подергивают; когда грузило достигает дна, леску начинают выбирать.

Я устроилась возле Виктора Иваныча, смотрю, больше для общего развития, как он, проделав вышеописанные манипуляции, выбирает леску своей скрюченной ладонью.

— Есть, аলেখа-воха!

Выдернул поводок из воды — на каждом крючке болтается по здоровенной рыбине, весом где-нибудь близко к килограмму. Рыба ярко-желтая в темную полоску, с красными плавниками, и две — серых в полоску, точно зебры.

Боцман посбросал их с крючков, навывирал рыбьих глаз, наживил — и опять поводок пошел за борт, остановился на мгновение — повлекся кверху. На этот раз на шести крючках болтается восемь рыбин: на двух крючках — по две. Шесть зацепились, как положено, за губу, одна же — за глаз, еще одна — под жабры. Не знаю, как ухитрились они так зацепиться, разве что их там кишит, точно в кастрюле. Нужно некоторое усилие, чтобы выволочь этот сказочный кортеж из воды.

Не нашла нигде, как эта рыба называется на самом деле, но на Командорах ее зовут «судачками». Она очень жирная и нежная на вкус — отменная рыба. Серенькие — самочки, желтые — самцы.



— Ну, ешь-вошь,— сказал Виктор Иванович.— Хватит, пойду чистить. Любишь жареную рыбку-то? На, сама полови пока, поводок только не упусти.

Надо сказать, что я опять же без особого восторга взяла из его рук поводок: мне вполне хватало удовольствия глядеть, как судачки бьются на крючках у других. Но когда в ладони моей шевельнулась натянутая леска, когда я услышала, как увеличивается сопротивление поводка и в прозрачной воде зажелтели, приближаясь: одна... две... четыре... пять!.. Снова в сердце засосало непонятное, я, уже не очень соображая, насаживала на крючки рыбы глаза, бросала за борт леску, тянула, огорчалась, если попадалось всего две, радовалась, если шесть. Один раз попался морской бычок со здоровой огромноглазой головой, весь в шипах, зеленый. А один раз ничего не цеплялось, я дергала-дергала леску, потом вытянула — и удивленно глядела, как идет ко мне в воде что-то красное, яркое — золотая рыбка? Вытянула — огромная пятиконечная морская звезда! Никто, конечно, на нее и не взглянул, не такие «дары моря» здесь достают, а я долго носилась с ней: пыталась высушить, хотела домой привезти, показать дочке. Но, увы, разломала всю с переездами.

Наловили за полчаса кадушку судачков, пошли дальше. Боцман уже колдует с рыбой на камбузе, сует мне, обжигаясь, кусок:

— Попробуй!

Вкусотища невероятная, тает во рту. Еще надо подумать, что вкуснее — знаменитый байкальский омуль «на рожне» или медновские судачки...

Ах, Медный, Медный, молочные реки, кисельные берега!..

Синее море разыгралось, летит волна через нос, сейнерок подпрыгивает. Но солнце — оттого вокруг все так красиво, такие неестественные яркие краски, что прямо физическое наслаждение получаешь, глядя на все это. Синее, тяжело ходящее ходуном море, зеленые скалы, розовые горы, перечеркнутые текущими полосами тумана... Аж до слез, до стопа здорово.

Из кубрика поднимается старпом, тянется, зеваает: он спал перед вахтой. Спрашивает, подмигнув: «Как жизнь, тетя Майя?..» Я отвечаю, что жизнь очень даже ничего,

пока светит солнце и жарится такая великолепная рыба. Боцман зовет старпома обратить на рыбу самое пристальное внимание, зовут и меня, но я уже начала укачиваться.

— Сивучовый камень,— говорит капитан.— Там обычно сивучи бывают.

Заглушают мотор, чтобы не распугать сивучей, сейнер идет некоторое время на холостом, потом останавливается, дрейфует потихоньку.

Сивучовый камень похож на крышу дома, покрытую дранкой. Будто слепленный из одинаковых прямоугольных пластинок, ровненько уложенных одна на другую. Волна хлопается о него, взметывается великолепными брызгами и скатывается, сверкая на солнце... Стоит посреди моря такое вот зеленое чудо — кто высчитал его, соразмерил, поставил здесь?..

— Видите сивучей?

Вижу. Сивучи — это огромные морские львы, покрытые довольно длинной рыжей шерстью, шкура у них, говорят, очень толстая и прочная, алеуты раньше использовали ее для подметок к сапогам. Верха делали из нерпы, подметки — из сивучовой кожи. Вообще я удивляюсь — все порастеряли алеуты: обычаи, песни. Одежда и та европейская. А, говорят, еще недавно умели делать красивую удобную обувь, одежду, лыжи из шкур, «кошки», цеплявшиеся к сапогам, чтобы удобнее было зимой по горам лазать. Порастеряли за ненадобностью? Возможно... Вообще самолет, радио и кино сокращают расстояния, нивелируют привычки, манеры, одежду. Но, с другой стороны, сохранили же таджички или узбечки свои красивые платья, серьги, браслеты — даже как-то на европейскую моду влияют. Алеутов мало, их поглотила общая масса приезжих; особенно молодежи хочется быть «как все» — это понятно. Но не для себя, так для туристов делали бы лыжи, сапоги, национальные платья — нарасхват бы шло!.. Зимой, чем пить, занимались бы подобным промыслом — себе польза и людям...

Кроме котиков и сивучей на островах есть еще каланы — морские бобры из семейства куньих. Калан — вымирающий зверь, охота на него запрещена повсеместно, мех его баснословно дорог, боюсь повторить названную мне цифру — не ослышалась ли? Живого калана мне

увидеть не пришлось, после, в музее, видела чучело и шкуру — ничего особенного, коричневый курчавый мех, правда, как рассказывают, очень прочный, всю жизнь проносишь. Возможно, и так, но зачем носить всю жизнь один и тот же мех? Прочна тюрьма, да черт ей рад... Хорошо, что запретили охоту: звери редкие, вымирающие, не вредные звери. Пусть себе живут, не нужен нам их мех, обойдемся.

Каланов не видела, сивучей вижу. Шесть огромных желтых туш нежатся на солнце, внизу туловище потолще, вверху поуже — толстый здоровенный червяк. Забеспокоился один, поднял верхнюю часть туловища, начал водить ею туда-сюда. Поднимет, подожжет, покачает — и хлопнет на камень, снова приподнимет, изогнется в одну сторону, изогнется в другую — опустит. Точно гусеница на листе. И скалу-то они облепили, как гусеницы. Однако неприятного в них нет: смешные, неуклюжие, странные. И живут в воде... Как-то все же у нас, у материковских, сложилось представление, что в воде живут рыбы, на земле — звери. А сивучи напугались — и хлоп в воду! Словно бы коровы вдруг нырнули в море. Впрочем, были же морские коровы?.. Были, повыбил всех человек — щедрая на «не мое», нерасчетливая душа. После нас — хоть трава не расти!.. И не будет, в конце-то концов...

Уходим. Тоже, если поразмыслить, нелепо: такую удивительную зверюгу, такую смешную глупую тушу ухлопать — для чего?.. Скормить песцам, из которых половина подохнет, пока дорастет до спелой шкурки, а если и не подохнет — не велика ли честь? Не с точки зрения себестоимости, а с точки зрения исторического взгляда на существование живого вокруг нас и после нас. Много ли их, этих морских львов?.. Говорят, много, жрут в море рыбу, которую могли бы есть котики, но не чрезмерно ли мы берем на себя, пытаюсь наводить порядок в царстве Бурхана? Пожалуй, они и без нас разберутся — котики, сивучи, каланы, косатки... А песцам и тухлой рыбы довольно, не велики господа.

Старпом снова появляется на палубе. Он длиннорукый, длинноногий, худой, про таких говорят: весь из мослов. Глаза черные, поставлены чуть косовато, веселые — не всегда поймешь, отчего они косят. Лицо круглое, уши

оттопырены, большой рот улыбается. Лет старпому всего двадцать девять, но он бывалый человек: поплавал за границей, когда служил действительную, потом в Охотском море рыбу ловил.

— Сейчас в Жировской будем высаживаться, сивучей бить. Поедете с нами?

За Жировской бухтой есть цепь рифов, которые обнажаются при отливе, тогда в котловине между ними можно застигнуть, если подойти тихо, сивучей.

«Елец» становится на якорь далеко в море, чтобы не спугнуть сивучей, шлюпку спускают за борт, боцман садится на весла. Несмотря на волну, мы идем хорошо: боцман налаживает шлюпку так, что очередная волна подкатывает под нее, берет на гребень — и несет, пока не наступает черед другой волны.

Я вспоминаю, как мы вчера высаживались в Жировской, чтобы отдать косарям продукты и половить в устье речки гольца. На весла сели Кривец и Валера Решетников, как выяснилось, гребцы никудышные. Народу в шлюпку надело столько, что она едва не черпала бортами, волна была, пожалуй, побольше нынешней, шлюпка то и дело становилась лагом — бортом к волне. Один раз гребцы так круто ее развернули, ударив веслами вразнобой, что я даже глаза опустила, чтобы никто не увидел, как мне страшно: в двух метрах шла от нас высоченная волна.

— Что вы, черт!.. — крикнул старпом. — Решетников, табань весло! Что вы ее лагом ставите, с нами женщины, кто ее спасать будет?

— Моряки! — быстро откликнулся Валера. — Мы — что, нам бы самим выплыть.

Спасать меня, конечно, не надо, особенно Валере, я прекрасно утону сама. Плаваю я чуть лучше топора, а при такой волне действительно — самому дай бог до берега добраться. Но почему-то я уверена, что старпом при любой волне попытался бы спасти не только меня, вообще любую женщину, мужчину, не умеющего плавать. Есть в Викторе Михайльце щедрость сердечная и надежность. Валера по-своему тоже хороший парень, но Виктора жизнь не баловала, и он усвоил, что мир был сотворен в свое время не только чтобы в нем с удобствами устроился Михайлец, что существуют другие лю-

ди, которые тебе помогают или, наоборот, топчут тебя. Усвоил, что надо двигаться, чтобы жить. Работать, охотиться, ловить рыбу, уклоняться от ударов и наносить их, улыбаться и горевать. Ничего этого Валера Решетников еще не знает — балованный, немного сонный парень, любящий, когда ему бывает хорошо, и удивляющийся, если вдруг, на короткий срок, становится плохо. Выскальзывающий из этого плохого с ясными глазами, не оглядываясь на тех, кто рядом, именно из-за этой нутряной уверенности, что не он — в мире, а мир — вокруг него.

Кривец рассказывал, что однажды он поручил Валере опилить какую-то железку: до армии Решетников работал слесарем на машиностроительном заводе в аварийной бригаде. Когда Валера с заданием не справился, Кривец удивился: «Да как же ты работал?» Тот отвечал, что за два с половиной года их бригада отремонтировала три станка: аварийщик — что пожарник. Когда Камчатской области вручили орден Ленина, Кривец велел Валере вырезать из какого-нибудь иллюстрированного журнала орден Ленина и наклеить на карту Камчатки, висящую в Ленинской комнате. Вернувшись из отпуска, Кривец обнаружил, что орден так и не наклеен. Валера считает, что если что-то можно не делать, лучше не делать... Вот и подумаешь в который раз, хорошо ли, что мы всячески облегчаем жизнь нашим детям, затягиваем их детство до бесконечности, жалея, в первую очередь, конечно, себя, предвосхищая свою боль, если вдруг им будет плохо. А если жизнь резко повернет круто, не получится ли из Валеры очередной «бич», подобный откровенничавшему со мной на «Углегорске» Толику? Неумение сопротивляться обстоятельствам — серьезное дело...

Мы подошли к рифам. Боцман передает весла Виктору, берет ружье, становится на нос. Сейчас, с очередной волной, он прыгнет на риф, будет тихо подкрадываться, а мы с Виктором обойдем рифы севернее и перережем дорогу сивучам, если они попытаются уйти в море.

— Тише только, ешь-вошь, не болтать! — шипит боцман, и вдруг я замечаю, что оба они, видно, пропустили «под рыбку». Хорошенькое дело... Боцман еще держится,

только губы развесил пьяновато, да язык вовсе удержу не знает, а у старпома весла вырываются из рук, глаза ушли куда-то под виски — и блаженная ухмылка от уха до уха...

Накатывает волна, боцман прыгает на риф, расплывается на нем, ползет... Вот так он полз на Шумшу.

Идем дальше. Виктор улыбается, покачивает головой, гребет рывками, шлюпка елзит носом по волне, брызги то и дело летят через борт. Я запоздало огорчаюсь, что детство и юность пришлись на такое время, когда было не до спорта: села бы сейчас на весла — и все...

— Как, тетя Майя, добудем сивуча? — спрашивает Виктор.

Я советую ему покрепче держать весла, иначе сивучей не на чем будет перевозить на «Елец». Виктор соглашается, но весла все же у него то и дело вырываются из рук.

Подходим к узкому, точно по ширине шлюпки, проходу между рифами. Это даже не проход, а углубление: когда волна скатывает — видно камень.

— Пройдем, тетя Майя? — риторически спрашивает старпом.

Я, как мне кажется, очень независимо повожу бровями, поднимаю плечи: все в руках судьбы.

— Пройдем... — отвечает Виктор самому себе, резким ударом весла ставит шлюпку кормой к волне, еще двумя короткими точными взмахами посылает шлюпку с волной, поднимает весла... Шлюпка, как ласточка, пролетает между рифами, тычется носом в мель, но уже не страшно: волна, доставив ее туда, куда нужно, сошла. Виктор выпрыгивает на риф, втягивает шлюпку, чтобы не смыло.

Я молчу: блестяще все было сделано, ничего не скажешь...

Виктор оглядывает рифы и идет по ним далеко, на самую северную точку, садится с ружьем, обхватив колени руками, смотрит в море, ждет сивучей.

Давыдов как-то сказал при мне: «Поймаем пять тонн рыбы — пою старпома вусмерть! Я ничего не понимаю в этом, а Витька в Охотском ловил».

К тому времени я уже немного разобралась в обста-

новке, поэтому не удивилась, что капитан так запросто, не боясь потерять авторитет, признается при подчиненных и посторонних, что чего-то не умеет. Но Давыдову нечего бояться: цену ему хорошо знают на Командорах. Умея почти все, он может позволить себе чего-то и не уметь.

Сивучей мы, конечно, не убили: их просто не было здесь. Но я навсегда запомню черные рифы, облепленные хрустящими под ногами высокими ракушками, и волну, на которой наша шлюпка влетела в прогал между Сциллой и Харибдой...

Едва мы отошли, погода испортилась, пошел дождь. А когда добрались до Юго-восточного, волна разыгралась так, что высаживаться не рискнули. Запросили по рации бригаду, они отвечали, что продукты кончились, к тому же нынче утром, когда они высаживались в бухте, чтобы метить котиков, шлюпку швырнуло о берег и разбило. Люди спаслись, но оставаться дальше на Юго-восточном, бригада считает, нет смысла. Разговор этот так и не закончили: завтра, когда в эфир «выйдет» Фролов, будет решено, что делать бригаде. Впрочем, как я понимаю, они твердо решили уезжать: метить котиков — дело не выгодное, заработков нет, тут уж их не удержишь, сколько бы научник Фред Челноков ни возмущался.

И вот мы стоим ночью напротив Юго-восточного, все спят, только Давыдов изредка просыпается, прислушивается — не пашет ли якорь. Если сорвет с якоря — щепок не собрать. Наконец засыпаю и я.

Утром слышу, как Давыдов «выходит в эфир».

— Первый — третьему, первый — третьему, прием. Я на Юго-восточном. Первый, первый, я — третий, как слышите?

Фролов тоже выходит в эфир, долго препирается с бригадой, потом уступает, распорядившись, чтобы «Елец» дождался «Расторопного» и шел в Никольское с ним в паре. Во-первых, для одного «Ельца» слишком много набралось пассажиров, а во-вторых, в такой шторм в одиночку ходить рискованно.

— Четвертый!.. Я третий... Четвертый!.. Я третий!.. Как слышите? Прием... Четвертый, как это вы нынче утром Преображенку проскочили? Мы видели, пассажиры на палубе стояли, тоже видели...

— Ну бывает, Коля, бывает...— смущенно бубнит в эфире голос капитана «Расторопного».

Действительно, тумана особого вроде бы не было, а прошел-таки «Расторопный» полным ходом мимо Преображенки.

— Ну ясно, ясно,— хохочет Давыдов.— Петя, мы вам завидуем, что вы пятое число в Никольском застали. Мы придем, тоже догоним...

Однако еще дня три мы торчим в Преображенском, ждем у моря погоды — в данном случае в буквальном смысле слова. Эти три дня в поселке — дым коромыслом: промысел кончился.

**7** Пребывание на Медном, вообще на Командорах, и ожидание у моря погоды натолкнули меня на еще одну полезную мысль. Собственно, опять мне дало урок, посмеялось надо мной Время...

Обычно в Москве или даже в «материковских» командировках я всегда приблизительно знаю, чем буду заниматься ближайшую неделю; вечером знаю с точностью до получаса, что буду делать завтра днем. Хотя при всем при этом я человек безалаберный, но просто иначе нельзя: дел всегда так много, что, если их пустить на самотек, ничего не успеешь.

Эта командировка мысленно была расписана у меня еще в Москве, но уже в Петропавловске все посыпалось, на Медном продолжало сыпаться, а на Беринге мои точные планы рухнули окончательно. Подводили средства передвижения. На всю Командорскую поездку я рассчитывала истратить десять — двенадцать дней, вместо этого только на Медном я пробыла две недели, а вообще, начиная с моего отъезда из Москвы, прошел уже целый месяц. По моим наметкам, к этому времени я, побывав в Долине Гейзеров и в Оссоре, должна была возвращаться в Петропавловск, чтобы ехать на Курилы. То, что гейзеры и олени полетели к черту,— было ясно. Но если дело так пойдет дальше, полетят и Курилы.

И вдруг в очередную мрачную минуту мне пришла в голову дерзкая мысль: а не надо планировать... Здесь, наверное, не надо. Настроенность на что-то связывает руки, зря тратишь время и эмоции. Во-первых — планиру-



ешь; когда планы рушатся — огорчаешься по этому поводу; потом начинаешь соображать — что же делать дальше, а время ушло! Не лучше ли ориентироваться в складывающихся обстоятельствах безо всяких планов и наметок, выдергивая у судьбы неожиданные, незапланированные варианты?..

Мысль при данной ситуации правильная, но додумалась я до нее поздно. Как сказал философ: «Выстроив себе дом, замечаешь, что невзначай научился при этом чему-то, что следовало знать, приступая к постройке. Грустная судьба всего оконченного...»

На Беринге я опять живу на заставе, жду погоды. Застава здесь как игрушка. На зеленом, заросшем травой дворе стоят зеленые домики: казарма, дом для офицеров, склады. В бане солдаты парятся с квасом, начальник заставы собственноручно щупает у солдат железки за ушами, на строевых занятиях командует им под ногу: «Ать-два!..» Сам запеваёт «Наш паровоз, вперед лети» и «Смело, товарищи, в ногу». Хотя петь он не умеет и слуха у него нет никакого, есть тем не менее бесконечная убежденность, что командир не может не петь. Ей невольно подчиняешься. Солдаты тоже поют плоховато, зато хорошо печатают шаг на дворе заставы. Важно старание.

Порядок везде идеальный. Полы крашены, мыты, в спальнях — чистота, на кухне все блестит, за кухней двор посыпан песочком, помойка далеко от казармы, и повар Ваня Воронин не ленится сходить туда, вылить помой. Даже удивительно: отвыкла я уже от порядка... Первое время все думаю: может, комиссию ждут? Или, может, ради меня, чтобы написала хорошо? Но это из свойственной мне недоверчивости, по командиру видно, что — хозяин.

Анатолий Сергеевич Суковатов внешне похож на фельдфебеля старой армии, какими я себе представляю их по книгам и кино. Толстый живот ловко подхвачен ремнем, сапоги всегда начищены, выправка кадрового военного при всей его грузности и большом росте имеется. Лицо большое, красноватое, брови седые.

— Верно! Это очень верно!

Старшина, присутствовавший при этом, возразил:

— Ну, если он идиот, так он идиот и будет.

Я вовсе не идеализирую по-школьному солдат, служба — есть служба, солдаты же, естественно, бывают разные, встречаются и такие, каких образно охарактеризовал старшина. Мне просто хотелось выслушать на этот счет мнение майора, он высказался приблизительно так, как я рассчитывала, а после сердито сказал Кривцу (тот ехал в Петропавловск за назначением):

— После училища не надо стремиться в центр, поработай на периферии. Молодой, дети маленькие, не учатся. Пять-шесть лет послужил, сначала замом, потом начальником — тут уже можно в академию, потом в штаб. Тогда командир выйдет из тебя, понимаешь, нет?

Кривец бурно выразил свое согласие и горячо стал говорить, что с удовольствием пошел бы замом к Суковатову, поучиться. На что майор махнул рукой:

— А ты не хитри, не мечись. Ты помни: чем проще живешь, тем хитрей.

Я раскрыла рот, чтобы полностью переварить и осознать этот великолепный афоризм, которым я, кстати сказать, руководствуюсь всю жизнь, — больше, впрочем, из лени и природной бездарности к «хитрению», но Суковатов продолжал:

— Подполковника Ф. знаешь? После училища он был начальником узла связи, оттуда пошел в пограничный институт. С людьми до института не поработал, понимаешь, нет?.. Кончил, хотели назначить комендантом участка, попробовали — по деловым качествам не подошел. Тык, мык... Взяли в штаб начальником огневой подготовки, но и там не подошел, все дело завалил... Поставили помощником начальника штаба — писарская должность, всю жизнь проработал, командиром быть не мог. Понимаешь, нет?.. — И мне: — Понимаете, нет?..

Кривец снова говорит, что он прекрасно все понимает, осознает и очень бы хотел поработать хотя бы год на Беринге (у Суковатова нет зама), пусть Анатолий Сергеевич замолвит словечко. Суковатов смотрит мимо него, ставит на стол толстые локти и, развернув кулаки в стороны, непринужденно потягивается. Подходит к графину, наливает стакан квасу, который делает все тот же Ваня Воронин, зевает, включает радио, слушает последние известия так, будто нас тут и нет вовсе. Услышав, что

американцы потеряли в боях двадцать шесть человек, говорит, подавившись издевательским смешком:

— Вот это тряханули! — и насупливает седые жестко-волосые брови.

— Ну, ладно,— обращается он к Кривцу.— Иди устраивайся в казарме, там свободные койки есть. А вас,— это он мне,— в комнате для гостей поселим. Пять дней, может, ждать будете, да на «Углегорске» уедете. Как раз он через пять дней пришепает. В баньку сходите в субботу, у нас с квасом парятся. Любите париться?..

Люблю... Но надеюсь до субботы не дожить здесь. Доживаю до субботы и до воскресенья, а в понедельник прибывает наконец разлюбезный «Углегорск», я благополучно погружаюсь на него. Следующий раз он придет на Беринг через две недели.

За эти пять дней я успеваю досыта наговориться с Суковатовым, разобраться в делах заставы. Восторженно восхищенного удивления первого дня у меня не остается: есть и тут, как во всяком живом деле, свои грехи и огрехи. Но общее впечатление идеальной чистоты, порядка, дисциплины и заботы командира о солдате тем не менее сохраняется.

Я сижу у Суковатова в кабинете, жду, читаю солдатские письма. Суковатов разбирает какие-то свои бумаги: и у пограничников, оказывается, большая отчетность.

«...Здравствуйте, Анатолий Сергеевич и Клавдия Дмитриевна, также Таня и Сережа, с гражданским приветом бывший ваш подчиненный Василий... Анатолий Сергеевич, может, вы на меня обижаетесь, но я на вас никогда не обижусь, потому что вы меня на правильный путь поставили, а для меня сейчас это главное, вы мне хорошую школу дали, а это в гражданке и мне пригодилось».

«...Знаете, Анатолий Сергеевич, разница между заставой и тем подразделением, где я дослуживал два месяца, как небо и земля. На заставе чувствуется дисциплина, порядок, строевая подтянутость, а здесь совсем противоположное. Вот сейчас вспоминаю, и как-то приятно чувствовать, что служил на такой хорошей заставе. Очень часто вспоминаю ребят из своего отделения За-

могильного, Яшина, Лисуна, Щигорьева, а вот от Ефремова остался какой-то неприятный осадок.

В семейной жизни у меня все хорошо. 14 октября родился сын, назвали его Сережа. Работаю в автоколоне автослесарем 4-го разряда, получаю 94—99 руб. в месяц. Сейчас хожу на подготовительные курсы в университет...»

Сына Анатолия Сергеевича тоже зовут Сережа, ему лет семь. В день приезда я отправилась в поселок и спросила, проходя, Сережу, где здесь почта. «Показать?..» Я думала, он выйдет за калитку и махнет рукой в направлении почты, так сделал бы любой из наших городских ребятишек. Сережа сел на велосипед и медленно поехал впереди меня, часто оглядываясь, не делась ли я куда-нибудь. Доехал до почты, развернулся и укатил. Белобрысый, голубоглазый, худенький — смешной... Есть у него еще две дочки: старшая учится в Москве в институте, младшая здесь, в школе.

В армию Суковатов попал в сорок втором году и так до сих пор и служит. Дослуживает до пенсии: Анатолий Сергеевич не скрывает этого — устал. Жизнь длинная была: фронт, потом оперативные войска в Прибалтике — тоже не лучше фронта, из-за каждого дерева ждала пуля. Еще пять лет. Ну, а потом пограничные войска, сначала там же, в Прибалтике, потом на Сахалине, после в Черновцах. В шестьдесят первом году его демобилизовали, он уехал в родную Рязань, работал директором ресторана, но в отделе кадров затеряли часть документов, поэтому пенсию Суковатову не дали, он пошел дослуживать. В шестьдесят первом году попал на Командоры и служит по сей день. Устал, конечно, устал...

«...Анатолий Сергеевич, если ответите, то напишите, пожалуйста, как дела на заставе, конечно, как там ребята. На каком счету заставка. И напишите, как дела у Мирошниченко. Забыл он меня. А знаете, как хочется побывать на заставе, сходить в наряд. Конечно, некоторые скажут, вот синтенталист какой нашелся, кому как, а я бы пошел служить опять на заставу. Вот в феврале на Алеутских островах было землетрясение. Как там поселок, потревожило или нет...»

Ну что ж, майор Суковатов вложил свою лепту в

дело воспитания мужского населения Советского Союза. Как теперь другие, молодые?..

В воскресенье мы едем за грибами. Среди кочек в тундре, покрытых ивой размером с подорожник, крушиной и шикшей, растут обыкновенные большие грибы: белые, подосиновики, подберезовики. И еще тут поля, словно бы засыпанные крупными, с голубиное яйцо, розовыми бусами — это морошка...

**8** Ну вот, Курилы. Остров Парамушир. Еще на сходах «Николаевска» я услышала:

— У нас трясет, а они беспокоятся?..

— Фон у вас затертый какой-то, я смотрел сейсмограмму...

— Так ведь мы на самой дороге, помехи большие...

Это разговаривали вулканологи про вулкан Эбеку, расположенный над Северо-Курильском. После, где бы я ни ходила, разговоры были приблизительно одни и те же:

— ...Говорили, в овощехранилище надо бежать, оно бетонированное...

— Как начнут камни лететь, так что оно, твое овощехранилище!..

— А если лава пойдет?

— Лава в Охотское пойдет, а камни не долетят сюда: двенадцать километров!

— Это по тропе двенадцать, а напрямую три...

— Я вот погляжу, как ты на своей деревяшке прыгать будешь!

— Ничего, от цунами упрыгал!..

Из пивной выходят два парня и орут на всю улицу с восторгом:

— Эбека взорвется к такой матери — трах-бабах!..

Вечером местное радио передает разъяснение, что оснований для паники еще нет. Эбека ведет себя прилично, из Петропавловска прибыла специальная экспедиция вулканологов, и об опасности население будет извещено заблаговременно.

Эбека плохо проглядывается сквозь муть и морось, когда чуть расходятся облака, видно седловину сопки, за ней — край жерла вулкана, над ним косо, точно фла-

жок,— белое плотное облачко. Вполне все невинно. И не качает, не трясет. Когда я на Маяке была под Петропавловском, ночью вдруг тряхнуло так, что я проснулась и с интересом глядела, как раскачивается лампочка на потолке. Здесь — ничего похожего, откуда же эти разговоры?.. Оказывается, весной приезжал какой-то ученый, предсказавший, что двадцатого августа будет извержение. Сегодня восемнадцатое...

Северо-Курильск живет по иным, чем мы с вами, законам, здесь еще свежо в памяти цунами пятьдесят второго года, разрушившее город. И если издали разговоры о цунами, о лаве и вулканических камнях, о пепле, похоронившем Помпею, кажутся скорее похожими на страшную сказку, тут они обретают очень реальные, близкие очертания. Здесь, где вокруг тебя и над тобой вода нецивилизованная, вполне дикая, а под ногами — неверно колеблющийся ненадежный камень, вдруг ощущаешь какой ты маленький и недолговечный...

Я брожу по поселку, захожу на рынок, где две скачущие тетки продают репу: три штучки — полтинник, яйца — три рубля десятка, варенец — рубль баночка... Такая дороговизна тут не из-за того, что репу выращивают в цветочных горшках, а коров и кур держат в комнате. Растет здесь и репа, и картошка, и лук, а коровы и куры чувствуют себя не хуже, чем на материке, — кормов вдоволь. Просто мало желающих обзаводиться хозяйством, сезонные настроения.

Счет дождь с ветром, холодина, под сапогами ползет грязь. Я забираюсь на горку, где меня поселили в заброшенном доме, растапливаю печку. Крыша течет, наверное, в двадцати местах, так что фанера, которой покрыт щелястый пол, вспучилась, одеяла мокрые, занавески мокрые, книги (кто-то здесь жил, уехал — все оставил) — мокрые, заплесневели, вдобавок ко всему, из крана непрерывной струйкой сочится вода... Печка накаляется, воздух в комнате становится парным, душным, я открываю дверь, но разве высушишь за день то, что мокло месяцами!..

Невеселое дело... Я тут «бродила» через две ледяных и, как оказывается, довольно глубоких речки, когда пошла с нарядом «на правый фланг» (наряд переправ-

лялся по всяческому мостику, я не рискнула), ну и простудилась, болит горло, температура. Болеть в командировке плохо: во-первых, перед людьми неудобно, все время такое чувство, будто симулируешь, отлыниваешь от дела, во-вторых, в этой парилке лежать — все равно лучше не будет. Я уйду на улицу, стою на горке, смотрю сверху на поселок, вспоминаю, как в Петропавловске начальник штаба Сентюрин рассказывал мне о цунами: он в то время работал здесь в комендатуре помощником по комсомолу.

Пытаюсь представить, как вот эта мокрая, но, в общем, твердая земля вдруг жидко поползла, заколыхалась, словно трясина, под ногами, как накренился и стал валиться набок заставский дом. И потом, когда все вроде бы успокоилось, крик: «Волна идет!» Ноябрь, четыре утра — не видно ничего, только шум какой-то, и черная масса, надвигающаяся из тьмы на берег: волна, высотой пятнадцать или двадцать метров... Все, кто мог, кто успел, побежали на эту гору, где я стою, в просторечье она называется «Машкин пуп», побежал и Сентюрин, прихватив чьего-то шестилетнего мальчишку. А волна обрушилась на город, попала на электропередачи, засверкали разрывы. Ушла... Подождали, стали спускаться, Сентюрин подумал: «Фотоаппарат дома на койке оставил, замочило, наверно». Подошел, а дома нет. Утром — штиль, солнце, как в Крыму, птицы поют, море синее, и везде, сколько видит глаз, плавают по этому синему морю на бревнах, на обломках домов люди... «Мне особенно запомнилось,— говорил Сентюрин,— два солдата за бревно держатся: один — с одной стороны, второй — с другой. А между ними голубь сел...»

Да, цунами — это серьезно. И теперь, когда радио дает предупреждение о цунами (почему-то чаще всего это бывает ночью), все с вещами, с ребятишками идут сюда, на гору, сидят до утра, ждут, а в поселке воеет сирена... Серое небо, серое море, серые, наполовину с заколоченными окнами дома, огороды, обтянутые вместо заборов старыми сетями, — от этого кажется, что поселок оплетен паутиной. Груды металлолома в порту и на пустырях, тяжелый запах протухшей рыбы — впрочем, обычный для всех рыбацких поселков.

**9** Еще когда мы ехали по тайге — «светлой» тайге, как называют дальневосточную тайгу ботаники, я вдруг увидела не далеко, не близко, в распадке сопок, удивительный кусочек: ненастоящей пастельной голубизны море, за ним — голубые горы. Мираж. Пока мы ехали эти двенадцать километров — то опускаясь в низину, то поднимаясь на перевалы, — кусочек все всплывал, не меняясь в очертаниях: невесомые, словно бы неосевшая голубая пена, сопки и туго натянутая сверкающая капелька воды.

Я все никак не могу привыкнуть, что тепло, солнце, лето. После двух месяцев скитаний под пасмурным северным небом, после того как не снимаешь теплую куртку, платок, сапоги — вдруг едешь в одной рубашке, в косынке — и тепло... Будто во сне. Главное, еще позавчера вечером был все тот же холодина, морось, утром у Шикотана вышла на палубу — теплынь... Вот что значат морские течения!

У меня замедленная реакция на события, я переживаю их почему-то не в тот момент, когда они происходят, а спустя какое-то время. Поэтому, хотя физически я уже на Кунашире, сознание мое пока где-то в районе Шикотана: посадка краболовов, шум, крики, потом высадка в Южно-Курильске — не менее экзотическая... Все еще качается под ногами палуба, ходит море. Ну, а тем временем я и встречавший меня в Серноводске ефрейтор Харагаев едем верхом по земле, по тайге.

Странное впечатление от этой светлой тайги: ощущение, что ты в заброшенном, заросшем парке или саду. Очертания сопок пухло-округлые, странные: я привыкла к настоящей тайге, где по хребту сопки — точно шерсть вздыбленная. В темной тайге в основном хвойные деревья, а здесь много ясеня, клена, бука, вяза, есть, конечно, и пихта и ели, но мало. Есть тут красное дерево с красновато-серым гладким стволом и редкокоготными, плоскими, точно веер, ветвями; знаменитая здешняя магнолия уже, к сожалению, отцвела. И все оплетено лианами. Впечатление неестественного изобилия: со всех веток неопратно-щедро свисают широкие шершавые листья винограда; круглые листья актинидий с зелеными еще ягодами; темно-зеленые листья гортензий —



цветы наполовину облетели; грязно-белые, точно крылья ночных бабочек, и среди них — зелененькие шарики завязей. Между этими приживалами, паразитами прорастают листья хозяина: мелкие зубчатые листочки вяза, глянцевые овальные — каменного дуба, широченные, словно ладонь великана, восьмипалые листья клена маньчжурского. Щедрость, грубая, сочная щедрость...

И цветы: вымахавшие в два моих роста голубые акониты; огромные (на таком листе даже я покажусь дюймовочкой) лопухи; белые, колышущиеся под ветерком, издали похожие на цветущую черемуху заросли японской гречихи — листья у ней широкие и грубые, как у подсолнуха, и сама она высокая, как подсолнухи, говорят, из нее получается великолепный силос. Оранжевые пестрые лилии — тоже огромные, каждый цветок как люстра. Щедрость, щедрость, бьющая по глазам, неестественная, нахальная... Или это после тундры мне все таким преувеличенно-огромным кажется?..

Звенят цикады, просто гул стоит в ушах. Почему-то я всегда была уверена, что цикада — это что-то вроде большого нежно-зеленого мягкокрылого кузнечика, видно, я путала их с богомолами. А это просто громадная, довольно красивая муха с прозрачными стрекозиными крыльями и рисунком на спине, напоминающем лицевую татуировку какого-то африканского племени. Муха! А слово «цикада» до сих пор вызывает у меня ощущение чего-то нежного, застенчивого, прекрасного. «Звон цикад» — это не звон, а мощное гудение — межреспубликанский струнный оркестр...

Приехали в Алехино. Синяя вода, голубые неуловимые переливы сопки на том берегу: так вот что я, оказывается, видела издали — японский остров Хоккайдо!.. Здесь — развалины каких-то построек, белый песок, песчаные холмы, на них щедро, густо, кудряво — кусты шиповника, вернее, розы даурской. Кое-где еще она доцветает крупными темно-розовыми цветами, но большинство кустов покрыты круглыми, с маленькое яблоко, глянцево-красными плодами. И на вкус они точно жестковатые яблоки.

Начальник заставы Самаркин и большинство солдат на стрельбище. Застава, помимо службы, занималась

целое лето строительством нового стрельбища, на тренировки времени не хватало, а не сегодня-завтра инспекторская проверка, солдаты наверстывают упущенное.

Звенит автоматная очередь, сыплются веером отстрелянные гильзы — на бугорке лежит в обнимку с автоматом солдат в противогазе, над ним, спиной ко мне, стоит на расставленных, чуть кривоватых ногах человек. Фигура ширококостая, крестьянская, но не грузная, а наоборот, впечатление собранности, звериной легкости. Человек оборачивается. Он молод, ему лет двадцать пять, не больше. Темное скуластое лицо, черные глаза, морщины на скулах, лицо умное, но жестковатое — «солдатское».

— Здравия желаю! — говорю я. Улыбаюсь, вообще делаю вид, что мне ничего не стоит вот так подойти к незнакомому человеку, начать с ним разговаривать, расспрашивать о делах, скорее всего меня не касающихся.

— Здравствуйте, — отвечает человек и протягивает мне широкую ладонь. Улыбка неожиданно-наивная, странная на этом солдатско-крестьянском лице, из-за того, наверное, что передний зуб обколот.

Отстрелялись. Занятия по физподготовке.

Самаркин называет мне фамилии солдат. Некоторые делают упражнения на брусьях и турнике красиво, другие натужно. Бурят Харагаев, который встречал меня в Серноводске, видимо, сильный, пластичный парень. Работает на турнике свободно, без отдышки, спрыгнет присев, как положено, вытянув чуть вперед руки, становится в строй, стоит немного наклонив голову набок, покойно улыбается узкими глазами. И еще Анатолий Голуб — крупный, тяжелый, белобрысый, курносый — работает на турнике и брусьях с каким-то неторопливым блеском, иногда ошибаясь; упражнения новые, — тут же, без смущения, правда, и без особого энтузиазма, повторяет их. По этому отсутствию энтузиазма, по уверенности в себе я узнаю «третий год». «Всякое видали — не страшно, если и ошибусь, за это не убивают, подумаешь!..» — говорят его светлые нахальноватые глаза. Добрые, впрочем...

К турнику подходит маленький солдатик, востроносый, чернобровый, смешной. С какими-то длинными нелепыми бачками на щеках.

— Он еще не бреется,— объясняет Самаркин,— потому и бачки.— И удивляется:— Алексеевич, когда это ты турник научился доставать?.. Поднимали все время,— говорит он мне.

Я жду смешка в строю, насмешливых улыбочек, но их, кажется, нет. Голуб смотрит, не отрываясь, как Сережа Алексеевич с видимым усилием раз шесть «делает угол» — и на лице его непроизвольно напрягаются мускулы: Голуб как бы помогает маленькому солдату осилить трудное. Алексеевич прыгивает — на лицах волной сходит напряжение. Не на всех лицах оно, конечно, было: Харагаев как стоял, так и стоит, глядя куда-то в себя, выражение лица несколько самодовольное, уверенное: он отличный солдат, этого ему вполне достаточно.

Сержант Сметанников, который проводит занятия, ловит Алексеевича за грудь и за спину, чтобы не упал, спрыгнув. И снова на лице его — это, общее большинству, выражение обыденной заботы.

Позже Сережа Алексеевич на мой вопрос просто ответит: «Да, это я корову дою... Нет, здесь, в армии, научился. Скоро повозочным буду!..» — и улыбнется странной своей улыбкой озабоченного тихого мальчика. А на всех других заставах солдаты, краснея, признавались, что они занимаются такой «не мужской» работой. На Медном я слышала, как Ким Баулин выдал в качестве последнего аргумента в споре: «Не знаю, я корову не дою!..» И краска пошла пятнами по щекам Рукавишникова. А здесь — ничего похожего. Выходит, дружно живут ребята? Этакого-то, маленького, неумеку, да еще дояра, ведь так легко задразнить, затравить...

Греки вон в число подвигов Геракла включили чистку Авгиевых конюшен. Подвиг! А он просто убрал навоз... Значит, дело еще и в точке зрения на предмет, в отношении массы к происходящему.

Сплю в заброшенном пустом домике, их много в поселке. Гражданского населения здесь сейчас нет: ушла рыба. Хотя тем не менее японцы ловят сайру: вон виден

сильный неоновый свет их шхун в проливе. Под полом неожиданно нежно, точно растревоженные птенцы, пищат всю ночь крысы — такое несовпадение отвратного внешнего вида и звука. Крыс полно; говорят, японцы их разводили специально для лисиц.

Утром у меня случился конфликт с заставским поваром. Собственно, никакого конфликта не предвиделось, просто я за тринадцать лет командировок основательно подпортила себе желудок и печень, поэтому два месяца полусухомятки и консервов дали себя знать. В таких случаях я стараюсь меньше есть, это, в общем, даже полезно. Когда я зашла для делового разговора к начальнику, он меня смущенно спросил:

— Вам наша пища не нравится?

— Откуда вы взяли?

— А Богданов ко мне прибежал: «Снимайте меня с поваров, значит, я неправильно готовлю, раз мне голодовку объявили».

Я объяснила Самаркину, в чем дело, потом зашла на кухню, объяснилась с Толей Богдановым.

Я бы не стала поминать этот, в общем, смешной случай, но меня удивило и тронуло, что солдат принял это так близко к сердцу. На заставах мне встречались повара, которые бывали довольны, если я хвалила их готовку, но ни разу еще не встретился повар, который заметил бы, сколько я съела, и начал всерьез переживать из-за того, что я не ем. Какое дело ему, двадцатилетнему мальчишке, занятому собой, своим будущим и настоящим, до чужой женщины, которая приехала и уедет? Значит, не укоренилась в нем повально распространенная, отвратительная мне формула: «Подумаешь!..»

Я не люблю, боюсь этого распространившегося в последнее десятилетие среди молодых и не очень молодых людей облегченного отношения к происходящему. Вероятно, это возникло, как защитная реакция на сложности современной жизни, потому иронично-камуфляжный словарь стал моден не только в обиходе, но и в литературе, есть масса произведений, написанных «камуфляжным» языком типа: «Слушай, старик, Ванька вчера дуба дал!» — «А, все там будем...» Мода эта от-

нюдь не случайна: известно, что каждое произнесенное слово влечет за собой соответствующую только ему определенную эмоцию, подобно как при нажмиме кнопки зажигается только вполне определенная лампочка. Поэтому, когда я говорю, что «Ванька дал дуба»,— у меня нет скорби об умершем, нет и повода, позыва задуматься, почему же так рано «дал дуба» этот несчастный Ванька— нет ли в том и моей вины? Камуфляжным словом я прикрываю кусочек души, которым скорбят, а также радуются, удивляются, делают доброе не за «ты — мне, я — тебе», а за «просто так»; которым любят. Но без употребления он атрофируется в конце концов, этот обнаженный и очень маленький кусочек....

Год назад я жила в подмосковном доме отдыха, там скоропостижно умер человек. Все отдыхающие его знали не один год: дом был ведомственный, туда ездили в основном люди, связанные одной работой. Умер он за вечерним чаем; во время ужина эта новость стала известной, все поахали, поудивлялись — и пошли в кино. Кинозал был в этом же здании, где комнаты отдыхающих, где комната, в которой лежал умерший. Никому, однако, в голову не пришло, что на этот вечер картину неплохо бы отменить: умер человек. Пусть не близкий твой друг, но живший и работавший рядом — человек же!..

Я стояла на улице, глядела на освещенное окно комнаты умершего, где появлялись и исчезали фигуры врача, сестер, нянечек, что-то там делавших, после приехала милицейская закрытая машина, покойника вынесли, повезли в морг на вскрытие. И было видно, как наверху, в открытой двери кинозала, мерцает голубой свет, несутся по экрану тени, гремит динамик, смеются зрители. Мне было странно: «Я или кто-то из них, любой из них, умрет — и тоже так? Также отмахнутся, как от мухи?.. Конечно, людей много, иногда устаешь от них, они тебя раздражают. Но уж если человек есть и живет где-то в поле твоего зрения, ты же все время чувствуешь его, помнишь о нем. и там, где он упал, остается отверстие, которое никто никогда не закроет! Нас на одного стало меньше — подумайте об этом, хотя бы сегодня вечером...»

Я не хочу этим сказать, что все плохие, а я — хороший человек. Я тоже плохой человек, но этот кусочек души, которым скорбят, радуются и удивляются, у меня всегда открыт, может быть, слишком открыт, но я не жалею об этом, не завидую умеющим защищаться от нежелательных эмоций: так, по-моему, ни жить, ни тем более писать невозможно, да и нет смысла.

Короче говоря, мы подружались с Толей Богдановым, и я часто стала приходить с черного хода на кухню поболтать с Толей, послушать разговоры: на кухне своего рода солдатский клуб.

Толя «чалдон» — сибиряк, жил в Вихоревке, призывался в Братске. И в Вихоревке и Братске я бывала сто раз, когда ездила на строительство дороги Тайшет — Лена. Нам с Толей есть что вспомнить. Вернее, Толя сообщает мне обо всех этих местах более свежие сведения: я там не была уже лет пять, а Толя уехал из дома в прошлом году. Я помню Братск строящимся, невероятно пыльным городом, где пыль особая, красного цвета, потому что кругом там — красные аргиллиты. Теперь, как и следовало ожидать, в Братске везде асфальт, крупнопанельные дома, зелень... Толя до армии тоже успел поработать каменщиком, их бригада построила два дома и гараж для автомашин.

Отец Толи — промысловик-охотник, брал, случалось, сына в тайгу, поэтому, когда в прошлом году новое пополнение прибыло на заставу, почти все стреляли неважно, Толя — всегда на пятерку.

Он очень смешной: волосы почему-то торчат дыбом, как у ежа, в синих круглых глазах всегда встревоженно-оборонительное выражение, даже когда смеется. Тонкошей, тонкурокий, на щеках и под глазами — красные полосы от жара печи, они у него не сходят никогда. Не-высокий.

— Я еще за год в армии подрос, — говорит Толя, — сантиметров на восемь. — Смотрит на меня настороженно: поверю ли? — И поправился килограмма на четыре: здесь режим ведь другой, чем дома.

Он берет таз с мусором, идет к помойке, потом возвращается, начинает мыть посуду, оставшуюся от обеда. Потом включает маленький транзисторный прием-

ник, слушает японскую музыку, стоит в своей любимой позе: облокотившись плечом о шкафчик, засунув руки под мышки, нога за ногу.

Они самые маленькие солдаты на заставе — Толя и Сережа Алексеевич, или, как тут его все зовут, «Сергей Иваныч». Жена начальника заставы Люся рассказывала мне, что, когда в прошлом году приехали «молодые», «старики», как водится, начали эксплуатировать маленьких, поручать какие-то мелкие дела, которые самим неохота делать. «Первый год» вообще обычно на побегушках. Смеются, целуют: «наш сынок, наш сынок», но гоняют. Сергей Иваныч, несмотря на свой маленький рост и кажущуюся наивность, человек в общем-то многоопытный, с крестьянской сметкой, поэтому он пораздумал и пошел к начальнику проситься дояром. Просьбу его уважили, и было с тех пор у Сергея Иваныча свое, ответственное дело, с которым окружающие считались, и других, зряшных дел ему не навязывали...

Толя выглядит чуть постарше и посамостоятельней Сергея Иваныча, потому отношение у Толи к соседу по койке несколько покровительственное.

— Сергея Иваныча в Серноводск послали, — говорит он мне и усмехается взросло, показывая щербину в зубах: — Доворили! Первый раз. Рад, лошадей побежал ловить... — Вдруг вздыхает: — Скорей бы «молодые» приезжали, надоело на кухне.

Через месяц Люся напишет мне, что «молодые» приехали, Толя передал одному из них кухню, а Сергей Иваныч — коров. Теперь они уже не «салаги», теперь уже можно самим покровительственно похлопать когнибудь по плечу: «Давай, сынок, жми, тебе еще лудиться да лудиться, как медному!..»

Подъем на заставе в час дня, все занятия начинаются не раньше двух (между прочим, настоящий пограничник, в отличие от меня, никогда не скажет, например, днем: «десять минут второго» — скажет: «десять минут четырнадцатого»), так что с утра я успеваю подняться на НП, поглядеть в трубу на Японию, а после — побродить по берегу. НП — на горе, ведет туда не очень крутая, хотя и длинная, лестница, но, вероятно, зимой в полушубках подниматься тяжело, тем более что кис-

лороду и на Кунашире не хватает пятнадцать процентов (океан его, что ли, поглощает, этот кислород?). Наверху, на березе, вырезано приветствие взошедшему: «С легким паром!» На НП на доске стола написаны фиолетовыми чернилами не слишком уклюжие, но искренние стихи:

Придя с работы, спи спокойно, мама.  
Я ночью буду бдительней вдвойне.  
Во мне, черноволосом и упрямом,  
Живешь ты и наша семья.

Я легкой не ищу себе дороги.  
Пусть пот, как звезды, падает со лба,  
Изо дня в день мне все дороже  
Это гордое звание: пограничник-солдат.

Ведь и вправду мальчики тут не в игрушки играют, если что — они будут первыми...

Иду по берегу моря, отлив. Песок плотный, как асфальт, идти легко. За полосой тумана на той стороне пролива видны сопки Хоккайдо, пролив серый, в рябинках, вздернутых ветерком. По кромке воды лежит, будто смотанная в мотки, тоненькая зеленая морская трава. Попадаются очень красивые ракушки: прозрачные, словно фарфоровые, конические, как шапочки лодочников, на шелковых японских рисунках «какимоно». И деревья на берегу, напротив поселка (говорят, здесь когда-то была летняя резиденция микадо), невысокие, изящно-неопределенных плоских очертаний, тоже как на этих японских рисунках.

Иду босиком, дорогу пересекает речка: вода горячая, душно пахнет. Бреду вверх, ноги аж ноют — так приятно идти по этой воде исколотыми, искусанными комарами и мошкой ногами. Чем ближе к скале, откуда бьет этот серный горячий ключ, — вокруг истока желтые обильные отложения серы, — тем горячее вода, тем гуще этот душный запах, тем толще желтовато-белый осадок на дне — словно мыло осело. И в моем сугубо городском подсознании ощущение, что иду по «промстокам» — из прачечной, что ли, вода? Потому чувство, что иду по нечистому, не первозданному: ведь так не бывает, чтобы «нутряная» чистая вода была



горячей?.. Вода стекает по деревянному желобу в японскую деревянную ванночку и через отверстие уходит сюда, мне навстречу, течет в море... Странное ощущение необыкновенного покоя дает она, эта первозданная водичка. Тут много «геотермальных» серных ключей с температурой пятьдесят — шестьдесят градусов. Один налажен стекать по деревянному желобу в солдатскую баню, два других — на берегу, рядом с поселком, туда приходят мыть посуду и умываться. Ну, а здесь, за скалой, «дикая» баня для приезжих.

Тепло, солнце. В небе, неподвижно размахнув крылья, парят два белоголовых орла. Возле ванночки на разломанных досках настила греется длинный зеленатоватый полоз, я плещу на него горячей водой, он медленно уползает в ежевичник. Чего тут только нет: орлы, удавчики, лисы, зайцы, спруты, медведей полно. За речкой в ежевичнике я видела медвежьи следы и лежки, ребята рассказывают, что наряд недавно повстречался с мишкой на перевале, пришлось пострелять из ракетницы, прежде чем он соизволил уйти.

В речке перед поселком скользят, высовываются из воды черные горбатые спины, мелькают острые плавники: идет горбуша. Упрямая рыба лезет вверх против течения, попадает на мель, бьется, пытается уйти, тут ее настигают вóроны. Они уже сыты, выклевают одну икру — по всей речке и на берегу белеет дохлая, полурасклеванная рыба...

В воскресенье мы с Самаркиным поехали на соседнюю заставу. Там, рядом с ней, два озера — «горячее» и «кипящее», мне хочется их посмотреть.

Ночью прошел дождь, тропу «по тылу», которой мы следуем на заставу, развезло. Лошади идут в гору по руслу ручья, трудно оскальзываясь на камнях, вода завихряется у копыт, не видно дна.

На заставе есть лошади и жеребенок. В солнечные дни я каждый раз вижу их на берегу моря: они лежат на песке разморенные, совсем по-человечьи развалясь, вытягивают шеи, поудобней умашивая на горячем большие головы с закрытыми глазами. Старый жеребец Перец спит, дергаясь во сне, губы у него отвисают, обнажив желтые зубы, он громко храпит. Первый раз слышу, как лошадь храпит!.. А светлень-

кий жеребенок Васька настороженно стоит возле, подогнув локтевые ножки, присаживается, чуть касаясь песка животом,— и снова вскакивает. Ему скучно, но один он почти не ходит, все время с матерью или со всем небольшим и непородистым — коротконогим, тяжелобрюхим,— но милым моему сердцу табуном.

Я люблю лошадей. Возможно, это говорит кровь моих недалеких предков, возможно, тут повлияли рассказы отца, в детстве заменявшие мне колыбельные. Про чистокровного араба Агата — без единой светлой отметины вороного коня, у которого на длинной лебединой шее — маленькая сухая голова; длинные ноги с тонкими бабками, легкая неудержимая рысь и преданное сердце. Отец прошел на нем всю «империалистическую», лошадь досталась ему, как карточный выигрыш. Агата не надо было привязывать: он ходил за отцом, как собака. Дважды его крали, и оба раза он возвращался. Агат подружился с Нерой — полугодовым сеттер-гордоном, и когда однажды проходящий обоз с ранеными случайно столкнул Неру с моста в реку, по которой густо шел лед, это заметил один Агат, заволновался, начал жаться к перилам и — отец едва успел спрыгнуть — махнул в воду, вытолкнул, вынес к берегу уже захлебывающегося, затертого льдинами глупого пса. Случай этот, поистине удивительный, поразил ездившего с отрядом писателя Сургучева, автора «Осенних скрипок», рассказ Сургучева «Агат и Нера» был напечатан.

Агат не раз спасал жизнь отцу: по резвости, по неутомимости не было ему равных. В походе они спали рядом, и Агат согревал отца; случалось, лежа за ним, отец отстреливался. А когда на Стоходе отряду пришлось, отступая, уходить через полосу горящих хлебов, Агат первый раз в жизни напугался, захрапел, налил кровью глаза, попятился. Тогда отец замотал ему голову шинелью — и Агат пронес его через огонь стремительно, как всегда.

Агата убили в перестрелке, а Неру в семнадцатом году, уезжая на гражданскую, отец оставил у каких-то случайных квартирных хозяев. Собака подохла на старой отцовской шинели, отказываясь от еды, не разрешая приближаться к себе. Подохла от тоски!.. Можно ли

объяснить такое инстинктом, рефлексами — прочим примитивным образом?

Главной мечтой моего детства было завести собаку и научиться ездить верхом. В витрине гастронома на Арбате была выставлена большая конфетная коробка, на картинке изображалось счастливое семейство: молодые отец и мать, длиннокудрые красивые дети — их я не помню. Но до сих пор отчетливо помню пса: сеттер-лаверак, большелапый, тяжелоухий, с холеной, густо выщущейся блестящей шерстью, с выражением покоя на морде. Вот такую собаку хотела я иметь, видела ее в счастливых снах. Но в детстве было не до собаки — сами ели не досыта, а теперь уж какая собака в моей разъездной, суетной жизни! Да и вообще в московской квартире держать собаку, на мой взгляд, жестоко. Собаке нужен простор, воля.

Я помню всех лошадей, с которыми сводила меня судьба в командировках. Лысана, с которым мы тонули в болоте в уральской тайге; Воронка, на котором я ездил по тувинским охотничьим тропам: среди низкорослых тувинских лошадок он возвышался, как слон, а я казалась себе магараджей; черного текинца со смешным именем Такси, с которого я впервые в жизни упала на галопе; маленьких «хакасочек» — первых моих лошадок, не понимавших по-русски, им надо было говорить «тор-тор» вместо «тпру». Орлика в саратовском цирке, на котором (когда по утрам у лошадей бывала разминка) я ездил по кругу, пытаюсь превозмочь центробежную силу, стаскивающую тебя с лошади, и беспомощное свое удивление, что нет узды, нет стремян — ты не хозяин коня, он подчиняется только хлопанью шамбарьера и голосу, то резко подхлестывающему: «Алле! Алле, Орлик!» — то ласково утишающему: «Ай, браво, Орлик, браво...»

Я люблю лошадей, люблю их запах — крепкий здоровый запах звериной шкуры, мешающийся с запахом разогретой солнцем, тоже крепко и пряно пахнущей цветущей тайги. Я люблю их глаза — огромные, влажные, настороженно ждущие сначала: «Ударишь?» «Обидишь?» И нервное подергивание шкуры, когда ее впервые касается твоя рука. После эти глаза уже смотрят добродушно-покойно или застенчиво-любовно: знают

уже, что подлости от тебя опасаться нечего, наоборот, в твоём кармане найдется для них кусок хлеба или сахара (впрочем, тувинские и хакасские лошади и собаки сахар не едят: просто не знают, что это такое). Что без дела ты лишний раз не ударишь, хотя, конечно, рука, держащая повод, должна быть крепкой, а голос понужающий — твердым, и хороший прут для всякого случая тоже не лишний. Ведь лошадь — не ангел, подрядившийся отвезти тебя в рай, она знает, что ходить без седла по лугу лучше, чем под седлом, по тропе; что идти медленно, когда впереди дальняя дорога, лучше, чем идти быстро; и вообще — не работать лучше, чем работать. Однако если номер не проходит, любая лошадь выполняет свою работу добросовестно и с достаточной отдачей, а если ты едешь на ней не день, а несколько дней или недель подряд, — тут уже устанавливается взаимопонимание, и контакт, и даже дружба, выражающаяся трогательно и прямолинейно. Лысан, после того как я, выбравшись сама, вытянула его за уздечку из трясины, подходил ко мне на каждом привале и тыкался лбом в плечо, а еще желательней — тоже в лоб. Если это случалось не неожиданно, я не возражала: постукаемся нежно лбами — и разойдемся, если же он подходил незамеченным, на лбу у меня оставалась шишка и ощущение легкого сотрясения мозга...

Мне хочется сказать слово в защиту лошади: она всегда будет незаменимой на охотничьих тропах в тайге и в горах. Лошадь вообще — прекрасное, гораздо более благородное, чем автомобиль, средство передвижения по природе: много ли увидишь, едучи в машине? С лошади же увидишь все, она пройдет там, где завязнет машина, к тому же длительное общение с лошадью делает человека добрее, умнее.

Здесь, на заставе, мы нашли друг друга с немолодым, но когда-то бывшим, видно, хорошим рысаком со странным именем Перец. Солдаты предпочитают ездить на резвом молодом жеребчике Борьке, но, на мой взгляд, он слишком пугливый и нервный, шарахается, как леди Макбет, увидев вдруг белый камень или заворотившийся изнанкой наружу лопух; если же дорогу вдруг перебежит лисенок — дальше Борька не пой-

дет ни за что. Шарахнется, уши поставит, начнет пятиться, упрется — хоть ты его убей. И бежит неаккуратно, ему ничего не стоит на рыси или на галопе хлопнуться со всего размаха на землю да еще и ноги задрать. Ему ладно — встал и пошел, поудивлявшись предварительно: что это, мол, такое со мной приключилось?.. А всаднику какво? Лететь с Борьки высоко..

Перец на рыси отстает от Борьки, трудно ему и спускаться под горку: ноги больные. Зато рысь у него ровная, мягкая, безсбоев, по камням он ходит осторожно, переправляется через трясину и реки с чисто человеческой осмотрительностью, выбирает, где грязь помельче, где спуск не так крут. Или возьмет и обойдет тайгой, где и тропы-то нет, а Борька прет напрямик, вязнет по брюхо, храпит, вскидывается, ставит уши...

Вот и сейчас Борька ломится по тропе, пугаясь, проваливаясь по седло, выдирается из трясины с треском, а Перец философски-неторопливо раздумывает, куда бы ему поставить ногу, танцует по краешку трясины, укладывает следы в ниточку. Проваливается все же — и, напрягаясь, вскидывая задом, выдирается из схватывающей, как бетон, грязи, дергает шкурой на брюхе — идет дальше. Спотыкается о корни — вздергивая мордой, опирается на повод. (Сколько меня учили, пока выучили: споткнулась лошадь — натяни повод, чтобы ей опереться было на что. А мне казалось странно: ведь я же на ней сижу? Похоже, как барон Мюнхгаузен себя за косичку вместе с лошадью из болота вытащил...)

Глубоко вниз уходит распадок, там темно, там несетя ручей, пахнет сыростью и гнилью. Пихты начинаются где-то на дне распадка и, проходя мимо нас, кончаются острыми вершинами высоко в небе. Толстенные стволы вяза, растущие из одного корня, извиваются, словно пучок ненавидящих друг друга удавов: сначала ствол идет параллельно земле, потом — извив в сторону, потом — кверху, опять вниз — пошел, пошел, пошел вверх, раскидал ветви, лианы его запутали — но все-таки продрался к солнцу. Тех деревьев или камней, что придавливали его маленького, мешая расти прямо, давно нет, а извивы, непрямота эта осталась на всю жизнь...

А вон знакомое дерево с красноватым в узлах ство-

лом, с веерной редкой и плоской хвоей. На хвое — красные ягоды, неожиданные, словно мандарины на елке. Самаркин набирает горсть и ест, я тоже пробую: водянисто-сладкие, не увлекающие. А внизу на тонком безлистом стебельке какие-то синие ягоды развешаны, крупные, как бусы. С купены лекарственной свесились красные ягодки-слезки, еще какие-то красные нарядные ягоды на низенькой травке: осень... Только на сумaxe-«ипритке» не имеется никаких особенно отличительных знаков: неприглядные, редуенько-бледные кустики, только по трехлистья тrefовому и узнаешь. Много его в тайге — покачиваются тонконогие среди папоротника, вьются бледной лианкой по деревьям. Если обстрекался об «ипритку», пойдут по всему телу пузыри и краснота, полгода не избавишься, расчешешься в кровь, измучаешься...

— Хотите, я вам стихи почитаю? — говорит Самаркин.

— Свои? — удивляюсь и огорчаюсь я: так хорошо ехали!..

— Свои.

Читает. Надо сказать, я ожидала услышать неуклюже-наивные строки, многожды слышанные мною от людей военных и не военных, пронизанные вполне искренним желанием автора напечататься. Прочел же он мне вот что:

Вы меня, я знаю,  
Скоро увезете,  
Поселите где-то  
В области тоски.  
Делать будут снова  
Скоро протоколы  
Две мои большие  
Вялые руки.  
Буду жить лишь телом,  
Буду что-то делать,  
А усталость буду  
Водкой заливать.  
И, конечно, летом  
Не замечу лета,  
А зимой не буду  
Крепко замерзать.  
Потому что лето  
Есть только в деревне,  
И зима зимою  
Может быть лишь там,

Где я рос зеленым,  
Озимью подобно,  
Где созрел подобно  
Желтым колоскам.  
Увезите тело,  
Увезите руки,  
Увезите ноги,  
Голову в беде...  
А душа уедет  
Навсегда в то место,  
Где меня родила  
Мама в борозде...

Честно говоря, я даже опешила, не нашлась что сказать. Попросила прочесть еще. Попадались стихи наивные, попадались просто плохо срифмованные строчки, на большинстве стихов лежала явная печать влияния Есенина — и тем не менее подкупало полное отсутствие «продажности» (так я называю вещи, написанные с расчетом на «пятерку», с намерением умиловать редактора печатного органа злободневной темой, трескучим набором фраз). Подкупала несомненная одаренность автора, подкупала везде сквозившая тоска человека, оторванного от земли, по земле...

Я вышел вечером из дому  
С тяжелой душой на душе.  
В глазах была стерня, солома,  
Грачи в весенней борозде...  
Душа тихонько заскулила.  
Родные вспомнились края.  
Так, помню, наша сука выла,  
Когда собрался ехать я.  
Остановился — как прилип я  
К асфальту. Ноги мне свело:  
Стояли стриженные липы  
И тополь бритый наголо...

Положено ли военному человеку тосковать по запаху распаханной земли? Вроде бы не положено. И, однако, тоскует — что с ним сделаешь! Пройдет десяток-другой лет, тоска притупится, возникнет привычка к военной службе, к сравнительной беззаботности: государство обеспечивает всем. Привычка к кочевой жизни. Бросит, наверное, все-таки бросит писать стихи. И прорвется эта тоска уже по выходе на пенсию жела-

нием купить домик, насадить сад, выращивать свою кашу, свои огурцы, консервировать соки, варить варенье... Сколько угодно таких военных, вышедших в отставку и давших наконец волю этой глубоко дремавшей, сугубо российской тоске по земле! Что делать, нет у нас, у русских, военных по крови, по рождению, все мы с тем, что иностранцы зовут «русской загадкой» — извивчиком в душе, с лабиринтом, бродя по которому сам не знаешь, куда придешь... Мы на самом деле — «мирные люди».

Выехали из тайги в заросли бамбука: по седло высотой тоненький травянистый стебель и широкие сухие листья. Глянешь вниз — склон сухо, неживо как-то сверкает, подобно как убранное кукурузное поле, засыпанное листом, вяло светится под солнцем. Борька вдруг останавливается, упирается — ни в какую не идет дальше. То ли змея проползла, то ли лисенок прошмыгнул. Я пускаю Перца вперед, едем.

Ах, какой покой, какой необыкновенный покой и умиротворение... Зеленые сопки идут туда, сюда, сколько видит глаз — повыше, пониже... Пятнами по ним — светлая зелень бамбуковых зарослей, а в ней — крохотные темно-зеленые группочки островерхих пихт. Синее небо, на нем, далеко, синее вулкан Менделеева, белым облачком над ним — тяжелое дыхание Земли. Такая красота, право...

Выехали на вершину. Тут много кедрового стланика, крохотные кусты рябины, шикша, брусника — здравствуй, мой остров Медный... Здесь можно ехать рысью, и скоро мы выезжаем на взгорок, отсюда видно темно-голубое длинное озеро, причудливо уложенное между серыми холмами, рядом, — крохотные домики заставы.

Спускаемся вниз. Встретивший нас начальник заставы жалуется, что в пасмурную погоду на заставе нечем дышать от серных паров. Металлические части моментально окисляются и ржавеют, с аккордеона слезла никелировка, даже с бокалов, которые купила жена, послезапали золотые полоски... Кто бы подумал, глядя на эту голубую тихую водичку (совершенно, между прочим, холодную), что она способна так отравлять людям жизнь!

Застава новенькая, домики выкрашены зеленой



краской, везде чистота идеальная, тишина. Березы над озером — нежнолистые, неестественно белоствольные, словно бумагой обернуты, склонились над водой, покачивают тонкими ветвями. Милый, классический российский пейзаж в кратере курильского вулкана...

До «кипящего» озера езды десять минут, однако Борька ухитряется споткнуться ни обо что и хлопнуться, как он любит: сначала набок, затем перекувыркивается на спину, задрав ноги. Встает, недоуменно оглядываясь: произошло что-то? Поднимается и Самаркин, целый, но смущенный падением.

— Хорош пограничник, — говорит он. — С лошади упал.

— Упала лошадь, а не вы, — утешаю я его. — Известные Борькины штучки!

Густой запах серы. Впереди мыльно-грязная, довольно большая лужа, по виду — отстойник химзавода. Склон холма и берега голые, кое-где слабо пробивается зелень. Рядом рыжее болото с низкой травкой, на нем мирно пасутся заставские лошади.

Подъезжаем, спешиваемся, щупаем водичку: горячая, но до кипенья далеко. Только запах серный, крутой, душит прямо. По берегу тут и там — вороночки, в них клокочет зеленая, на взгляд ядовитая, словно раствор кислоты, жидкость. В неглубокой трещине тоже кипит вода, пар густо стелется, задевает за стенки, отлагается желтой серой. На другом берегу валяются ржавые круглые котлы: японцы варили в них серу.

Решаем проехать туда по болоту, пасутся же на нем лошади. Самаркин едет некоторое время — и вдруг проваливается. Борька дергается, пытается высвободить ноги, бьется, уходит все глубже. Самаркин сползает с него, встает, тянет за уздечку, Борька вытягивает шею, дергается всем телом, дергается еще раз — и вдруг ложится на бок, тяжело дышит, глаз неподвижно и грустно глядит в небо: все...

Лошадей, пасущихся рядом, будто ветром сдуло на край болота. Все произошло в одно мгновение, я, со своей замедленной реакцией, еще никак не осознаю: что же случилось, что делать? Потом бросаю повод: авось не уйдет Перец, — подхожу к Самаркину. Тот в отчаянии тянет Борьку за хвост, говорит раздраженно:

— Смотрите, сами не провалитесь!..

Я беру узду: господи, еще не хватало, удила выскочили! Жеребец даже не приподнимает голову, только обреченно поводит на меня глазом. Я подхожу ближе, опасливо наступая на дерн: подается под ногой тоненькая корочка — вдавливаю, втискиваю. Борьке удила в зубы, застегиваю, беру уздечку. Тянем — я за уздечку, Самаркин — хвост. И вдруг Борька, воспрянув духом, рвется, выбрасывает передние ноги на дерн, опирается — и, немного вырвавшись из трясины, снова сваливается на бок. Грязь, наверное, теплая: идет пар. Целебная небось грязь... Мы опять дружно и уже более уверенно тянем Борьку с двух концов, и — чудо! — вот он уже на ногах. Самаркин быстренько ведет его прочь с гиблого места, стоят на взгорочке, отряхиваются: принял Борька грязевую ванну...

Я благополучно ловлю Перца, веду его — и вдруг он тоже проваливается по самое седло, судорожно выбрасывает передние ноги, расставляет, умница: так надежней. Я тяну его со всей силы за уздечку: «Тихо, тихо, лапа, не бойся, все будет хорошо...» Слава богу, вот и мы на твердом, у меня даже ноги дрожат, никак в стремя не попаду.

— Этой весной у них тут жеребец утонул, — говорит Самаркин. — Медведь его в болото загнал, засосало по самые уши. Медведь содрал скальп — и ушел.

Хорошенькое дело...

**10** Утром Самаркин зашел ко мне с какой-то запиской: — Вы английский знаете?

— Без словаря сложный текст не переведу.

— Поглядите. Это я на берегу бутылку нашел, туда было засунуто.

— Бутылку?

— Поллитровую бутылку из-под водки японской, в ней была записка.

Вот это да! «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта» — еще какие там ассоциации всплывают в памяти?.. Беру записку: напроць незнакомый текст. Я даже бледнею от стыда. Потом соображаю: да это просто японские слова, записанные латинскими буква-

ми,— три строчки синей пастой, крутым, плотным почерком. Перевертываю записку: видно, вот этой стороной она была свернута кверху, написано крупно, чтобы обратить внимание: «Look for m Japa». Ниже — просьба вернуть записку по указанному токийскому адресу. В другом углу листка — стихи: «Somewhere lives my love. Somewhere on tre sky or in the sea...»

Скорее всего, это какой-нибудь японский паренек, отчаявшись найти любимую рядом, решил поискать ее на море или на небе. Но может быть, это тайный шифр?.. Записку отправляют в отряд.

Вечером я еду с Анатолием Голубом в ночной дозор. На берегу еще серо, а в тайге уже почти темно, дорогу не видно, только изредка в просвете на пятне неба вырисовывается ствол автомата, четкий острый рисунок пограничной фуражки и широкие плечи Голуба. Развилка дороги — я тяну повод направо, хотя Перец сворачивает налево. Надо, оказывается, налево. Перец, наверное, мог бы ходить с дозором один.

Крутой спуск, сыплются камни — и вот уже мы снова на берегу, по другую сторону горы. Летит из-под копыт песок, мелкие камни, глухо бухает раздавленная лампочка. Много тут всего выбрасывает прибой...

Ах, какое черное огромное просторное небо — когда я еще теперь увижу так много чистого, незадымленного, свежего неба... и пролив, освещенный светом звезд, не черный, а с сероватым ртутным сверканием, небольшая волна не рвет поверхность, перекачивается внутри, только складки собирает. Кажется, что шкура бесшерстного животного подергивается — огромного, бесформенного, серого...

Летят камни из-под копыт, пофыркивают, екают селезенкой кони. Впереди загораживает небо какой-то силуэт: скала? За ней другая — боже мой! Маленькая голова воткнулась в небо, задрана: звериная, птичья? И громадное цилиндрическое туловище. Но главное — голова: идиотическое и зловещее что-то. Вырвала, закрыла кусок звездного неба, а звезды текут вокруг, струятся, качаются. И море шумит, сбрасывает на берег свою ртутно-серую шкуру. С ума сойти...

— Это два брата,— говорит Голуб.

И тут «братья»!

— Они одинаковые были, как вон тот, первый. Потом у этого камни посваливались — и получилась голова.

Едем, а я все оглядываюсь назад. Стоят две скалы, как ворота куда-то, как две вежи, два памятника чему-то. Чему? И главное, вокруг них — гладко, точно каменные бабы в степи...

Толя Голуб развлекает меня всякими веселыми разговорами, вдруг резко тормозит Борьку. Перец тоже резко останавливается, я едва не вылетаю из седла. В прибое чернеет какое-то сооружение из досок. Толя пытается направить Борьку в море, чтобы осмотреть предмет поближе, но этот номер, конечно, не проходит: Борька пятится от волны и храпит. Тогда Голуб соскакивает, дает мне повод.

— Плот...— говорит он как бы побледневшим голосом.

Я сначала не понимаю, что за причина его тревоги, потом до меня доходит: плот, значит, возможен нарушитель?

Толя вытаскивает плот дальше на берег, оттягивает, чтобы не снесло в море. Долго ходит согнувшись по берегу, осматривает.

— Вроде нет следов.

Едем к обогревателю, сообщаем на заставу о находке. Самаркин долго расспрашивает, что и как, потом звонит на Маяк, узнать, не унесло ли у них плот. Приказывается нам следовать по заданному маршруту: на место происшествия будет выслан специальный наряд.

Мы встречаем наряд, когда едем обратно. Отозвавшись на пароль, ребята пробегают мимо сосредоточенные, серьезные, иные, чем днем или вечером, когда мы болтаем о пустяках на завалинке перед волейбольной площадкой. Наверное, ничего страшного, хотя плот в проливе — это ЧП, не то что в океане, где чего только не выбрасывает. Конечно, вряд ли это нарушитель, но может быть нарушитель, может быть и десант, все может быть...

Утром, еще затемно, мы снова едем на место происшествия: Самаркин, Сметанников и я. В тайге темно, когда спускаемся на берег, небо начинает сереть, подни-

мается ветер, натягивает облака. Два «брата» в серых рассветных сумерках — просто две скалы.

Доехали до плота, осмотрели, после, чтобы никто не мог им воспользоваться, разломали. Сбит он из российского происхождения досок от ящиков и из бревен — вернее всего, пользовались им туристы или рыбаки на реке. На всякий случай еще раз осмотрели весь берег, потом проехали на Песчаное озеро. Но и вокруг него на бесконечно гладких песках нет никаких следов...

Красивое озеро, это Песчаное. Позади него дымится, подсвеченный розовыми солнечными лучами, вулкан Менделеева, вода в озере гладкая, синяя, лежит неподвижно в глубоко изрезанных берегах — точно нарисованная. Два небольших холма вдаются в озеро, на них елочки или пихты островерхие, редкие...

Но еще чудесней неподалеку от озера — небольшой омуток, берега заросли высокой травой, вода в омуте смутная, черная, серое облачко в ней отразилось. Наш российский поленовский омуток — аж сердце засадило.

Ах, поля, овраги, речки светлые, рощи березовые в осеннем уборе, омута темные, — Россия моя милая, любовь моя...

Соскучилась. Домой хочу.



## ОДБОРОВЬЕ, САМОЛВА, ВОЛКОВО, ГОД 1969

**1** Деревня Подборовье стоит над Чудским озером. Небольшая, дома то косо, то прямо прилепились к песчаным буграм, бессистемно в общем: тут дом с садом, там дом с садом, здесь три дома подряд, там десять домов подряд. Словно сжали когда-то деревеньку в горсти, как леденцы, — и дома остались, какой где прилип. При всем при том впечатление праздничности и уюта, наверное, оттого, что деревня как бы сама собой переходит в песчаные холмы, на которых растут низенькие, с длинными пышными иглами сосны, а те холмы — в сосновый чистый лес. В синюю воду озера глубоко вдаются песчаные косы, белопесчаный берег замусорен сухими коровьими лепешками, обломками жердей, к которым рыбаки крепят снетовые рисцы. (По-новому их зовут «гиганты», я бы местное название этого орудия лова перевела, как «вентири», «заколы», известные, как мне кажется, более широко.) Раньше, когда сватали девушку, говорили: «Настя, можно идти, он богатый, снетовые у них рисцы есть, овцы есть, коровы». Сначала главным аргументом — снетовые рисцы, а после уж овцы, коровы... В эти снетовые рисцы во время путины должен в больших количествах попадаться снеток — крохотная, очень популярная на Псковщине рыбка. Наша подборовская хозяйка Шура угощала нас картофельным супом с сушеными снетками, в меню псковских ресторанов есть даже «салат из

снетков», «снетки с квасом». Я бы не сказала, что снеток вкусный или там невкусный, я бы не сказала, что у него вообще есть какой-то вкус. Видимо, к нему надо привыкнуть.

Внизу, возле рыбацких сараев, бабы моют на мостках самотканые половики. Ткет такие половики на кустарном стану Мария Яковлевна Попова шестидесяти шести лет. Соткать «стену» — шесть метров — стоит два рубля, сырье — нарванные тонкими ленточками и покрашенные в разные цвета старые рубахи, платья, халаты. На основу идут «торговые» нитки. Получаются же изо всего этого пестрые яркие дорожки, ими, полоса к полосе, словно ковром, застилают тут в избах полы. Скоро престольный праздник в ближней церкви, в Кобыльем городище, деревенские хозяйки наводят чистоту: наверное, полдеревни собралось сейчас на «канале» — узкой протоке, ведущей от залива к пристани. Мочат, намыливают, колотят, полощут — и тут же, на жердях, развешивают эту наивную, всем доступную красоту.

Жерди высоченными белыми вигвамами наставлены вдоль пойменной низинки, здесь же сушатся вымытые чиненые снетовые рисцы, сети, прочая снасть: путина окончена, следующая начнется в августе. Впрочем, подборовская бригада в озеро еще ходит, ловит уклейку — мелкую рыбку, идущую на корм свиньям, вычерпывая, как водится, заодно и молодь «доброй» рыбы — сига, судака, леща и прочих. От уклейки, подсоленной и вялящейся на мосту перед заготовительным цехом, ползет тяжкий острый дух, привычно присутствующий подле каждого рыбацкого поселка.

Женщины, кто стоя на мостках, а большинство по колону в воде — так ловчее, — полощут, выжимают яркие дерюжки, громко переговариваются, обыденно употребляя матерные слова. Рвется, играет у них под руками солнце, сверкают белые, высоко оголенные ноги, сверкает белое дерево жердей, сверкают капли, стекающие с бортов вытащенной на берег канала лодки, сверкает вода, текущая с развешенных половиков.

Женщины привычно-мерно наклоняются, широко идет спина следом за влекомой против воды тканью, резко выпрямляются, ловко перехватывают сгибы тугого жгута, напрягаясь, отжимают, утирают локтем брызги,

попадающие на лицо. Вот уже и не ткут они себе «точиво» со льна: ткали совсем недавно, теперь покупают «торговые» полотенца, простыни, наволочки; горит в избах электричество, а не лучина, не керосиновая лампа, появляются и стиральные машины — очень хорошо, я, конечно, не за искусственное торможение того, что должно прийти.

Но баба, полощущая с мостков белье, ивовая корзина с мокрым бельем, стоящая возле, — обыденная деталь многих жанровых картин не такого давнего времени; я хочу это сберечь в глазах, запомнить. Уходит эпоха тишины.

**2** Название «канал», вероятно, привезли сюда ленинградские дачники — их много, почти в каждом доме, в августе, когда пойдут грибы, клюква и рыба, будет еще больше. Из Ленинграда надо добраться до Самолвы, а из Самолвы до Подборовья — моторкой полчаса. Сейчас все близко, даже Камчатка: двенадцать часов самолетом.

Я здесь с диалектологами. Руководитель нашей экспедиции Вера Федоровна Коннова, основываясь на сравнительно недавних материалах предыдущей экспедиции, рассчитывала, что речь местных жителей пребывает все в той же относительной чистоте. Увы! Дачник и турист за последние пять-шесть лет проник всюду, глухомани как таковой теперь нигде нет, сказывается это и на том, что носят, и на том, как говорят. Подборовские коротко остриженные девицы (косу нынче скорее в городе увидишь, чем в деревне) моднее моды: платья у них еле прикрывают бедра. Старики, к которым мы ходим записывать «слова», удивляются и умиляются тому, как скромно одеты наши студентки Аня и Лена.

При всем при том, однако, старшее поколение подборовцев диалект сохранило: первое время я с трудом понимаю скороговорку Шуры, тем более что она дело не в дело вставляет везде непривычное словечко «эта-ю». «Ена все бабничала раньше ребятишек. Акушерка эта-ю... Только ена вошедши, у меня Ванька — пек вон!..», «Ня будете вы больше взяты с нам вместе, эта-ю... Господи, да мы локтем перякрестимся!..»

По определению той же Веры Федоровны, говор



здесь — так называемый средневеликорусский, окающий, с развивающимся аканьем и яканьем. «Г» взрывное, есть цоканье и одновременно «ч» твердое, как реакция на неправильное употребление «ц». Кроме того, утрачены окончания у глаголов в третьем лице единственного и множественного числа, типа «он жде», «они еду».

Теперь у каждого свое «хобби»: кто коллекционирует замки, кто иконы, кто фарфор, кто спичечные коробки. Я недавно обнаружила, что и я не хуже людей: сколько себя помню, коллекционирую «слова». Еще девчонкой начала записывать, как разговаривают моя бабка и тетки по матери (владимирские) или моя сибирская тетка, сестра отца, потом, когда стала ездить в Сибирь на стройки, записывала, как там говорят. «Дождик обутрел» (разошелся к утру), «Так маненько сорит еще, а быдто весь...» (опять о дожде), «Вот он коли надулси! Дулси-дулси весь день, пыхтел-пыхтел дожджик...», «Штанов-ти не носили бабы, похвошешься эдак-то вот сарафаном от мошки и опеть жнешь» (не жнёшь, а именно жнешь!), «Старик у меня побывалый: в Братском был, в Иркутском был, я нигде-то не была, чашшà у нас тут непремоziмая!..», «Сыт — не сыт, а бодер. Едим не гля сытости, а гля бодрости», «Жалко тебе, что ли?» — «Не жалко, да убыват!», «Я роботы не боюсь, хошь цельный день возле нее пролежу!» Про замужество: «Беруть, надо идтить — это дело сезонное!» Много всего такого назаписывала для собственного удовольствия. Ну, а теперь вот слушаю и записываю, как подборовские говорят про тот же дождь: «Э, робята, к вечеру дождж поляти». — «Астроном какой нашелси». — «А свиння мерлог (берлогу) хоче делать». — «Гляди, и правда вздымается туча, к вечеру дождж поляти». — «Было стольки дожджа, а ена слилася вся туда, к залесским, туча. Образник и говдоря: «У них свиння погоду указывае...»

Есть тут в обыденном употреблении вещи, запоминающиеся сразу. К примеру: «снег поляти», «дождж поляти». Мы говорим «дождь идет». Хотя почему «идет»? Уж действительно скорее «летит». Старшие подборовцы упорно говорят «конь», а не «лошадь». «Возьмитя и нашего коня пасть», «у ёво было пятьдесят кдней». «Конь» — праславянское по происхождению слово, «лошадь» в части во-

сточнославянских диалектов появилось много позднее, в западнославянских языках до сих пор употребляется только «конь». Услышали мы здесь «поросенок кикнул», «пятун квичы». Помните, в «Слове о полку Игореве»: «Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче» (Тогда по Руской земле редко пахарь покрикивал, но часто вóроны граяли, трупы меж собою деля), «Ярославнын глас слышитъ, зегзицею незнаемѣ рано кычеть: «Полечу, рече, зегзицею по Дунаеви...»

Березовую рощу за огородами здесь зовут «лядиной». А далекие наши предки кривичи, словене, дреговичи и прочие славянские племена, живавшие в этих и иных краях, называли «лядиной» место, выкорчеванное и выжженное под пашню.

Язык обиходная вещь, «особая система знаков», почти что цепочка дырочек в перфокартах, которые управляют в кибернетические машины,— владеешь им и до поры до времени не удивляешься. «Ляжу в лядине, в лопухах, кричу Тамару, а ена ня бежи...» — говорит наша Шура. Сбереглось в живой речи необычное слово — и вдруг вспоминаешь, что более тысячи лет назад кто-то в первые произнес здесь его: протянулась, замкнулась ниточка длиною в тысячу лет. Но почему «лядина»? «Кыче» — можно еще понять, почти звукоподражание; но «лядина» — поле, выжженное, подготовленное для того, чтобы посеять хлеб? «Лядина»? В архангельских и вологодских говорах сохранилось «ляд» — «черт», «леший». «На кой ляд он мне сдался!» Может быть, у кривичей так называли одного из их пантеических богов? А после, чтобы помогал, перенесли его имя на важное место, которое должно накормить? Теперь уж не узнаешь, можно только гадать. Зато достоверно подлинно до мельчайших подробностей живет в языке наша долгая-долгая история. Слияние племен и разъединение под властью враждовавших князей; крещение Руси и татарское иго с его «сарафанами», «базарами», «сараями», «сар» (царь) — тоже татарское. Включение русских земель в состав Литовского царства не прошло бесследно для обоих языков; запомнил русский язык и заигрывание Петра с «немцами»; правда, перенесение столицы в Петербург сказалось много позднее, потому что вокруг новой столицы не было то-

гда еще населения с устоявшимся диалектом, сам же Петр «акал» по-московски...

Впрочем, все это понятно. Непонятно, удивляет меня другое. Вот, для сравнения, простая вещь: вы глядите с обрыва на море. Или же на убранное ржаное поле, на нем стоят стога, за полем — осенний лес, а рядом течет неширокая, небыстрая черная речка. Отчего же смотришь — и нет сил оторваться, сжимается горло, колотится сердце, и уходишь потом, чувствуя, что с тобой что-то произошло? Наши наивные предки верили в «душу» леса, реки, поля — может, ты вдруг услышал прикосновение ее?

Похожее происходит от «слов». Слушаешь, как Журавлев читает Пушкина (например!) — просто слова, в тексте ничего особого ведь не случается; но слушаешь — и ходит в тебе счастливая благоговейная слеза, сжимается сердце — ты стал вроде бы на какое-то время чище, лучше. Катарсис — отчего? От слов? От слов... Помните: «Бабка пошептала — и прошло». Значит, совсем недавно, когда люди верили в сверхъестественную силу слов, они еще не потеряли способность удивляться тому, что есть слова, что люди их говорят, обращаясь друг к другу. Удивлялись, что от слова можно заплакать или, наоборот, засмеяться. Не от действия, а от слова... Наивно?

А помните великую наивность современников убиенного Дмитрия, всерьез выслушавших приказ: колокол, созвавший народ на сходку, бить публично плетью, отрубить ему ухо, вырвать дерзкий язык? Отправившихся в Сибирь вместе с опальным колоколом, не забывших о нем; спустя многие годы вернувших его в родной город? То-то мы понедоумевали бы и посмеялись над этим нынче!.. И дело тут не в серьезности времени, дело в нас самих. Мы разучились удивляться и благоговеть, нам кажется, что мы все на свете знаем, в вопросах «смешно», «наивно», «неприлично» давно уже руководит нами тот самый «интеллигентный мещанин», о котором когда-то Герцен писал: «...Это та самодержавная толпа сплоченной посредственности, которая всем владеет, толпа без невежества, но и без образования». Никаких тайн, никаких глубин духа и порываний к мирам иным. Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая посредственность. Есть то, что есть, и ни-

чего больше нет, ничего больше не надо. Серединное царство, царство вечной середины...

Ну вот, а на Волхонке, в давно не отремонтированном здании, расположен и с неторопливым упорством действует Институт русского языка. В фонотеке, которой по-домашнему неспешно заправляет кандидат наук Роза Пауфашима, более двух тысяч пленок с записями живой речи бабок, баб, дедов и мужиков — горьковские, псковские, архангельские, вологодские, новгородские, рязанские, вятские, курские, саратовские, и прочая, и прочая, и прочая. Рассказы о «прошлой жизни», о смерти близких, о свадьбе, о хорошем председателе, о войне, о том, что носили, как мылись в банях, что ели. Слушать записи можно бесконечно, по нескольку раз прокручивая одну и ту же пленку, доставляет это такое же наслаждение, как хорошая музыка.

От чего наслаждение? От слов...

«Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк! И виждь и внемли, исполнишь волею моей. И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!» Глаголом, словом и посейчас обжигается, направляется сердце человеческое.

**З** Главные наши «информаторы» — старики, предпочтительно родившиеся в Подборовье и никуда отсюда надолго не выезжавшие. Вера Федоровна переписала у бригадира таких стариков, и мы ходим из избы в избы. Лето, дел в огороде и дома полно, все от стара до мала заняты, но наша начальница заходит в дом уверенно, громко спрашивает, здесь ли живет такой-то и дома ли он, решительно садится, раскрывает блокнот и говорит привычно громким голосом (старики глуховаты): «Дедушка (бабушка), мы вот из Москвы приехали с экспедицией, нам нужно вас про старину расспросить». Я в этой ситуации чувствую себя неловко: видно, от прадеда-крестьянина, минуя более поздних предков, вжилась мне в кровь — есть дело и есть безделье. Шестнадцать лет профессионально занимаюсь литературой — и все чувствую себя о к о л о дела, робею мешать человеку, когда он работает руками. По сути, конечно, ощущение глупое, и Вера Федоровна права, считая заполнение своего вопросника важнее прочих дел.

Действительно ведь важное дело. Тем более что у подборцев каких-то заметных общественно полезных занятий не наблюдается. Здесь, как мы успели понять, главный двигатель всякого шевеления человеческого — побольше нагрести руками к себе. Действие, безусловно, тоже нужное, но тогда об альтруизме и взаимных уступках речи быть уже не может — чья возьмет. Как правило, под натиском Веры Федоровны берет «наша».

Хозяева откладывают срочные и несрочные работы, садятся, начинают отвечать на вопросы. Поначалу не очень охотно, но, с течением беседы постепенно самовозгораясь, по собственной инициативе уже припоминают случаи и подробности прошедшего. Людям вообще втайне нравится говорить о себе, особенно если их со вниманием слушают. Старики тем более клюют на эту наживку, ведь их не балуют вниманием. Встречаются и исключения.

Андрею Филиппычу Короткову, отцу нашей Шуры, восемьдесят шесть лет. Седые мягкие лохмы густо покрывают большой череп, налезают на загорелые, заросшие седым пушком уши, глаза под желтовато-седыми бровями внимательны, не злы, голубеют водянисто, как у большинства старых рыбаков. Впрочем, последние тридцать лет Андрей Филиппыч работал бакенщиком. Он в красном, домашней вязки (и шерсть со своих овец, и спряли и связали дочери) свитере, застиранно-белесых, в полоску, портах, спина его навечно согнута буквой «г», руки дрожат, ноги в валенках передвигаются небыстро. Тем не менее, поскольку он давно уже единственный мужчина в доме (сына расстреляли немцы, как партизана, зятьев нет, внук живет в городе), ему приходится хозяйствовать. Нынче он целый день колот и укладывал в сарай привезенные дочерьми из лесу дрова, умаялся и, поужинав, предвкушал взяться за любимое занятие — чтение «Псковской правды», которую он выписывает и обычно ежевечерне прочитывает от заголовка до объявлений, все подробно пересказывая потом домашним. Когда мы пришли, Андрей Филиппыч как раз сидел на лавочке перед домом, грелся на заходящем солнышке (оно тут заходит сейчас часов до одиннадцати ночи) и читал. Газету он отложил с неудовольствием, помедлив, прошел следом за нами в дом, сел на лавку, сердито по-

ставил локоть на стол и замолчал. На вопросы он отвечал небыстро, потом вдруг не без ехидства заметил, что в старое время люди, между прочим, жили спокойно, дома их никто не тревожил, а «теперь палкой не отмашешься от чужих». Косвенный этот намек мы будто не поняли, вопросы задавать продолжали, и Андрей Филиппыч не без внутренней борьбы покорился, однако на связный свободный рассказ его пока вызвать не удавалось. Вдруг оживившись, он начал было пересказывать партизанскую повесть, с продолжением печатавшуюся в «Псковской правде», но Вера Федоровна эту попытку строго отмела и вернула беседу в нужное самобытное русло.

Наша начальница, привычно нажимая на голосовые связки, задает вопрос за вопросом и быстро пишет требуемое в свой блокнот. Ничего из того, что вяло рассказывает нам Коротков, Вере Федоровне не обязательно, ей просто нужно произношение отдельных слов и названия определенных предметов. Вера Федоровна славистка: сейчас составляется общий славянский атлас, имеющий цель проследить и сопоставить различия в произношении и значении некоторых слов древнейшего славянского фонда в разных диалектах русского, украинского, белорусского, болгарского, польского, чешского, словацкого, сербско-хорватского, югославского и лужицкого языков. Работа по атласу предстоит огромная — это первая попытка свести вместе и систематизировать живые явления родственных славянских языков. Какую ценность будет представлять этот атлас для ученых-языковедов и историков, предугадать трудно, неизмеримую, конечно. Для примера скажу, что, когда начали публиковаться карты «Русского атласа», уточнившие границы языковых явлений в современных русских диалектах, языковеды смогли, в частности, подтвердить ошибочность прежней теории, что «аканье» в древних русских племенах было таким же изначальным, как «оканье». Наше законное литературно-столичное «аканье», оказывается, явление позднее и возникло не раньше XII века. Прежде на эту тему шли споры, одни считали так, другие иначе — но вот появились долгожданные карты, и все сделалось ясно насчет «аканья» и насчет «яканья»: и откуда пришло, и как распространялось, и еще многое другое...

Вера Федоровна выхватывает из потока слов нужные, быстро соображает, что же еще спросить, дабы Андрей Филиппыч поставил эти слова в необходимых падежах, и одновременно поддерживает беседу.

Приходит Тамара, младшая Шурина сестра, ей тоже уже сорок лет, хоть она и девушка. Прислоняется спиной к печке, заложив под поясницу ладони, перекручивает винтом крепкие грязные ноги, весело зыркает яркими глазами, быстро схватывает, в чем дело, и влезает в разговор. Тамара мне кажется красивой, а главное — очень живая, резкая, все в руках у нее так и летает. Я видела нынче днем, как она вела лошадь, которую им с Шурой дали в колхозе «повозить дров «на себя». Бойко выкидывала ноги, высоко поддавая юбку коленями, а следом молодая кобылка так же размашисто мелькала мослатыми коленками. Глаза у Тамары очень светлые, яркие — такие глаза с широким зрачком и блестящей радужной обычно в ее возрасте бывают у истеричных женщин, но у тех они блестят воспаленно, надрывно, а у Тамары просто играет неизрасходованное, неуспокоившееся женское естество. И сознание: «я еще буду».

Наша Шура и вообще все, кого мы спрашивали, напроць отрицают, что у здешнего русского населения были когда-либо браки с эстонцами. (Эстонские деревни — на другом берегу озера.) «Ни на моей памяти, ни на маминной, ни на чьей. Ня было етого!» Однако у нее самой острые финские скулы и плоские веки, прикрывающие светлые глаза, у матери ее — еще более острые скулы, лицо как бы сложенное из треугольников, острый большой нос — точно у некрасивых финок или некоторых прибалтийских женщин. В Каунасе, в музее, я даже видела вырезанную из дерева неизвестным крестьянином «смуткяле» — фигурку богородицы. Остроскулая, остроносая богородица скорбела над бородатым Христом, умещавшимся у нее на коленях, как трехлетнее дитя, а на груди у нее — точно символ страдания, вынесенный за скобки, — было приклеено деревянное, пронзенное ножом сердце. Талантливые люди во все времена умели совмещать отвлеченное с грубо-конкретным, чтобы усилить впечатление, чтобы надежнее дошла идея...

Эти финские скулы у подборовцев так и оставались для меня загадкой, пока я не прочла в одной кни-

ге<sup>1</sup>, что «...с другой стороны, в говорах словен и большей части кривичей появилось цоканье, образовавшееся в связи с межязыковым смещением славян и финских племен». Вот, значит, аж оттуда идет это: «Панюцка, ты ня пой, не то подумают, што ты дуроцка!..» и скулы, наверное, оттуда же...

— Цясовни не было у нас,— отвечает на очередной вопрос Веры Федоровны Андрей Филиппыч.— Самоловски наших дразнили: бесчасовенники да бесчасовенники; весла крястом поставя — помолитесь хоть на ето. С етого Ванюшку Шуриногo обливанником кличу: чухонь крястила, ены обливаю, ня кунаю в купелю...

Тут инициативу перехватывает Тамара, к неудовольствию Веры Федоровны, которая считает, что Тамара, побывавшая во время войны в плену, поработавшая на хуторах у эстонцев, менее типична с точки зрения диалектологической. Но Тамара ввязывается в разговор по доброте душевной: она полагает, что отец ее неповоротлив мыслью и перезабыл все, а она вот помнит.

— Сучошна дорога вот там,— показывает она рукой куда-то вбок, в «божий угол». — Суки — место такое. Фамилье то было, кто раньше место захватил. Сякирой розодрали землю, ну, ето место им отошовши было. И пошло Суки да Суки с ныне до веку. (Вере Федоровне для вопросника нужно происхождение названий мест и прозвищ людей.) А там,— Тамара тычет жилистой загорелой рукой в противоположную сторону,— Красная гóра. Розвеем еще то место называю, там действительно розвей,— металлически вдруг просверкивает в ее речи чужое городское слово «действительно». — Там песок жолтый так розвева. С пяска навевявши, дак... Вот называем что «долина»: там такой мох, что без конца тянется. Если полтора-два гяктара, дак не назову долина... Подборовье? Ня знаю... Бор ня лес. В лясу мох такой — «бор», идешь, дак он скрипи...

Мы переспрашиваем ее: все-таки что же такое «бор» — сосновый лес? И все, даже восьмилетняя Светка, Тамарина дочка (хоть Тамара и называется «девушкой» и заму-

---

<sup>1</sup> Должна упомянуть, что пользовалась для справок с интересом и благодарностью книгами и статьями В. Г. Орловой, Р. И. Аванесова, Ф. П. Филина, Л. И. Баранниковой, Т. М. Николаевой, Б. А. Успенского и других.



жем не была, дочка тем не менее у нее есть), хором растолковывают нам, что «бор» — это высокий сухой мох, на нем еще «квяточки» красноватые растут. Возможно, это название перешло с соснового бора на мох, он ведь в хвойном лесу обычно бывает?

— Пчолы брали мед с етого бору,— говорит Тамара, окончательно повергая нас в недоумение.— Мшага— маленькие мяста в лясу, где низинка, там ягоды растут... Вторнул палку. Не скажу там воткни или что: вторни!..

Тамара, разгораясь, все больше проникается серьезностью разговора. Как видите, она прекрасно знает, что литературная норма — «воткни», сама проверяет у Светки уроки. Но коли уж нам для какой-то цели нужны отклонения, то вот вам, пожалуйста, глагол «вторни» — тоже, я думаю, старый: «вторгся» небось от этого корня? Старуха Короткова сидит на лежанке на печи, свесив босые опухшие ноги, и ворчит, что уж «темно, писать вам ня винно», а хозяевам спать бы пора, завтра дочери опять спозаранку в лес отправляться. Тамара бесшабашно дергает плечом: «Нам ня к спеху!..»

— Табашна морда еще зову...— отвечает на следующий вопрос Веры Федоровны о прозвищах Андрей Филиппыч и смеется тихонько. — Ен, хто кури, спреси (надо полагать, попросит закурить) хошь упопа... Беряские ены нас называю, а мы их залесски. Беряжной, хто на берягу родилси. Жихарь? Скàжу: сходи к етому жихарю. Если нядавно приехал, ня скàжу...

На улице тоже, между прочим, человека не назовут жихарем, только в собственном доме, давно живущего в этих краях. Вот и еще одно емкое слово: «жихарь».

— Ены, когда маненькие цыпочки, их «цыпа-цыпа» вбья, а так «пыль-пыль».

У Веры Федоровны есть вопрос, какими междометиями в данной местности подзывают кур, цыплят, гусей, уток, овец и прочую живность. Смешно?.. А оказывается, нет. Во-первых, засекается движение слов из местности в местность. Что такое «пыль-пыль»? Бессмыслица? Посербски «пиля» — цыпленок, в южных наших диалектах «пиля-пиля» — самое распространенное междометие, которым подзывают цыплят. А потом мне рассказывали, что на этих вот смешных междометиях горят при допросе разведчики. «Откуда вы? Ах, оттуда?.. А как, простите, в

вашей местности дети подзывают голубей? А овец?..» Только в деревнях Псковской области (как следует из псковского областного диалектологического словаря) овец подзывают девятью способами: «баря-баря», «баки-баки», «баша-баша», «бася-бася», «бяша-бяша», «баля-баля», «бараш-бараш», «басенька-барюшка» и «мань-мань». Кур и цыплят в Горьковской, Брянской, Архангельской, Новгородской и Курской областях подзывают соответственно: «пыри-пыри», «клу-клу», «ти-ти-ти», «цыпа-цыпа», «пыля-пыля», «куть-куть», «цып-цып», «тю-тю-тю», «кур-кур». Гусей зовут: «те-те-те», «гуся-гуся», «дига-дига», «тега-тега», «зюря-зюря». Вот уток, как ни странно, везде зовут почти одинаково «утя-утя». Даже на юге, где часто употребляется не «утка», а белорусское «качка»; больше того: в иных белорусских деревнях — все-таки употребляется междометие, произведенное некогда от праславянского «утка», — «ути-ути». Есть в записях варианты: «вутя-вутя» и, явно вымышленное, «у-утк-у-утк», но эти в счет не идут.

**4** Шура, когда не в лесу и не в поле, пропадает у своих — конечно, у нее нет стимула поддерживать чистоту: занавески не стираны, наверное, с прошлой осени, половики тоже давно не мыты. К престолу, может быть, уберется — это уж здесь вековая традиция — мыть все в избе к Михаилу Архангелу, надо полагать, и Шура ее не нарушит. А так — что ей? Живет одна, муж, как призвали на фронт, так домой не вернулся, хотя всю войну в тылу где-то возле Дмитрова проторчал из-за болезни глаз, там и новую семью завел. Сын после армии женился и живет в Петрозаводске, Шура к ним перебираться не хочет, хотя они бы, может, и не прочь: молодые оба работают — убраться, сготовить, за мальчиком присмотреть. Но Шура это понимает: «Ня буду я им в уборшшыцах ходиць». К тому же еще она не ладит с невесткой. И вот — бобылка. В избе грязно, неуютно, нежиле.

— Оннем куском не наелась, дак другим и вовся подавлюсь! — ответила Шура, когда мы спросили ее, почему она не вышла второй раз замуж.

Домишко у ней неказистый, один из самых плохоньких в богатом Подборовье, всей жилой площади метров пятнадцать. «Чистая изба» (каморка метров семи) отго-

рожена от остальной части дома фанерной, оклеенной обоями перегородкой. Там стоят две высокие пухлые кровати, висит в переднем углу икона с лампадкой, увеличенные портреты «папы» и «мамы» — так Шура называет родителей; стоит комод, накрытый вязаной салфеткой. На комодке неожиданно знакомые лекарства: валидол, валокордин, кордиамин. «От дачников остались, наверное», — решила я, когда мы с Екатериной Ивановой (журналистка, третий член нашей немногочисленной экспедиции), въехав в «чистую избу», разбирали вещи. Но ошиблась: Шура сама болеет сердцем, у ней бывают, особенно по зимам, сильные приступы. Свежий воздух, постоянный физический труд, здоровое питание — откуда бы стенокардии взяться? Потом я сообразила: озеро. Оказывается, ревматизм и связанные с ним сердечные заболевания тут у многих. Шура первый раз поехала в озеро лет двенадцати и с тех пор так и ездила наравне с мужиками; восемь лет только не ездит. Здесь у «чудских» издавна принято, что в озеро, как в поле, ходили всей семьей: мужики, ребяташки, бабы. Правда, сейчас женщин в рыбацких бригадах уже нет. Во-первых, труд тяжелый, во-вторых, заработки в рыбацких бригадах самые высокие, что имеет значение, когда мужчина вытесняет из какой-то сферы производства женщину. Из подборовских женщин старше сорока лет нет такой, чтобы не походила с детства в озеро предостаточно и весной, и летом, и зимой, ну и ревматизм у многих. «Сапоги корóтки были, дак мы тряпок поверх на ляжки намотаем, чтоб ня так...» — вспоминает старуха Короткова.

Мы с семьей Коротковых теперь в самых прекрасных отношениях. Нам всем нравится восьмилетняя Светка — синеглазая, светло-русые, в кольцах, волосы заплетены в косы, рот вишней, длинненькая, длинноногая, и вся светится, всегда веселая. Мы скормили ей привезенные конфеты, подарили красные и синие шариковые карандаши: главным образом, конечно, себе удовольствие доставляешь, одаривая такое вот улыбочливое, откровенно всему радующееся еще существо. Но Коротковы в долгу не пожелали остаться. Светка притащила нам большую миску сушеных снетков и штук пять яиц. Ну и еще — Андрей Филиппыч и старуха Короткова считают обязанностью заходить к нам, разговаривать.

Днем я обычно бываю дома одна. «Ходить по старикам» мы начинаем часов с пяти, так что до этого времени каждый занимается чем хочет. Студентки наши загорают на озере, Екатерина Ивановна гуляет, обдумывая будущие статьи, Вера Федоровна сидит дома, разносит материал по тетрадам (мы живем на разных квартирах), я тоже сижу дома, разбираю свои записи, отхожу от разговоров.

Андрею Филиппычу я бываю рада. Заходит он, как это принято в деревне, не стучась: раз дверь не на замке и не подперта палкой, значит, кто-нибудь дома. Долго шаркает валенками, поднимаясь по ступеням, проходит в избу, отодвигает занавеску, заглядывает ко мне.

— Дома, дочка? — спрашивает он легким, высоким, чуть с сипотцей голосом, твердо произнося «ч». — Что же не гуляешь, погода горазд хороша... Шла бы на озеро, купалась бы.

Всерьез наших занятий старик не принимает и потому не может понять, почему я в прекрасный солнечный день торчу дома, копаюсь в каких-то бумагах. Тут ко всем приезжим городским относятся как к дачникам, впрочем, без ненависти или там презрения, наоборот, очень доброжелательно: с них видимый реальный доход. Встречая нас, местные жители разговаривают о том, что погода стоит горазд хорошая и вода в озере теплая. Когда же сойдутся двое деревенских — с тоской смотрят на небо: «Дождя бы!..» Дождей не было с конца весны, дождь нужен и луку, который тут культура промысловая, одна из статей личного дохода, и траве. Скоро сенокос, а травы плохие. Хлебушку, конечно, тоже нужен дождь, но о хлебе тут не говорят, нет традиции. Рыбачьи колхозы совсем недавно начали заниматься полеводством: пашни в этих местах плохие, в основном клочки да бугры.

— Болела я, дедушка, — объясняю Андрею Филиппычу. — Воспаление легких весной у меня было, боюсь купаться!

— Ну-ну, ланно тогда. — Ему этот довод понятен, он согласно и благостно кивает головой, пристраивает свое круто согнутое ревматизмом тело на табуретку. Затем смотрит на меня ненавязчиво: о чем будем разговаривать?

— Девочки наши пошли на озеро,— говорю я, помня, что старику нравятся наши студентки.

Андрей Филиппыч опять радостно кивает головой, улыбается.

— Пушшай погуляют, учацца зимой, трудно дак... Хорошие девушки, дак и держут себя скланно, человека-то всягда винно. Вон у нашей продавшшыцы дочка така дикуячна, ажно глядеть соромно.

Валя, дочка местной продавщицы, притча во всех языках: поехала учиться в Гдовское училище, вернулась остриженная, с крашеными волосами, платья носит такие, что «штаны винно», про ее поведение в Гдове тоже рассказывают всякое. Кроме того, она не стесняется схватываться с матерью по любому поводу прямо на улице — явление для деревни, конечно, необыкновенное. О том, как Валька ругалась с матерью вчера вечером, когда все пололи на «ниве» лук (тут по-старинному хорошо зовут «нивой» огород, поле — вообще всякие посадки и посевы) и рассказывает мне Андрей Филиппыч.

— Мать ей и говоря: дак мне бы легше, ушла б ты с нивы, как ты дикуячишься тут...

Что там ни толкуй: мол, молодежь во все времена одинаковая, и наша не хуже других, однако чтобы сопливая девчонка на виду всей деревни собачилась с матерью,— это, прямо скажем, вещь исключительная. Не вдаваясь особенно в причины того, почему в деревне даже взрослые дети испокон веков были почтительны и покорны родителям (конечно, главная причина — материальная полная зависимость, но из нее вытекала и традиция, которую лишь в крайних случаях решались нарушать), с грустью скажу, что традиция эта трещит по швам, сложившаяся, существовавшая в русской деревне семья рушится, я не думаю, что это хорошо, хотя отдаю себе отчет в тех диких крайностях, которые несла иногда в себе патриархальность. Собственно, все так круто пошло на слом совсем недавно, как раз теперь, когда деревня стала жить в достатке. Пятнадцатилетний парнишка или девчонка уже не знают, что такое всерьез хотеть есть, а про родителей несформулированно думают вроде: «А, плевать, выгонят, в город смотаюсь, еще лучше, как в кино стану жить!» — внутри у них исчезло то, что называли общим словом «страх перед родителя-

ми» (тут и кровная любовь, и уважение, и неясно осознаваемое чувство своей зависимости, подчиненности, и, наконец, истинно страх), они, как дуреющий весной от воздуха и ощущения свободы бычок, вдруг почувствовали: «все можно!» — чем ты их остановишь, чем одернешь? Силой? Голой силой ничего не сделаешь, хоть бей до крови. Затаятся разве до поры до времени.

Тамара (а ее ровесниц в деревне считают молодыми, и она тоже говорит: «Молодая, ну, например, как я») с горячностью рассказывала нам про этих, пятнадцатилетних, один из которых на виду деревенской очереди осмелился закурить.

— Мать стой и будто ня види. Я подошла и говорю: ето тябе няльзя! Ето вас етому учительница учыц? Отец, подошовши к ему, в шшоку вдарил при людях. Нехороший народ стал...

Глаза Андрея Филиппыча не удивляются, не возмущаются, грустят. Вообще это нам по первому впечатлению показалось, что он такой уж характерный старик. Может, и был характерный, да несчастья пообломали. Хорошо еще, что не стал брюзгой и нытиком — сплошь и рядом такие среди неудачников.

А бед много: старшую дочь бросил с грудным ребенком муж, младшая из-за войны так и не смогла выйти замуж, уже в тридцать с лишним лет «спуталась» с каким-то шофером, родила. Сына расстреляли немцы, их со старухой схватили, как родителей партизана тоже грозились расстрелять.

— Ены меня спрашивают: сколько тябе лет? Ты в каком годе, каким месяце родился? Ня помню, в каком месяце,— колí плотки ловяцца. А ены поняли: в мае,— рассказывает мне Андрей Филиппыч.

«Понял» его, наверное, какой-нибудь переводчик из местных, откуда бы немцам знать, в какой месяце ловится в Чудском озере «плотка» — небольшая, очень вкусная рыбка. А потом этот же переводчик сказал старикам, что их расстреляют. Андрей Филиппыч снял шапку и перекрестился, а старая Короткова заголосила: «Ой, мои белые лебедушки, где ето будет моя могила...»

Не повалилась в ноги со страху, моля помиловать, не плела короб небылиц, обвиняя других, обеляя себя. Просто стала говорить слова: «Ой, мои белые лебедуш-

ки, где его будет моя могила...» Причитая, ведь даже не плачут, просто говорят с л о в а. Мне кажется достойным так встретить весть о смерти...

Уже после освобождения Шура с другими женщинами ездила в Изменку (так тут почему-то издавна называют местечко Мехикорма): они узнали, что расстрелянных партизан немцы хоронили там. Местные жители показали им, где зарывали расстрелянных,— и правда: бугорки. Но безымянные... Походили-походили: как угадаешь, где — кто? Заночевали по-рыбацки в лодке.

— И Колю я во снах увидала, эта-ю... «Нямного ты до моёй могилы не дошла, сястра». Мама мне и говори посла: «Шурка, ты бы пошла дале-то!..» — «Мама, да куды ж я там пойду, онне бугры, дак...» Кабы знать-то, где, а то откуда я знаю?..

Вот такая жизнь в наш век у больших и у малых: всех коснулось горе...

Андрей Филиппыч поднимается, мелко переступая, поворачивает свое скрюченное тело, идет дать борову и «курям» картошки с крапивой. Шура натолкла в деревянном корытце перед тем, как ехать в лес.

Надо сказать, что каждое наше утро начинается с того, что мы слышим, как шипит на плите вода, перекипающая в большом чугуне с «картошками». Когда от пара и дыма дышать становится невозможно, мы встаем и тоже пристраиваемся на плите со своей готовкой, она вполне простая: каша молочная, картофельный суп с консервами (снетки, как экзотика, неплохо, но в качестве ежедневного питания не прошли), главная же наша (благословенная от века!) пища: молоко во всех видах. Где в двадцатом веке попьешь вволю парного молока от одной, известной тебе коровы? Мы разумно пользуемся моментом: на первых порах, в охотку, на брата (вернее, на сестру) расходуетя у нас в день по три литра.

Летние кухни у большинства подборовцев — в саду, но Шура жалеет яблони: садик у нее небольшой, плотно засажен фруктовыми деревьями. Себя и избу, которая закапчивается дымом от плиты, Шура не жалеет. Зато, надо ей отдать должное, будит она нас не рано. Коров здесь выгоняют в восемь утра, Шура встает и затапливает плиту в половине восьмого. Исключением были те два дня, когда они с Тamarой ездили в лес «на себя»:

Шура вставала рано, правда, плиту она вовсе не топила, мы топили сами. В колхоз «проезжать картошки» Шура ходила всего два раза за время, пока мы у ней жили, но отправлялась в поле она уже «после коров», возвращалась тоже не поздно.

В любой деревне коров выгоняют не позднее пяти, чтобы успели по холодку и, пока слепень не так донимает, пощипать травки. Здесь в восемь. И на полдни не гоняют, доят два раза. Ну, соответственно Шурина буренка дает за оба удоя семь литров, правда, молоко жирное и вкусное. Нравится подборовским хозяйкам долго спать... «Собе хватает и борову нальешь, а так куды яво?.. Творог солить на зиму еще рано... Ланно на пункт принимать стали, колхоз план выполняе. По восемнадцать копеек...»

Судя по Шуре, сейчас у подборовских линия такая: не очень надрываться на работе, лучше получить меньше, но себя поберечь. «Видно, устал народ за войну да за послевоенные тяжелые годы...» — сочувственно думаю я. Однако ошибаюсь. Та же Шура рассказывает мне, что с двадцатого августа, когда начинается клюква, все население окрестных сел и деревень устремляется в лес.

— Уйдешь тямно, да тямней того придешь... Завязнешь, вот покарасси... По мяшку набираем. Раньше было и брусниги много сдавали и чарницы, а тяперь и себе нет. Место выпилили — и сгорела, эта-ю...

В мешке, как выясняется, пятьдесят килограммов, в свой магазин клюкву они сдают по полтиннику (в этом году, кажется, цены повысили), а «Эстония-то приезжает», берут по восемьдесят копеек. Значит, за световой день можно заработать от двадцати пяти рублей и больше. За клюквой ходят весь сентябрь, семьей, зарабатывают, как сказал мне председатель самоловского колхоза Степан Павлович Лысенко, до двух тысяч. За месяц! Конечно, где колхозу тягаться с этими заработками...

Возвращается в избу Андрей Филиппыч, снова умищается на табуретке, жалуется мне, что не везет Шуре, не живет у ней скотина.

— Конечно, тяперь ня верят, тольки у ей на праздники все так полукалось. Первый-то боровок на усенье подох, а тялушка как раз в самое рожжество... Что-то ня так у ней...



Я спрашиваю, сколько стоит поросенок на рынке. Старик говорит, что эстонцы продают весенних поросят по тридцать и по сорок рублей, колхозная ферма в Островцах продает дешево, да только там не берут: поросята слабенкие, болеют.

— Да как их сберяжешь, дочушка? Их там, свинарок, на ферме двоя, а маток-то пятьдесят. По пять принесут — и то двести пятьдесят, уследи всех! Ноньми чтой-то разрыли, дак считай до ста штук подошли. Которых по три рубля и по пять продают, нявестка моя взяла за пятнадцать, так покаралась вся. И не росте и не подыхае... Ну тяперь выправился, справный стал боровок...

— Неужто выгодно покупать поросенка за сорок рублей? — удивляюсь я.

— Да, дочушка, это просто чудо тяперь! Раньше-то до пять пудов были, а тяперь вясенний боровок до десять пудов, осенью заколешь...

Конечно, выгодно. Сто шестьдесят килограммов по два рубля на круг — и то триста двадцать. И практически, с точки зрения среднего подборовца, двести восемьдесят рублей чистая прибыль: сколько там он сожрет мелкой картошки да травы, ну молока, конечно, муки на подмеску немного. А свой труд «для себя» российский крестьянин никогда на деньги не считал.

Потому ходили до белых мух босыми, жалея обувь, а не ноги. Потому моя бабка по отцу вылила на себя кипящий самовар, жалея его бросить: серебряный! Дослужился к тому времени дед до полковника, жили хорошо, а вот сработала крестьянская бережливость и понимание той истины, что на живом теле зарастет, а самовар — пойдика купи!..

— Шура борова осенью заколе, да все Ванюшке посылки шле... — вздыхает старик. — И сала и консервов наварит... Луку посылает, яицек накопи, дак шле... А ен хотя бы ей пять рублей прислал. Яшшик восемьдесят копеек стоит, да так, за вес, рубля полтора на почте бяру... Где мать денег возьме?.. И себе сахарку купить нады, муки там, крупы какой... Скольки ена там полукае в колхозе... — старик поднимается. — Ланно, я пошел, дак... Отдыхай, дочушка...

Часа через два приезжает на обед из лесу Шура. Ставит разогреть чайник на керосинку, потом сидит у

стола боком, выставив на половики сухие босые ноги, тянет с блюдечка чай вприкуску. Еще натолчет луку со сметаной — и все. «Устала, ня нады ничего, дак...» Волосы у ней седые, жесткие, острижены по уши, как у школьницы. Лицо маленькое, сухое, в морщинах, кожа, видно, когда-то была очень белой, теперь словно бы задубела, чуть желтоватая, а на ушах и на щеках, где всегда закрыта платком, вялая, мертвенно-пушистая.

Сидит, молчит, тянет чай, сердится на весь свет, на меня, за то, что ей тяжело приходится работать, а я вот могу никуда не ходить, и деньги есть... Я чувствую эти ее тяжкие мысли — и мне неловко, что сижу, не ворочаю дрова, не пилю, не колю их, и тоже раздражаюсь внутри на Шуру неизвестно за что. Мы сидим в разных комнатах, мрачно молчим, меня подмывает завести разговор о том, что у меня тоже не такая легкая жизнь: поездки, вечные колеса, начать рассказывать про «тяжелое детство» — и правда нелегкое, про мачеху и больного отца, про те мои шестьдесят рублей, на которые жили втроем с отцом и сестренкой, и как не было целого платья, и ноги вечно мокрые, а потом, хоть и замуж вышла, тоже — дрова, вода, помои выносить, стены промерзали насквозь, дочка вечно болела... Я зажимаю в себе этого убогого раба, молчу: от моего жалкого заискивания Шура легче не будет, только презрение еще появится. И все равно не поверит, что и нашему брату нелегко жить...

В общем, конечно, кроме того, что люди говорят вслух, есть еще внутреннее ощущение друг друга. Вот Екатерина Ивановна своим, лучшим по сравнению с Шурой, положением не мучается: хоть сама по себе жизнь у ней на каких-то этапах была сложной, но по-иному, чем у меня, с детства «на более высоком уровне». И Шура принимает ее, как есть, а на меня в такие моменты, как сейчас, злится, я для нее «из грязи — да в князи», я, по ее ощущению, занимаю то место, какое могла бы занимать она, будь поудачливей. Екатерина Ивановна не умеет плиту топить — и не надо, спокойно ждет, пока истопит Шура. А я всегда суюсь угодливо: «Давай я!..» Вот, например, корову я не умею доить — и не чувствую вины, что дою не я, не лезу во двор. Значит, «не уметь» в некоторых ситуациях даже выгодней. Я помню, в доме у нас доживала век старуха, дворянка

столовая в прошлом,— так все наши бабы по очереди ходили к ней «помогать». Уберутся, простирнут мелочишку, сготовят или свое принесут. Кому-то она давала копейки, а большинство за «так», за «спасибо, милая». «Что ты, она платка себе не умеет выстирать, настоящая барыня. Не накормишь — с голода помрет». Чувствовали, покровительствуя барыне, превосходство «умелых» неосознаваемое почтение к «настоящей» барской крови. А та так и не стирала всю жизнь, так и прожила с беленькими ручками, не знавшими никакой работы. У меня же и сейчас «рабоче-крестьянские», грубые...

Впрочем, это я от раздражения, конечно, накручиваю: все-таки лучше все самой уметь, ни от кого не зависеть, быть несъедобно-жесткой... Шура — что ж Шура? Перед ней я, в общем, ни в чем не виновата...

— Маруся? — говорит Шура. — Нынче байна топицца, пойдешь с Екатериной Ивановной в байну?..

— Пойдем, конечно! — облегченно и обрадованно отзываюсь я. — Что ты! Я так люблю в деревенской баньке попариться...

Мы с Шурой, по ее инициативе, на «ты», с Екатериной Ивановной она — на «вы». А париться я и правда люблю, но, как выясняется, здесь, на Псковщине, «не настоящие» парные бани — то ли дело в Горьковской области!.. А тут и полка нет, и построены они бездарно как-то: не экономно, жар уходит попусту, не концентрируется вверху весомо, словно удар топора — который, однако, принимаешь с наслаждением, с облегчением: «Вот, оказывается, он, конец!..» И после — удивленно-блаженное, легкое, как полет, состояние выжившего...

— Мы воды натаскаем, — предлагаю я.

— Ня нады, натаскано там.

Я выхожу из-за перегородки, мы начинаем разговаривать. Шура уже подавила в себе неприязнь ко всем, кто не так устал, отдышалась, отошла чуть-чуть. Пьет чай, блюдец за блюдцем, стирает пот с жестко-морщинистого, будто колеями перееханного лба.

Говорим мы всегда почти про детей. Поскольку мой ребенок меня пока вполне устраивает, то разговор вскоре сосредоточивается на Ване, на его жене и на том, что могли бы они хоть пятерку в месяц матери посылать, вырастила ведь без отца. «Ена себе домой посылки шле,

а я им посылку за посылкой... Я когда к им была приехавши, дак ена с работы придец и сиди на кухне с книжкой, молчи все, как клушка на яйцах...»

Первое время мне для уха была непривычна, казалась нелепой, уродливой эта форма «была приехавши». «Ен был ушодши в лес дрова рубиц — когда яво привезли, ня успели священника позвац...», «Я ня была на работу уехавши, кобыла ожеребилась, дак...», «Я б́ыла заболевши, дак ен боялся, што я помру. А сам перве меня умер». Вообще мы, по детскому своему презрению к тем, кто говорит не так, как мы, думаем, что «диалектные» просто по невежеству ломают язык. Чт́о такое, по-вашему, «деревенское» словечко «надысь», которым в любом фильме дело не в дело пестрит речь «серых» людей? Оказывается, произошло это на первый взгляд нелепое, не имеющее смысла наречие от старого «онномъ дъни». Хранят диалекты и выброшенное из алфавита за ненадобностью для современного литературного языка старое «ять», произносят: «лиес», «сиено», «биелый»... Подобно тому — отнюдь не бессмысленны эти «была ушодши», «был приехавши»: плюсквамперфектум, давно прошедшее время. Форма эта исчезла из литературного языка, мы слишком торопимся, нам некогда уточнять, мы выпаиваем: «когда я приехала», «когда я пришла». Хотя утрачивается тонкий оттенок времени: «я тогда уже довольно давно жила у них, а она, приходя домой, со мной не общалась, уходила на кухню, читала книгу...» Вот так... И оказывается, что на каком бы диалекте человек ни разговаривал, он не просто коверкает слова, а говорит, подчиняясь внутренним точным правилам, традициям склонений и спряжений, зачастую более древним, более истинным, чем те, которыми пользуемся мы с вами...

— Что ж Ваня не захотел после армии в колхоз вернуться?

— Дак ен мне говдри: мама, у тебя руки боляц, ты хочешь, чтобы и мне так же?.. Ня буду я в озеро ходиц, ня проси зря! Ему шофером предлагал председатель, а ен там, где в солдатах был, ну и остался... На автобусе работаете. Хоче, дак пушшай. Квартира у них хорошая, ванная, отопление паровое...

Шура вроде бы успокаивает себя, что сыну в городе лучше, легче жить, а потом снова берет обида: ей-то самой

от этого ни капли не полегчало, все свое хорошее сын делит не с ней, а с чужой неприятной женщиной и, что всего обиднее, с ее родней. И опять начинается: «...Им посылку за посылкой, а ен хотя бы спасибо, нет, пише: «Бабушка, ты бы Мише хоц канфетку ба положила, ен спрашивает: «Всим гостинчик, а мне где?» На какие шиши я канфетки буду покупац? Собе не на што...»

На стене висят две большие, застекленные рамки, там несколько Шуриных любительских фотографий, потом группа: отец, мать и Тамара со Светкой, а остальные — Ванюшка маленький, Ванюшка постарше, Ваня-солдат, Ваня с женой, Ваня с женой и сыном. Ваня на последних фотографиях высокий, красивый парень, глаза хитроватые, с прищурочкой, с усмешечкой.

— «Ты, мама, ня знаешь,— продолжает Шура,— как в городе жиц. Все купы: морковку, огурец, укропчику, лучку, али кого... Все деньги... Где я тебе возму?..»

Шура, как и все деревенские, произносит с недоверием и ужасом это «все купы». Мы, городские, с детства привыкли, что «все купи», нас это не удивляет, и на рынке — ворчим, но платим за свежую зелень столько, сколько спрашивают, не дожидаемся дешевого сезона. Овощи и зелень с огородов дорожают: в них вкладывается серьезный физический труд. Вознаграждение постепенно начинает распределяться пропорционально затраченному физическому труду: квалифицированный рабочий получает больше, чем средний инженер. Люди не желают расходовать на производство физическую энергию, а спрос на нее все еще велик, сумма грубого труда на землю спускается почти та же, что прежде, но распределяется между меньшим и меньшим количеством людей. Вот и растет цена этого конкретно вкладываемого в землю или производство грубого труда... До Подборовья это пока не дошло. Шура до поры до времени рвет укроп, лук и остальное на «ниве» — щедрой рукой, не переводя мысленно сорванное на деньги. Впрочем, надо полагать, и здесь это скоро кончится. Однажды, принеся нам луку, Шура заметила с сожалением, что вот один подборовский старик, у которого есть «рода» в Гдове, с весны возит зеленый лук на рынок, продает по два рубля кило. Сама она, конечно, тяжела на подъем, в Гдов с зеленым луком вряд ли поедет, но оборотливому

деду завидует и, глядя на брошенную на стол охапку лука, уже жалеет: деньги тоже, оказывается... Лук здесь — культура промысловая, но не зеленый, а репчатый, осенью его сдают в магазин. Перу, по здешним старым понятиям, цены нет: щипи, сколь хочешь, еще нарстет больше, чем съешь. Однако старик открыл жилу — и еще одна вещь в Шурином обиходе обрела стоимость. Мы, привыкшие, что все на свете имеет «цену», глядя на перевясло лука и укропа, инстинктивно ахаем: «Завянет, куда столько!» — «Пушшай, — вяло машет рукой Шура. — Ня купленное!» Потом в ней, очевидно, проходит сознание, что ведь и правда не купленное, что этим она богата, щедра, богаче нас (к тому же все равно девать некуда, пожухнет, время придет), Шура веселеет, смеется, вспоминает приятное себе: «Я у Ванюшки жила (в Подборовье, как у белорусов, ударение на первом слоге «жила», «была»), суп стала вариц, мясца отрезала. Ены есц стали, глядя друг на дружку, Ванюшка смеецца. «Ваня, ня ндравлицца тябе?» — «Мама, да мы столько мяса на три супа кладем». — «Ештя! Ешшо пришлю, живая буду...»

Еще Шура вспоминает дачников, живших у ней несколько лет подряд, как они щедро платили ей, как привозили столько консервов, что половина оставалась; как отправляли ей из Ленинграда посылки с ненужными вещами... «Им ня надо, а нам все спасибо, кажную какую тряпочку, ей место найдем. Оно платье голубое шерстяное новое совсем — я хотела юбку себе сшить, Тамара говорит: оставь, Светка подрастет, дак ей будет...»

Шура рассказывает и уже глядит на меня иначе, сейчас я для нее не человек, который случайно занял ее теплое место на земле, а тоже нечто вроде «барыни», которая может «одарить». Я внутренне ежусь под этим расчетливо-лакейским, выпрашивающим взглядом; если бы не ехать нам еще в две деревни — отдала бы все тряпки, только что на себе, до дому добраться, оставила. Действительно, у нас в городе в комиссионных ношенные платья теперь уже и за два рубля не берут, а тут все к делу: горит на деревенской работе одежда.

Входит Екатерина Ивановна, прислушивается к разговору, отпускает какую-то шуточку, вроде: «Ничего у вас дачники были, себе бы таких! В такой посылочке бы порыться, может, тоже голубенькое платьице на работу

носить отыскала бы...» И все сразу становится на свои места. Шура вешает на спинку кровати мое старенькое командировочное платье: «Как платок цветастое. Ня наша материя?..» Кончает распивать чай, вспоминает, что Тамара ждет ее ехать в лес. На следующий же день она вконец перестает уважать меня, увидев, как я чиню это самое платье из «не нашей материи». В командировках вещи почему-то тоже быстро носятся — как не чинить, но на Шурина взгляд я веду себя совсем не так, как подобает женщине, законно, а не обманным путем занявшей теплое место под солнцем.

Екатерина Ивановна считает, что Шура просто любит плакаться, а живет плоховато исключительно по собственной вине. В колхоз работать она практически не ходит, даже минимума трудодней не выработывает — откуда же деньги? А в здешних колхозах (мы потом в Самолве смотрели ведомости) сейчас зарабатывают вполне прилично. Уж не говоря о рыбаках, которые за путину получают триста — четыреста рублей, а в год до тысячи (есть месяцы, когда они в озеро не ходят), доярки на ферме тоже зарабатывают в месяц не меньше ста рублей, даже в полеводческих бригадах (прополка и прочее) получают, кто ходит более-менее регулярно, рублей по шестьдесят — восемьдесят. «Это на всем готовом! — втолковывает мне Екатерина Ивановна. — Чистыми! Остается у тебя от квартиры и питания в месяц сто рублей? Причем такой пищи ты не имеешь: озерная рыба, парное молоко, творог, картошка, лук, всякая зелень с грядки, мясо даровое...»

Может, у меня иногда остается больше, иногда меньше — не в том дело. Наверное, тем не менее она права, хотя нелепое чувство вины перед Шурой во мне сидит. Тяжело ей, все-таки тяжело. Я помню это ощущение тупой боли в сердце, когда нет сил двигаться, потому что сердце устало. Не я, а сердце. А двигаться надо: печку топить, воды принести, помой выплеснуть, пол вымыть. (Корове дать есть, поросенку, курам, подоить корову...) И вот организм инстинктивно выработывает это — боязнь лишнего напряжения. «Ня буду я половики мыц нынче. Руки боляц, ня буду...» Шура — плохо, хорошо — поработала на своем веку, теперь молодому бы надо ей плечо подставить, а молодой далеко. Он бережет силы за уставшую мать. Мать работала, а он устал...

**5** В пятом часу мы с Екатериной Ивановной заходим за Верой Федоровной и студентками, чтобы «идти по старикам». Дом у Анны Петровны Романовой, где живут наши спутницы, большой, крепкий, под железом, за домом — бесконечно идущий к оврагу сад со старыми яблонями, огород, там же летняя кухня. Анне Петровне пятьдесят семь лет, но она еще не старая на вид, приятная женщина — полная, черноглазая, черные волосы с проседью завязаны сзади узлом. Вот зубов у ней почти нет, остались впереди, как она выражается, «два клоуна» — гнилые обломки, потому, улыбаясь, прикрывает рот пальцами. Вообще у большинства здешних женщин старше сорока зубы плохие: к врачу обращаются, только уж когда невтерпеж болит, в больницу с лечением не наездишься, далеко. Правда, теперь практикуют выезды специалистов в село: в Самолве, пока мы там были, принимал и зубной и глазной врачи.

Анна Петровна ведет дом всерьез, хлебосольна, кормит девчонок и свежим творогом, и блинчиками, и даже драченой — блюдо из яиц, молока и муки — у нас забытое, в детстве когда-то я его ела, готовил сибиряк-отец. Нашу Шуру Анна Петровна недолюбливает, считает грязнулей и лентяйкой: «Ена таких дачников ищет, чтобы яё кормили... Люди в доме, как ето не готовиц?» Впрочем, у них с Шурой давние счеты: когда-то первый муж Анны Петровны, вернувшись из заключения, домой не пришел, а сошелся с Шурой. Что ж, что и Шура «етим куском» сыта не была, — женская неприязнь к ней у Анны Петровны осталась. После войны Анна Петровна снова вышла замуж за солдата, который был моложе ее, но жизнь у них получилась. Живут дружно, дочек Анны Петровны от прежнего брака повыдали замуж, «общий» их сын учится в мореходке в Ленинграде. «Любил очень мальчишком с оцком в озеро ходиц...» Иван Петрович и сейчас в озеро ходит, зарабатывает хорошо, денег, судя по всему, хватает. Тем не менее дачники у них живут каждое лето, и клюкву Анна Петровна тоже не пропускает...

Девочки наши к своей хозяйке привязались: она ласкова и хлопотлива с ними и зовет их мягко «Ленушка», «Аннушка».

Мне почему-то Анна Петровна не кажется такой уж простой. Когда мы с Екатериной Ивановной однажды



«навялились» к ним на уху из свежей озерной рыбы, которую принес Иван Петрович — устоять против такого соблазна лично для меня невозможно: нас пригласили хозяева из приличия, но мы неприлично сразу согласились,—тем не менее предусмотрительно прихватили из местного магазина бутылку водки. Оказалась эта «прибавка», естественно, к месту, Анна Петровна называла бутылку ласково «главная», сама выпила стаканчик, и Иван Петрович тоже вниманием «главную» не обошел. Ну и мы при этой «главной» уже проходили не за бедную родню.

Вера Федоровна уверяет меня, что Анна Петровна бессребреница и хлебосольна от души, я тоже чувствую, что она хлебосольна и радуется искренне, когда девчата с аппетитом уплетают ее готовку, но коли уж тут принято, что постояльцы хорошо платят и съеденное считают, порядок этот, во избежание недоразумений, нарушать, как я чувствую, не рекомендуется. При расчете выясняется, что я не ошиблась. Анна Петровна, спутав наших студенток, получающих сорок копеек командировочных в день, с ленинградскими дачниками, спрашивает столько, что у девчат глаза лезут на лоб. Отдали все, что было, не возместив и половины спрошенного,—и расстались обе стороны весьма обиженными друг на друга.

Но сейчас, когда мы зашли в дом, до расчетов было еще далеко, девочки пили чай после обеда, хозяйка мыла посуду на кухне и рассказывала про «супрядки» — о том, как в девичестве она ходила прясть лен и вязать сети в избу, которую деревенская молодежь специально сообщала нанимала у какой-нибудь вдовы, чтобы собираться вместе. Работать, и песни попеть, и с парнями поболтать, а те на «супрядках» высматривали себе невест.

— Со старины было, все люди жили в деревне, так молодежи много было и гуляли. Теперь все учаща, так кому ж? Теперь — кто гуляет, народу-то мало...

Анна Петровна рассказывает, желая повеселить постояльцев, как однажды поехала с братом в церковь в Кобылье городище святить пасху. «В лóдьях (опять старое хорошее слово) ездили через озеро. Мамина сестра, нянькой звали, нам говоря: «Вы двою поедитя, так возьмитя и мою пасху, там посвятитя...» Приехали, остановились у «своёй роды», брат про пасхи и думать

забыл: в Кобыльем городище у него девушка была. Аня же нести в церковь две пасхи побоялась: еще отнимут. «Приехали: розговляйся, нянька, паской, ена ня в церкви была, а на печке ляжала!..»

Анна Петровна смеется, прикрывая полные губы пальцами, смеемся и мы, однако, целиком комизма ситуации нам понять, увы, не дано: хотя мы вполне уважаем религиозные чувства, обряды и прочее, ощутимой разницы между освященной и неосвященной пасхой для нас нет...

Девочки допивают чай, и мы отправляемся к следующей в нашем списке сугубо местных стариков — Прасковье Ивановне Валдаевой.

Изобка у ней небольшая, хотя справная и ухоженная настолько, насколько могут поддерживать свой дом две женщины: Прасковья живет с сорокалетней незамужней дочерью Галей, которая работает в местном медпункте. Прасковья — худенькая легонькая старушка в «долгой» юбке, ситцевой застиранной кофте, старых мальчишеских «башмаках» на босу ногу и пестреньком платочке, повязанном концами вперед. Лицо у ней маленькое, тонкокожее, большеглазое, нос прямой, тонкий. Худые щеки все в ромбиках морщин, точно печеное яблоко, как-никак Прасковье уже семьдесят семь лет. Правда, поворотлива она и быстра на удивление: легко нагибаясь, подбирает наколотые полешки и укладывает в поленницу — дрова колет дочь Галя. Косоглазая, некрасивая мрачная. Заходит следом за нами в избу, улыбается сурово и молча, садится, подперев кулаком подбородок.

Начинаются обычные наши вопросы: «А как жили в старину, а как свадьбы играли?» Прасковья отвечает быстро, бойко, тут же и песни вспоминает, которые пелись: «...Сам плеточкой маше, камод открывае, графин вынямае, стакан наливае... Выпей не лянися, любиц не стыдися...» «Я вона какая, я красивая была!» — прерывает она сама себя, схватывается, семенит в «чистую избу», снимает со стены портрет, приносит нам. По портрету не очень-то разберешь — мутный, темный, неживое, каменное лицо, — но мы подтверждаем: красивая. Можно и так догадаться, что была недурной.

— А сейчас молодежь свадьбы играет у вас? Или

расписались — и все? — спрашивает кто-то из девочек, тут Галя, встрепенувшись, говорит:

— А как же! Никто еще без свадьбы не выходил!..

И взапуски, наперебой с матерью, начинает вспоминать правила обряда, ею не пережитого, но слышанного в детстве не раз, наблюденного истово со стороны. Расспрашивала, наверное, мать и старших подруг с подробностями, на себя, как всякая девчонка, примеривая — и я так буду делать, как стану замуж выходить! Красивую бойкую Тамару замужество миновало, чего уж Гале ждать... Поубивали женихов — кому, на кого жаловаться?..

Старая Прасковья куда живет дочери — перехватывает инициативу, и вот уже снова говорит только она, а Галя вяло и иронично вставляет иногда реплики. Прасковья рассказывает, что материя на подвенечное платье ей была привезена из города: «Ткань кремовая, к этому-то месту бахмары пришиты, а тут борки. С боркам платье и с высокой талией...» — так и выпаливает чисто, будто две дамы московские обсуждают будущий туалет: «с высокой талией!» — и показывает сухонькой рукой, чиркнув себе по кофте, выше отвислых, ничем не подтянутых грудей.

Мы смеемся, Прасковья тоже — не поняв даже как следует, что нас насмешило, но и не обижаясь: она из тех, кто рад хоть как придуриться, лишь бы компанию повеселить. Для нее, вострой и восприимчивой, не диковинка употребление литературного оборота: радио слушает, в кино ходит; Галя иногда журналы принесет, почтает — ухо привыкло.

Если вообще устный литературный язык сложился много позже письменного, под непосредственным влиянием последнего, и есть страны, где он вовсе не является формой массового общения, например, Япония и Китай — там не только в сельской местности, но и в городах еще далеко не все владеют общим литературным языком (я думаю, из-за традиционной архаичности, излишней его, так сказать, «литературности»), то у нас сейчас, как и во многих странах мира (Англии, Франции, Италии), идет обратный процесс опрощения письменного литературного языка, низведения его до уровня городского полудialecta, с соответствующим этому

«койне» словарным запасом и синтаксисом. Плохо или хорошо, но процесс сей идет неуклонно, и все мы ему невольно подчиняемся с большей или меньшей поспешностью и охотой. Происходит это, я думаю, оттого, что все больше и больше стираются, размываются границы диалектов, даже в глуши деревенские старики зачастую обыденно употребляют литературные слова и обороты, нет уже четкой грани между языком литературным, «высоким», на котором разговаривает какая-то кучка людей, и языком, так сказать, мастеровых. Теперь в среде интеллигенции мода на «грубый» язык, и удивительно бывает слышать, как две немолодые дамы, встречаясь, начинают обмениваться репликами типа: «Привет!» — «Привет, детка! Как житуха?» и т. д... Но мода есть мода, обаяние ее неодолимо, и все возрасты ей покорны.

Прасковья между тем уже весело рассказывает про свое замужество, про то, как они с одним солдатом (тут граница была) «снюхнулись, познакомились». Она сказала отцу с матерью, что «хочет взять Лешу в дом». Папа засмеялся: «Славный буде домовик!.. Ну ладно ж, сходитесь». И что надо было прежде, чем объявляться, идти к доктору, потому что среди солдат тогда много больных было, и как доктор им написал, точно скотине для случки: «пара здоровая...» Нам интересно слушать про хорошую старую традицию, когда поп три воскресенья подряд «делал выклички» — объявлял в церкви, что, мол, такой-то сватает такую-то. «А то, може, он тебя сладил, да не бере, али хто от его с пузом ходи!..» Конечно, не всякого эти «выклички» могли устыдить, Прасковью подругу, например, сватал ротный, который, оказывается, «обещал» перед этим другой. Когда эта «другая» объявилась, ротный ей и всему честному народу нахально объяснил, что, мол, «обещал, да не взял!». Но ротный — человек чужой, сторонний; для местных же парней эти «выклички» были, вероятно, лишним стимулом подумать, прежде чем «обещать». И дальше Прасковья, похохатывая, вспоминает, как еще один у них тут женился, взял бедную. У ней имущества один кумачный сарафан да грубая «с точива» рубашка, и у него — не более того. «Надо ложиться спать с мужуком, а постеле-то и нету. Рыбацкую его сетку сеном набили, шубой ёвоной накрылись — и лягли». Но, видно, жени-

лись они хоть и в бедности, да «по любви», потому что молодая, хлопоча утром по хозяйству, так весело пела, что свекровь, стыдясь, ее все одергивала: «Паночка, ты ня пой громко, подумают, что ты дуручка...»

Вера Федоровна начинает расспрашивать Прасковью, что тут сеяли да чем пахали. (Лен, оказывается, раньше не сеяли, покупали в Эстонии.) Прасковья перечисляет: соха, борона (из елового, с сучками ствола), потом плуг появился. Но как назывались части сохи, она тоже уже не помнит, вспомнила одни «лемешы». И цепа, тут его называют «молотилкой», тоже названия частей не помнит, помнит только, что берегли для молотилки угревую кожу, «она была крепкая».

Вообще со сменой орудий производства не только в городе, но и в деревне теряются, утрачиваются слова. Сколько, например, раньше существовало названий для разной формы укладок снопов?.. Во-первых, копна — пятьдесят два снопа озимых или яровых (а также куча сена на лугу). Полкопны — двадцать шесть снопов. Крестец — тринадцать снопов, крестообразно положенных друг на друга, венчались они тяжелым снопом — головой. Бабка — десять снопов льна, приставленных друг к другу. Скирд складывался из необмолоченного хлеба. Еще для этой же цели существовали адонья — небольшой скирд правильной круглой формы — и кладушка, складываемая четырехугольником. Стог, или омет, складывался из обмолоченной соломы, а также из сена. Вал — сено, сложенное длинной кучей. Теперь, поскольку хлеб, как правило, при машинной уборке не вяжется в снопы, то остались названия: стог, копна, ну еще скирд, хотя употребляется последнее название не всегда в прежнем значении. Необмолоченный хлеб не так часто оставляют в поле в скирдах, это уже крайние какие-то случаи.

Ну и вовсе позабылись, исчезли из языка многочисленные названия обмолоченного зерна и отходов молотбы цепами. Оверхшьем называли хорошее полное зерно на току. Охвостье — легковесное мелкое зерно. Озадки — пустой колос, легкие зерна, всякий сор, остающийся после веяния. Полова, или пйла, — шелушки, в которых в колосе держится зерно, мякина — то же примерно, что и полова. Остинки — ость ко-

лосьев. Хоботье — мякина, смешанная с половой и пустым колосом. Устрески — крупный обмолоченный колос с остатками зерна. Пыль — сор, отбросы молотбы и веяния, которые нельзя использовать в хозяйстве. Шаройка — гречишная мякина. Сулка — отбросы от пеньки, кострика — от льна. Старновка — снопы, обмолоченные цепами один раз нечисто и подлежащие еще одному обмолоту. Веревка — снопы, уложенные в ряд на току для обмолота цепами. Залог — куча снопов, которая обмолачивалась конной молотилкой от отдыха и до отдыха. Ворох — куча наваянного зерна на току или в сарае. (Вот когда обрела наконец смысл частушка, слышанная мной в детстве: «Меня батюшка лелеял, молотить не заставлял, заставил ворох караулить, я полвороха украл...»)

Не удержусь от сравнения: язык — точно река, несет в себе все следы производственной деятельности человека, и если раньше эти следы не замутняли, не загрязняли его, то теперь, увы, они зачастую инородны, тяжелы, неудобоусвояемы...

Кстати, напомню, что слово «соха» некогда обозначало небольшую общину с принадлежащей ей землей, до сих пор на Северном Урале «посóха» — это артель или группа рабочих, отсюда и «мелкая сошка». А потом уже слово это стало обозначать палку, дубину (посох) и, наконец, истинно «соху». В астраханских диалектах «соха» — палка с двумя развилками, не отсюда ли произошел «сохатый»?.. Пока еще соха для нас — не умершее слово, вон в иных деревнях ею проезжают картошку на личных огородах, но скоро умрет, и, встретив в каком-то диалекте вдруг слово «соха», мой далекий потомок будет так же удивляться и недоумевать, как я удивляюсь «лядине»...

А как вы смотрите на то, что «копна» и «купец» оказываются в ближайшем родстве? Ну вот я произнесу еще: «скопиться» — теперь будет легче перебросить мостик?.. Оказывается, «копа» — это толпа, сходка. «Купщина» — толпа по-болгарски, «куп» — по-сербски съезд; «купити» — собирать, скупать. «Купец», «покупать» первоначально обозначало — обмениваться, общаться... Правда, это интересней любого кроссворда — связывать и наращивать подобные цепочки в языке?..

Как Прасковья ни крутилась вокруг да около, поощряемая уточняющими вопросами Веры Федоровны, тем не менее и она пришла, наконец, к главной теме всех разговоров и воспоминаний подборовцев — к войне. Почти тридцать лет прошло, а рассказывают, едва выпив или просто разговорившись, — помнят мельчайшие подробности.

Это были первые месяцы войны, отступление. Я так и не поняла, прослушала, как попал семнадцатилетний Миша, сын Прасковьи, в лодку к военным, едущим в Кобылье городище. Видно, попросили перевезти, не знали, что там засада. «Оне ехали с парусом, глядя: а враги-то их на берегу дожидаю. Оне песню-то и запели...» Был недолгий бой, всех, ехавших в лодке, перестреляли, а вечером кто-то из подборовцев, бывший случайным свидетелем перестрелки, сообщил Прасковье, что сын ее убит. «У меня вот здесь пирог белый под кофтой, хотела яму с собой дать, когда в лодку-то шел, ня догнала... «За што не привяли Мишу?» — «Паша, а ево убили...»

И без паузы, чуть придохнув, продолжает: «А во што он убит?» — «А я и ня знаю, кажется, в лицо...» — «Поеду за Мишей. Галька, если придут вас расстреливать, вы ня признавайтесь. А я поеду за Мишей». Прибежали на берег мужуки: «Пашка, не ступай!» — «За Мишей пойду, ня слышу, что вы говорите!...»

И дальше, так же обычно, спокойно, рассказывает, как приехала в Кобылье городище, а там вроде все по-прежнему и никаких следов боя, увидела, идет девушка, спросила ее, наверное, вдруг понадеявшись: тихо ли у них? «Како там тихо, тетя, ня тихо! Паши Валдаевой сына убили». — «А где яво убили?» — «За гумна ступай, там ены зарыты». Рассказывает, как пошла за гумна, увидела неглубоко вырытую и просевшую яму, и как встала на колени, и начала прямо руками отгребать землю. «Стою я вот так, девочки, и копаю». Прасковья вдруг быстро спускается со стула на половики и начинает как бы грести что-то горстями, воспроизводя для нас эту сцену. Но горя, видно, уже нет, оно притупилось, разошлось за двадцать восемь лет по частым вот таким рассказам-показам, и актерка только талантливая перед нами, а не

скорбящая мать. «Копая, вижу в земли: Мишина нога и палец белый. Мяня затрясло, и вспомнила я, девочки, учыл мяня моёй сястры муж: «Спужалас, Пашка, не бяги! Ты от страсти не убяжишь, ето в тябе кров смутилась». Передохнув, продолжала копать дальше, пока не отрыла сына совсем. Попыталась вытащить его из ямы — ослабла, сил не хватает. «Здымаю, здымаю, девочки, вот до этого-то места доздымаю — и ня здынуть... Тяну за руку, за ногу, когда живой, дак легче был... Я опять лягла на него, холонный уже, хоть и онна ночь прошла. Лягу и плачу, хтой-то бяге: «Тетя, ты только как тише, ня плач. Браги за оградой карауля...» Слышу, иде хтой-то: три бабы с носилкам. Вытянули из ямы, отняли в лодку. «Тетя, ты не едь так пушкой-то напрямки, задайся по камышам...» Еду, грымы что-то взади. Лягла на Мишу, ляжу... Приехала на берег. Наши мужуки стоя, Галька бяге: «О-ой, мама Мишу вяде, ой, мама Мишу вяде...» — «Помогитя мне Мишу вынести». Вынесли, положили на берег, я опять лягла на Мишу, ляжу, будто я неживая. Мужуки крыча: «Пашка, спирту пей, легче тебе будя». — «Бросьте вы меня уговаривать, я не маленький ребенок, ня нада ни спирта, ня нада никово. Вот мое все...»

Не знаю, как остальные, а я уже не могла больше ничего ни слушать, ни записывать. Перечитывая записи, я удивлялась жутким точным деталям и необычным словам: «А во что он убит?» — «Ня знаю, кажется, в лицо...» Запомнить и в сотый раз так рассказать все мог только человек талантливый...

В Москве, прослушивая пленку, где Вера Федоровна записала, как Прасковья рассказывает сказку, прочитанную ею когда-то в детстве (она кончила три класса и читать умеет!), я снова удивлялась, как это без подготовки, «с ходу» она так прекрасно говорит. С естественными паузами и придыханиями, неуловимо-изящными переливами интонаций, нестандартными, потому производящими впечатление сочетаниями слов. И переделала, конечно, все по-своему: свое, крестьянское видение мира, свою индивидуальность этой известной сказке передала... Рассказ про сына девочки записать постеснялись, хотя Галя и предлагала. Есть на пленке еще рассказ про свадьбу и про то, как Прасковья перед войной ловила



шпиона, как ее премировали потом пограничники: «...Сто рублей денег, Мише свитер дали хороший, мануфактуры десять метров, широкая такая... Сшила Мише рубашку, себе сарафан — все в полоску». Тут Прасковья делает коротенькую паузу и заканчивает невозмутимо: «Матрасная была мануфактура...»

Я три раза слушала эту пленку, знакомых приводила — слушали, раскрыв рот, физическое просто наслаждение, блаженство.

**6** Мы с Екатериной Ивановной решили на недельку уехать от наших диалектологов в Самолву: там правление рыбацкого колхоза имени Александра Невского. И хотя сейчас рыбу не ловят, да и за неделю много не увидишь, все-таки интересно хоть чуть-чуть пощупать, как и чем живет народ в рыбацком колхозе в перерывах между путиной. Если признаться, поднадоели нам деды и бабки, не так уж часто ведь среди них встречаются подобные Прасковье. Поднадоело слушать про то, что было, хочется взглянуть на то, что есть. Ну, а когда Вера Федоровна с девочками будет возвращаться в Псков, чтобы ехать на юг области (сейчас мы на северо-западе) через Опочку и Духнево в деревню Волково, мы к ним присоединимся.

Как нам объяснили в Пскове, колхоз имени Александра Невского небольшой, но крепкий, работает с прибылью. В Подборовье (правление у них в Островцах) вообще непонятно, в колхозе они или не в колхозе. Ну бригада, конечно, за уклежкой в озеро ходит — не каждый, правда, день, но в путину, судя по заработкам, работают хорошо. Шура вот картошки проезжала два дня, да три дня на колхозной лошади себе дрова возила. Рассказывали нам, что посадили в прошлом году тут лук, да «ен в дудки пошел рость, под ево и навоз надо и прополоть...» С луком не вышло, в этом году его уже не сажали.

Когда мы ехали в Самолву по озеру моторкой, было солнечно, по голубой воде шла рваненькая верхняя волна, плоские, точно ненастоящие, берега озера поворачивались, приближались. И ото всей этой бесконечно древней отчужденной красоты было мне почему-то грустно. Ужасно быстро несется время, не успеваешь

приводить свои эмоции и поступки в соответствие с возрастом. Одно утешение: теперь много подобных, «деловых» женщин, значит, хоть смешной не буду. По возрасту бы полагалось уже иметь свой дом — и чтобы за столом собиралось много народу, дети. Много детей. Большой крепкий дом и земля вокруг него, земля, на которой бы я крепко стояла ногами, которая бы кормила меня — и никуда мне не надо было бы торопиться, мчаться, вечно уезжать... В первой, главной части своей души я, конечно, странница по призванию — та самая странница, какие с котомочками ходили от веси к веси, от монастыря к монастырю. И всегда были им открыты ворота любого деревенского дома — вот удивительно: так легко пускали чужих в дом!.. «А расскажи про что-нибудь. Станницы всягда много про все знаю... Садись, садись: сама поистишь и подружке дастишь... Да ештя, девки, ештя! В этом доме ня розогрявают! Плявать! Ешь! Мы ня сожрем, боров сожрё, дак...»

Спали нынче в этом доме, завтра в другом, послезавтра в поле, в стогу сена, просыпались с росой, умывались росой, пили воду из колодчика, над которым висел деревянный корец: что все люди чистые — это подразумевалось. Шли дальше босиком, грубыми ногами по мокрой от росы, не пылящей еще дороге, неся за плечами все свое — и совсем немного, чтобы не тянули заботы: впереди люди, позади люди, накормят, дадут чем укрыться...

Такую идиллию я имею с избытком: вот уже шестнадцать лет езжу куда глаза глядят, куда хочу по всей стране. И правда, везде люди: голодной я еще не оставалась, без крыши тоже. Но устаешь с годами, и тогда в дороге настигает тебя тоска по неподвижности и бездумному созерцанию, по большому старому дому с деревянными некрашеными полами, там в большой, главной комнате стоит большой стол — и много родных голов, склоненных над этим столом... Дом?.. Может, что-то в этом роде и сбудется когда-нибудь, но только примерно так, как у нашей Ирины Степановны. Ее большой дом начинается с огромной застекленной террасы, дальше — просторные крепкие сени, чулан, чердак, потом крытый тесом огромный двор, там разместились бы сво-

бодно пять коров и три лошади. Изба... Пять светлых окон, метров сорок полезной площади, разделенной на три комнаты — одну большую и две маленькие. Новый диван, новая радиола, новые высокие кровати с панцирными сетками, крашенные крепкие полы... И одна махонькая быстрая старушка во всем этом великолепии. Еще приходит ночевать десятилетняя внучка, «мышка» — тихо-озорная, черноглазая, с черной челкой. Сыр-рыбак живет тут же, в Самолве, у него свой дом, дочь тоже живет своим домом, другая дочь — в Сибири, и сын второй там же, младшая дочка умерла недавно от рака. Меньшой сын, Иван, плавает на Балтике. Это его и его будущую жену ожидает большой пустой дом, Иван с году на год обещает рассчитаться, осесть в колхозе, да только, мне кажется, вряд ли: затянула его вольная, безалаберная жизнь. Правда, он не ровня Шуриному Ване: деньги матери посылает щедрой рукой и подарки привозит богатые, от души — любит мать. Прислал недавно триста рублей на телевизор, осенью Саша-рыбак поедет в Гдов, привезет старой домашнее кино. А дом пустует пока.

И вот Ирина Степановна потчует нас, случайных постояльцев, попавших в эти запущенные хоромы:

— Ешьте, девки, ешьте! Рыбу ешьте!.. Да куда ее дьявать, новая будя!..

— Откуда же еще? — спрашиваю я.— Плотка ведь в мае ловится.

— В мае... — соглашается Ирина Степановна.— Ноньми мало ей было... Ну ляшшей Сашка принясет, дак... Ешьте! В етом доме не розогрявают! Поистишь, да што не доели — борову!..

И несет и несет на стол: рыбу вяленую, лук, творог, картошку, свое варенье из голубики и из «чарницы», пироги с ягодой, белый хлеб, печенный дома, прекрасно пахнувший хлебом, пресные блины, картофельный суп со своими консервами, молоко, простоквашу, сметану... Что из того, что мы десятой доли не съедим, что, уезжая, за все заплатим: не странницы, и командировочные нам платят не как студенткам. Разве заплатишь за это ясное не ожидание платы, за широкой рукой

случайным чужим людям брошенную на стол скатерть-самобранку? У меня есть — так что же жалеть? Земля еще родит, лес, озеро еще одарят...

— Ешьте, девки! Кисло молоко ешьте! Сыпьте сахару, сыпьте! Творог ешьте, завтра свежий буде... Ложись, ложись, ты на эту постелю лягешь, а ты на эту, в другой комнате! В этом доме и спать негдя?..

Спать в этом доме, слава богу, есть где. Можно с комфортом роту солдат разместить. Эх, сюда бы расторопную невестку, чтобы побелила печку и покрасила подоконники, обмела стены и шкафчики, вычистила кастрюли, которые покрываются все новым и новым слоем сажи на криво горящей в сених керосинке.

— Пушчай яё коптит! Ена всягда так коптит. Тябе воды налить умыцца? Я принясу!

Не успеешь рта раскрыть, бабка тут уже — вернулась с двумя полными ведрами воды: вертолет, а не бабка, хотя ей и шестьдесят девять лет. Мы, конечно, воду себе носим сами, но если не углядишь, бабка с водой ли, с картошкой ли горячей (к дочери слетала, взяла: варить долго, а мы на минутку перекусить заскочили) — уже тут как тут. Такая великолепная бабка — одна в доме, в таком прекрасном, просторном, на совесть выстроенном доме, о котором можно только мечтать, — господи, да что же это делается на свете, если такие дома пустуют?

Ставила его Ирина Степановна сама, лет шесть назад: старый сгорел. Помогал, конечно, колхоз и деньгами, и лесом, и транспортом, но размах был бабкин. Отгрохала хоромы с надеждой на молодую семью. Придет Иван домой, будут внуки, невестка, будут люди в доме, скотина в необъятном дворе. Будет на кого покричать, покомандовать немного, а вообще-то пусть живут сами, как хотят. Она устала.

То, что она, быстрая и непоседа, все-таки устала, чувствуется иногда в том, что сядет вдруг, как бы посреди фразы, положит руки на колени, потушит глаза.

— Ну вас к бесу! Готовься сами. Вон картошки наварится... И корова, ну яё к бесу! Продам. Ваня пише: мама, продай или так отдай, у кого нет. На што тябе с ней возицца?..

Конечно, ей трудно с коровой: надо ходить в очередь пасти, надо сено готовить на зиму, разве старухе накопить столько сена?

Мы начинаем в две руки чистить картошку, бабка, посидев и поглядев сердитыми глазами в глубь себя, схватывается, влезает промеж нас:

— Вот! В три-то руки быстрее... Чисти, чисти, ничего, съедем!.. Дю-ю, бес, гнилая она!.. Картошка старая, новой нету ишшо, лето холонное да без дождей, дак...

Бабка наша — страшная матерщинница, председатель, когда помещал нас к ней, предупреждал ее, оказывается, чтобы не ругалась. Куда там!.. Особенно достается от нее немцам:

— Это сколько ены на нас разов уже ходили? На мой-то памяти?.. Александр Невский — раз, в германскую — два...

Мы смеемся, бабка, поняв, в чем дело, хохочет с нами вместе. В эту войну ей, с оравой ребят, да еще жене сельского активиста (муж ее до войны был бригадиром у рыбаков, потом секретарем партийной организации колхоза, был даже награжден каким-то орденом), пришлось, конечно, нелегко. Но — вот человеческая натура во всем, даже в том, что вспоминается, себя покажет, — вспоминает Арина в основном не тяготы (один раз только вспомнила, как уходила с ребятами из села, гнала с собой корову, и как встретились ей отступавшие красноармейцы, и как она их поила молоком, а красноармейцы очень совестились, что отступают, и жалели и Арину и маленьких ребят), а то, как ругалась она с немцами да с управляющими по разным поводам. Вспомнила, как один немец сказал ей: «Дурак русский, который строится. Мы его дом снова: вот!» — и спичку зажег. «Я ему говорю: фи́га с маслом!» Бабка употребляет тут, конечно, более сильное выражение. Победно вздергивает голову и смеется хриловатым отрывистым смехом.

Смешная наша бабка. Большелобая, нос дулькой — и тоже весь почиркан морщинами, нижняя губа энергично округлена сковородничком, глаза круглые, как у курицы, и смотрит настороженно, даже будто враждебно, но вдруг засмеется низко, хриловато, по-мужицки:

«дю-ю, бес!» Не кинозвезда, конечно, но мировая бабка.

Приносит нам групповую фотографию, заправленную под стекло и в рамочке, и мы с удивлением видим там, рядом с молодой еще Ириной Степановной, Николая Черкасова. Оказывается, он наезжал сюда часто, когда снимался в «Александре Невском», чтобы проникнуться духом места. Вороний камень всего километрах в семи отсюда, сейчас он под водой: озеро наступает.

— Это секретарь райкома, — показывает Ирина Степановна, — это председатель нашего колхоза, это мужик мой, а это я. Уху мы им делали, а потом сниматься стали. Черкасов говорит: смотрите на меня все и смейтесь! Вот. Он потом ешшо приязжал, говорит мне: «Ты меня в кино видела?..» Ково я там видела, говорю, я и в кино-то ня хожу, ково мне там делать...

И молодой Ирина Степановна не была красавицей, тот же нос дулькой, тот же слишком выпуклый лоб, но лицо живое, веселое, видно, и в молодости была востра на язык, потому и нравилось покойному Черкасову поговорить с ней, попкироваться.

И конечно, поработала Ирина Степановна на своем веку досыта. Это ею да ее ровесницами ставились, начинались и держались колхозы. Это они нас кормили во время войны, да и после: десять лет только не работает в колхозе бабка Арина.

— Двоя на передних веслах, двоя на вторых, один сзади. На веслах в озеро, да с озера — руки болят, дю-ю, бес!.. А тяперь — что? Ту-ту-ту на моторе! Едешь — сиди. Сети выбрал — сиди... Опять ту-ту-ту — и дома. Раньше пришел с озера, бригадир ешшо пошлет позем возить или полоть. А тяперь приехал с озера — и сиди себе. Это разви тяперь работают? Мне бы вот сейчас работать: сиди, денежки полукай! Дю-ю, бес!..

Сидеть на месте наша бабка не любит: если мы приезжаем, промотавшись день на председательском газике, часов в девять — бабки дома не застанешь. Ушла «в соседи», где такие же старухи и старички играют в карты, болтают остроумно: мы заметили это за своей бабкой, очень она любит и ценит острое слово. А то скинутся на бутылочку красного, песни поют.

Ночи сейчас светлые. Время одиннадцать, солнце будто бы зашло, а на улице белый пасмурный день: читать можно. Ложимся, начинаем с грехом пополам задремывать — в первом часу наконец ползут в окна сумерки. И тут заявляется бабка. Громко хлопает дверью:

— Девки, спитя?! — Можно разбудить бы и мертвого, но мы не отзываемся, хотя бабке не терпится поделиться с нами последними самоловскими новостями. — Спят!!! — еще громче удивляется бабка, проходит в комнатушку за печкой, начинает раздеваться и несколько раз повторяет себе удивленно-утишающе: — Спят, спят...

Через некоторое время приходит наигравшаяся «мышка»: малышня, пользуясь светлым временем, едва не до часу ночи гоняет по улице.

— Галька? Двери заперла? Пальтушку на дырку брось, не то кот опять припрется... — громким шепотом руководит бабка.

«Мышка» бормочет что-то в ответ, слышно шарканье босых ног о стенку, скрип пружин, затем вперемежку шепот то старческий, то детский:

— Ноги-то холонные, как рыба, грей давай...

— Бабунь, а когда мы мимо Вовкиной избы бжжали...

— А ты яму ня давай спуску...

— А я яво промеж крыльцев палкой охоботила...

— Дю-ю, бес, убьешь так!..

— Я тихонько...

Потом шепот стихает, и по всему дому раздается дружный многоголосый храп. Я ворочаюсь, не могу заснуть, клянусь себя, что не взяла снотворного, надеясь на «здоровую усталость»... Если бы ходить — конечно, была бы она, эта здоровая усталость, но мы с председателем ездим на его газике, потому усталость есть, а сна нет...

**7** Бабка наша председателя ругает последними словами.

Несколько дней назад, когда никто так и не осмелился перевезти часовню, стоявшую в скверике посреди села (правление решило установить на этом месте па-

мятник погибшим воинам), Степан Павлович сам сел за руль трактора и перетащил сани с часовней на окраинную тихую улочку. Перевез он часовню аккуратно, так что в ней ничто не сломалось и не разбилось, на новом месте подвели под нее хороший фундамент, и, когда мы туда заглянули, все иконы уже стояли в ките, полы были вымыты, везде в изобилии висели кружевные прошивки, вышитые салфетки, тюлевые накидки, бумажные и живые цветы — изнутри часовня походила на тот «салаш», который деревенские девчонки старательно убирают цветными лоскутками, играя в «дочки-матери».

Тем не менее, хотя вроде бы все было сделано деликатно, бабки председателя ругали. Степан Павлович к религии и всяким там религиозным чувствам относится раздраженно-недоуменно, как к подзатынувшейся блажи, и не скрывает этого. До самоловской интеллигенции не дошло и, пожалуй, не скоро дойдет распространившаяся среди нас, горожан, некоторая умиленность по отношению к иконам, церковной музыке, обрядности — для нас это все кусок русской истории, нечто безвозвратно принадлежащее прошлому. Для Степана Павловича религия пока что неприятная действительность.

— Вот они у меня где сидят! — председатель сердито стучит себя по загорелой крепкой шее. — Все престолы выучил на память. В Самолве — троицын день и крещение, в Кобыльем городище — Михаил Архангел, в Рудницах — Петров день, в Острове — спас, в Путькове — Иоан Богослов, покровитель рыбаков, в Заходах — Михаил Архангел и Петров день, в Верховье — Иванов день... Четыре бригады, тринадцать деревень. В одной престол отгуляли, в другой начинают...

Большинство молодых мужчин и женщин тут ни в церковь, ни в часовни не ходят, последние существуют лишь заботами бабок, однако престолы празднуются в деревнях вполне старательно. И часовенку в Самолве стронуть с места опять же никто, кроме председателя, не решился. Как выяснилось, есть тому причина.

В тридцатых годах в одной из ближних деревень



переоборудовали по моде времени часовню под зернохранилище, и надо было снять крест. Вызвался некто Крысанов. Полез на крышу, сбросил крест, произнеся слова: «Если есть бог, на воде сгорю!..» Спустя год поехал Крысанов зимой через озеро в Островцы, повез на почту казенные деньги («Конь у него хороший был, рыжий, большой!..») и где-то на середине пути загорелся, лежа на соломе в саях. Деньги целы остались, сани целы, солома чуть обгорела — сам же Крысанов сгорел в уголь. («Глядим, огонь какой-то бегае, хто там горит?..») Ирина Степановна с мстительной жестокостью рассказывала, как привезли Крысанова днем в контору и как все бросились смотреть, ее же мужики не подпустили, потому что ходила она тогда на последнем месяце, а обгорелый труп был очень страшен. Случай этот прекрасно помнят все, даже Степан Павлович, служивший в то время здесь в пограничниках, говорит, что действительно было такое и расследование велось, но ничего и никого не нашли. Предположили, что Крысанов загорелся, облившись эфиром, который тогда был тут популярен, как согревающий и охмеляющий напиток. Случайность, но все-таки «сгорел на воде» — и к часовне, спустя тридцать пять лет, никто не решился подступить, на председателя смотрят с ожиданием: «А с тобой что будет?..»

Нам еще в Подборовье рассказывали, что в Кобыльем городище церковь старая, выстроенная в Озелицах, на месте Ледового побоища, лет через сто после битвы, в ознаменование победы. Потом, поскольку это место залило водой, церковь перенесли в Кобылье городище. В свободный вечер мы решили сходить, взглянуть на церковь, тем более что дорога до нее не дальняя и приятная.

Надо сказать, что Самолва — село зеленое, избы крепкие, просторные, покрашены в разные нарядные цвета, у окон — резные наличники. Сохранились в селе и два старых кирпичных дома, один принадлежал раньше купцам Петуновым, другой Захаровым — те и другие занимались перепродажей скота и рыбы. Внутри эти дома уже ветхие, но внешним своим видом, темным старым кирпичом они украшают село, придают ему традиционность какую-то, говорят о том, что люди здесь

живут искони, что разрослось село не вот сейчас, а давно.

И расположены тут избы не скучно, порядками, в два ряда, как обычно строятся придорожные села, а сообразуясь с причудливым рельефом берега. Дороги везде песчаные — потому улицы имеют непривычно нарядный вид: ощущение, что нарочно песочком посыпаны. Свернув с главного проезда, вдруг выйдешь на зеленую лужайку, в желтых одуванчиках. Там пасется белая лошадь, стоит зелененький деревянный домик часовни, на крыльчке возятся с замком две старухи в широких юбках и белых платочках, повязанных концами вперед, а молодая баба неподалеку прямо посередине лужайки доит корову. Деревенская идиллия... Тут же рядом — арочный мостик, перекинутый через протоку, черная тихая вода, камыши возле берегов и желтые кувшинки...

Похожая дорога через сосновую рощицу, мимо садов и зеленых лужаек, а после — берегом озера и через поле, ведет к Кобыльему городищу. Улицы там заросли травой, возле каждой избы уложены стожками наколотые дрова, на кольях изгородей выветриваются коричневые крынки, а посреди дороги, словно символ малоподвижности здешней жизни — дремлет полувыпряженная из телеги лошадь.

Церковь оказалась небольшой, с голубыми низкими луковицами куполов. Высокий шатровый купол звонницы был в лесах, и кто-то там стучал упорно молоточком. У входа в церковь висела охранная доска, где, как объясняла нам когда-то Прасковья, было написано: «Кто нарушит этая правила, тот покарается строго законом...»

Увидев, что двери не заперты, мы вошли. Было пусто, чисто, тепло, как во всех русских церквах, долго сохраняющих по своей архитектуре теплый жилой воздух. В костелах и готических соборах осенью и зимой, даже при скоплении народа, стоит промозглая сырость.

Мы осторожно прошли возле стен и колонн, поглядели иконы, перед которыми не горели огарки тоненьких восковых свечей и даже не теплились лампадки, видимо, из экономии, может быть, из боязни пожара.

Обнаружили, что на самом деле тут есть очень старый,— даже нам, профанам, ясно, что старый,— образ Спаса нерукотворного; хотели уже уходить, как вдруг из темноты притвора шагнул к нам человек в брезентовом длинном фартуке, надетом поверх старой грязной рясы, волосы подвязаны ремешком, молодое лицо грубо, сильно, неприветливо. Симеон-воин, Франциск Ассизский, правда, без одухотворенности последнего...

— Что вы здесь делаете? — не здороваясь, спросил отец Василий.

От наших старух мы уже знали, что тут два священника — старый, отец Борис, и молодой, который, экономя церковные деньги, сам ремонтирует храм.

— Мы хотели посмотреть,— скромно сказали мы, направляясь к выходу.

Молодой поп помолчал, что-то соображая, глаза его, глядящие на нас, были враждебны и презрительны.

— Смотрите,— неожиданно разрешил он.— Я скажу, чтобы отца Бориса позвали, он вам объяснит тут, мне некогда экскурсии водить, работы много.

Мы не посмели отказаться, и причетчица-монашка позвала старого батюшку. Тот пришел торопясь, скользя по нам равнодушными умными глазами, сразу, будто продолжая начатый когда-то разговор, стал ходить по церкви, рассказывать, когда построен храм и откуда перенесен, и вот икона с образом Александра Невского, а вот старая икона Спаса нерукотворного, которую у них давно просят в музей, но они не отдают. Вот в иконостасе Казанская божья мать, видите: куда бы вы ни стали, хоть направо, хоть налево — матушка глядит на вас...

Он был очень старый, под глазами дряблые мешки, борода тающе-белая, тонкая, голый выпуклый череп перечеркнут двумя жидкими прядками волос, заплетенных на затылке в тонкую седую косичку. Руки у него тряслись, глаза глядели мимо нас, изредка, без интереса, останавливаясь на наших умильно-внимательных лицах. Но потом мы разговорились о жизни вообще и о жизни деревенского священника в частности,— глаза отца Бо-

риса потеплели, стали просто глазами старого, неглупого, хотя в чем-то ограниченного человека. Он пожаловался, что молодой поп почти неграмотен, груб душевно, пишет письма с огромным количеством ошибок, духовного образования не имеет, просто сдал заочно экзамены — и вот ему дали приход. Но для этого прихода годится и такой поп: в церковь тут ходят полторы старухи, а молодежи в деревне почти нет. Например, прислуживать во время службы должен бы мальчик, но родители ребятишкам заниматься этим не разрешают, помогает священнику старушка, которую благословил архиерей, и в алтарь она тоже ходит... Мы сочувствовали вполне искренне, потому, наверное, отец Борис под конец подвел нас к небольшой иконе, где была изображена богородица с младенцем, и объяснил, что она, оказывается, чудотворная, помогает при родах, указала ему на нее во сне Матушка.

Слово «Матушка» отец Борис произносил благоговейно-страстно, несомненно вкладывая сюда пыл давно овдовевшего, бездетного, никому на свете, в общем, не нужного человека. Я поверила, что он на самом деле видел эти чудотворные сны, приснился же мне однажды вещий сон, как провалилась моя пьеса на первом просмотре. Молодой поп, рассматривающий сей храм как принадлежащее ему доходное место, таких снов не увидит.

Мы попрощались и, уходя, решили предложить старому священнику деньги: не бесплатно же он водит здесь экскурсии.

— Спасибо,— не обидевшись, отстранил он руку Екатерины Ивановны.— Положите вон в кружку, а мне не надо, я не нуждаюсь. Пенсию получаю шестьдесят рублей, мне хватает.

Против церкви в полисадничке, огороженном свежим штакетником, стоит гранитный обелиск: тут захоронено более тысячи солдат и матросов, погибших в Отечественную войну. Памятник поставлен колхозом, такой же точно будет в Самолве, на том месте, откуда перенесли часовню. Хороший строгий обелиск, хотя председатель не совсем доволен: черный гранит с золотыми буквами кажется ему слишком скромным. Колхоз не пожалел бы денег на более роскошное сооружение, но, слава богу,

то предприятие в Ленинграде, которое занимается подобными вещами, наотрез отказалось делать что-либо иное.

Возле ограды мы увидели председательский газик, а Степан Павлович и дед Сашка — разбитной, вечно полупьяный старик, носящий на сивых кудрях казачью фуражку с красным околышем, — обсуждали, почему забетонированное дедом Сашкой четырехугольное основание памятника «лупается».

— Надо песочку подсыпать, — размышлял вслух председатель. — Он тогда не буде лупаться.

— Красного надо, Степан Палыч, — поддакивал, подмигивая нам, хитрый дед. — Чтобы красиво было.

Степан Павлович походил еще вокруг памятника, размышляя вслух, где бы достать хорошей краски, чтобы выкрасить ограду, — лицо у него было при этом такое, будто здесь похоронены его старые родители. Потом сел за руль газика, и мы все поехали обратно в Самолву.

Хотя Степан Павлович живет в этих краях с тридцать пятого года — с тех пор, как служил тут на границе, и остался, женившись на местной красавице, — свою украинскую речь он прочно сохранил, ничего не переняв от самоловских. Наоборот, мы в речи местных бригадиров слышали всякие украинизмы, вроде: «А мы побачимо...», «не було такого», «добре-добре, давай иди до дому», — все те внешние особенности украинской речи, которые так легко перенимают русские, живущие на Украине. Помню, лет двенадцать назад я ездила по Ангаро-Ленскому тракту, умершему уже тогда, потому что перевозку грузов взяла на себя новая железная дорога Тайшет — Лена. И мне было удивительно, что в станках, расположенных вдоль тракта не далее, чем за сорок — пятьдесят километров друг от друга, обособленно сохранился говор местности, откуда некогда приехали первые этот станок основавшие переселенцы. В одном станке цокали, в другом якали, в третьем я услышала родной мне, владими́ро-поволжский говор, — бежавшие в конце прошлого века от голода из России упорно цеплялись за своих, выживших в трудном бесконечном пути, истово обособились островками, сохранив говор, обычаи, одежду. Наш Степан Павлович тоже

такой же островок среди якающих и окающих самоловцев. Единственное местное выражение, которое я услышала от Степана Павловича, было: «Наша рода едет!» — сказал он, увидев свою племянницу во встречном газике.

Степан Павлович сам водит председательский газик: шофера призвали в армию весной, другого пока нет. На грузовые машины еле-еле хватает — дрожит председатель над своими механизаторами, как над стеклянными, а они это понимают и пользуются. Мы дважды видели тут одного молодого шофера сильно пьяным за рулем: постов ГАИ нет, значит, до первого несчастного случая все сходит с рук. Председатель вынужден закрывать на это глаза: работать кому-то надо. На правлении при нас обсуждалось, как пьяные шофер и грузчик отвезли на молокозавод обрат, а телятам вылили цельное молоко. Стоила колхозу эта милая путаница пятьдесят один рубль. Правление постановило взыскать с грузчика двадцать шесть рублей — штраф солидный, и, надо полагать, в следующий раз грузчик и пьяными глазами отличит обрат от цельного молока.

День председателя колхоза похож, в общем, на день начальника строительного участка в тайге. (Все мы пытаемся неизвестное постигать через известное, я поступаю так же.) Начальник участка должен помнить и держать в уме все: и то, что на строящийся дом не подвезли кирпича и бруса, и что участок дороги, который клали зимой, просел, надо поднимать; что в магазине нет иголок и дешевых пальто, что мастер К. пришел вчера на работу пьяный, а в орседохнут поросята, предназначенные для откорма. И целый день на колесах, надо успеть глянуть на все своим глазом, потому что руководить по телефону строительным участком умеют только плохие начальники. И ночью вдруг просыпаешься, вздрагивая: забыл!.. И дисциплина, дисциплина, потому что работают не военнообязанные и трибунал никому не грозит. Пойди сообрази, за что ее цеплять, эту дисциплину: если старые рабочие интересовались заработком и за хорошие деньги работали от зорьки до зорьки, то молодежь в основном слоны слоняет и зубы моет, а зарабатывает, нимало о том не переживая, так, что едва хватает на хлеб...

Впрочем, для дисциплины у Степана Павловича Лысенко, в отличие от начальника участка, существует правление и общее собрание колхозников. Что решило правление — закон, хотя бы это решение, мягко говоря, и несколько расходилось с трудовым законодательством. Решили оштрафовать грузчика на двадцать шесть рублей — и оштрафуют. А работай он на заводе, отделался бы скорее всего проборкой. Тут деньги общие он вылил телятам — вроде бы у каждого из кармана понемножку взял: это как простить?..

Правда, бывает, что правление или общее собрание идет против председателя, и тут Степану Павловичу нужно собирать весь свой ум, всю свою хитрость, чтобы заставить-таки собрание решить, как нужно, как выгодно делу и колхозу, а не так, как «вóпит» Федосья Борунова и еще тридцать баб. Пашка Ершова (и еще восемьдесят человек) не выработали минимума трудодней, и по правилам следует у ней приусадебный участок урезать. Но Федосья и другие бабы, которые, как и Пашка, не горят на колхозной работе, потому что находят чем заняться на своем огороде и в своем дворе, орут, глуща всех и вся: «Не отрезать!» Перекричи, переубеди их...

Степан Павлович председательствует здесь уже пятнадцать лет, колхоз при нем выправился, все отрасли хозяйства стали приносить прибыли, деньги на счету всегда есть. Потому он с чувством собственной правоты жмет иногда на голосовые связки, выступая на собрании.

— Демократия, конечно, должна быть,— говорит он, хмуря высокий загорелый лоб.— Только надо глядеть, куды все идет. Такое нарешат иной раз, что им же хуже было б...— И вспоминает, как пятнадцать лет назад, когда он заступил на председательство полуразваленным, полурастащенным колхозом, люди ему говорили: «Стяпан Палыч, ты хоть по рублю (старыми) на трудодень давай, мы с охотой работать станем». Теперь по расценкам нет трудодня дешевле, чем два тридцать новыми, а и то не на всякую работу людей пошлешь. Выбирают...

Дороги тут песчаные, текут под колесами газика, он прыгает на ямах так, что мы то и дело прошибаем лба-

ми брезентовый верх. Уже который день мы ездим с председателем, сначала он был нам откровенно не рад: «Фельетон приехали писать?.. А если нет, другого про нас писать нечего. Много недостатков имеем. Коровник я вам покажу...» Теперь привык, тем более что мы привезли ему дождь.

К концу первого дня Степан Павлович, смирившись с неотвратимостью нашего присутствия, сумрачно пошутил:

— Дождика что ж не привезли? И льну бы надо и траве тоже надо. Трава задержалась ростом, а сенокос пора начинать, не то до белых мух не управиться.

— Привезли, не распаковали еще.—Надо же хоть как-то умиловить человека, который поглядывает на тебя волком, а улыбается словно по обязанности, хотя улыбка у него поистине голливудская: зубы ровные, как слоновая кость, один к одному.

После этого разговора мы заехали на зерносклад, и, пока председатель обсуждал с двумя плотниками, как именно следует расширить склад и сколько центнеров лишнего зерна сюда войдет, чистое небо вдруг заволось тучами, и начал брызгать дождик.

— Ну вот и поливка пошла,—сказал один из плотников.

— Какая это поливка!..—махнул рукой председатель, не глядя на нас.—Давайте заканчивайте быстрее. На новой неделе мне некогда будет с вами торговаться.

— Закончим... И нам неколи: покос будет! — Потом снова о дожде: — Ничего, еще настроится...

И настроился. Когда мы сели в газик, дождь лил уже сплошными толстыми струями, капал за шивороты сквозь худой брезентовый верх — председатель явно повеселел, уже прежде нас смеялся над какой-то теткой, трящейся под проливным дождем на телеге с грохочущими бочками по направлению к озеру: выпросила наконец в колхозе для поливки своего огорода лошады!

С зерносклада мы снова поехали на строящийся коровник. Строители были сильно под мухой, не ожидали, что председатель заглянет второй раз. Председатель заглянул, потому что, пока он ездил, придумал,



чем можно пронять этих здоровых ленивых мужиков, считающих, что они удобно устроились. Дело в том, что раньше все они, в том числе и бригадир Ющин Яков — тридцатидвухлетний мужик с окладистой черной бородой и широколобым цыганским лицом, — были членами колхоза. Но вот организовали в области «Межколхозстрой», должный выполнять подрядные работы для всех, — и колхоз отдал туда свою плотницкую бригаду. Теперь они числятся рабочими, имеют трудовые книжки, получают твердую зарплату и... ничего не делают. Нет кирпича. Если бы это были не чужие рабочие, а свои колхозники, Степан Павлович перебросил бы их на другие работы, сейчас они не пойдут: плохо ли полеживать, покуривать, ощущая, как «она» (зарплата) худо-бедно покапывает?..

Степан Павлович повел предварительный спокойный разговор:

— Так все лежите, Ющин, неужели делать нечего?

— А ково делать, Стяпан Палыч, ну нет кирпича, нет!

Тут подъехал еще один газик: прибыли из Гдова главный инженер «Межколхозстроя» и прораб, который должен бывать на этом объекте часто и следить за правильностью ведения работ и за темпами. Но Гдов далеко, дороги плохие, поэтому прораб наезжает в Самолву в основном к концу месяца, когда подписывает у председателя документы на оплату не сделанных еще работ. И Степан Павлович, которого здесь почему-то подводит его крестьянская сметка и прижимистость, поторговавшись и заручившись щедрыми обещаниями, документы все же подписывает и деньги переводит. Колхоз уже перечислил деньги за половину стоимости коровника, а на самом деле всего-навсего заложен бетонный фундамент и кое-как, до оконных проемов, возведены стены. Заднюю стену безнадзорные мужички возвели, оказывается, не по проекту, ее надо ломать и строить вновь.

Но что делать: коровник позарез нужен. Старый в аварийном состоянии, скот зимой держать в нем больше нельзя, перекрытия грозят вот-вот рухнуть. И вроде бы все есть у колхоза: деньги, рабочие — а коровник не строится, нет кирпича. Подрядчик тем не менее снова «сулит», уговаривает председателя авансировать даль-

ше, и на лице Степана Павловича мучительно-тревожное сомнение: платить не за что, а не заплатишь — ну как овсе бросят строить?..

Дождь густо льет, сокращая длительность разговоров под открытым небом. Пообещав председателю, что две тысячи штук кирпича подкинут из Гдова в ближайшее время и будто бы с грехом пополам их хватит, чтобы подойти к перекрытиям, «Межколхозстрой» уезжает.

А Степан Павлович стряхивает с кепки воду, оглядывает окопавшийся в сухом сарае «рабочий класс» и как бы между прочим говорит: «Трава пойдет теперь. С понедельника косить начнем...» Что тут начинается!.. Все мгновенно забывают, что они теперь почти уже городские, с трудовыми книжками и ежемесячной зарплатой, — поднимается невообразимый шум, и больше всех кричит бронзоволицый цыганистый «дед», кругля, катая между красными губами местное «о».

— Нет-нет, Стяпан Павлович, надо по порядку разобраться. Или мы тут строим, а вы нам сено обеспечите, или мы все бросаем и косить идем... Нет, вы нам точно определите, как будет с сеном..

Мы еще толком не понимаем, почему вдруг горит такой пожар страстей, смотрим удивленно, пытаюсь усвоить, что к чему. А Степан Павлович победно и мстительно морщит лицо, говорит:

— А вот побачимо. Продвинется коровник хорошо, без сена никто не останется. Лежать будете — другой разговор...

Теперь мы уезжаем.

— У всех личные коровы...— роняет председатель фразу, объясняющую нам ситуацию примерно на три пятах.

Песок схватило дождем, машина идет, как по асфальту, председатель стряхивает с курчавых волос воду, трет короткий прямой нос, улыбается.

— Вот он, лен,— щедро поясняет он, показывая на взгорбленный клочок земли, где плотно, невысоко зеленеет нежная тонкая травка.— Теперь пойдет. Он после всходов долго в рост не идет, корневую систему развивает, она у него разветвленная очень. Теперь должен рость.

Я смотрю на нежную травку, смирно и густо, точно волосы призывника, отрастающие после машинки, покрывшую выпуклый бугор. Вот он лен, знаменитый лен, цена и спрос на который упали было, когда появилось искусственное волокно, и который человечество благодарно оценило вновь. Ошибается известный химик, интервью с которым я читала недавно: никогда не подменить химии естественных даров земли, они будут все дорожать, а синтетика все дешеветь, но тем несравненной, тем желанней будет белье из тонкого льняного полотна, платья из тех волшебных нитей, которые трудолюбиво мотает на коконы шелкопряд, и черная икра, созревшая естественным путем в брюхе самки осетра.

— Лен тоже у нас доходная отрасль,— говорит председатель.— У нас только овцеводство убыточно, но мне в райкоме правильно сказали: ты любишь шерстяные костюмы носить?..

Мы заезжаем взглянуть, как работает новая машина ДКУ, предназначенная для дробления веток кустарника, которые рекомендуют весной добавлять в корм скоту: кустарника тут действительно много, куда ни погляди, даже слишком. Впрочем, Степан Павлович говорит, что им вполне хватает до весны сена: покосов вокруг много, только успевай заготавливать. В мае этого года колхоз получил знамя гдовского райкома и райисполкома за превышение удоиности коров: корма зимой были достаточные, хватило, а когда весной неотощавшие коровы вышли на зеленую травку, удои и подскочили на тридцать один килограмм в месяц к уровню прошлого года...

Следующий свой день председатель начал с того, что заехал на машинный двор. Тут он потолковал с механиком, обсуждая проблему запчастей, и заодно дал разгон молоденькой шоферке Нине Леонтьевой — рыжей, толстой, с добродушным курносым лицом и расхлябанными «шоферскими» движениями. Нина недавно кончила курсы шоферов в Пскове: весьма серьезные усилия предпринимает колхоз, чтобы обеспечить себе кадры механизаторов!..

Косо наблюдая за безуспешными попытками шоферки завести свой грузовичок, Степан Павлович сердито выговаривал ей:

— Все у тебя портится в утренний час!..

И слушал, как механик жалуется:

— Три тележки имеем, все сломаны, а с тележки на тележку колеса не переставишь!.. То номер подшипника другой, то ступицы, а пойдя достань ступицу...

— Дак, Стяпан Палыч, что вы на меня опять...— высоким обиженным голосом отвечала Нина, выскочив из кабины и безуспешно гремя заводной ручкой.

— Утром, завсегда утром! — Степан Павлович повернулся к Нине уже всем квадратным невысоким туловищем и недовольно наблюдал за ее неточными, чересчур размашистыми движениями.— Вчора позже пришла, позавчера тоже позже, там сидять десять человек, дожидают одну барышню! Чтой-то за работа!.. Поехали, ладно,— говорит он механику и идет к машине.

— Завсегда вы на меня! — кричит вслед Нина, утирая рукавом грязной бордовой кофты чумазое лицо.— Машина старая, с ремонта, сегодня встала в шесть часов, а она не заводится.

— В деревне теперь есть такие,— говорит Степан Павлович, садясь за руль,— что не знают, как хлеб выращивают, только знают кричать, подавай на стол. И ни у кого голова не болит об этом!..

Механик напоминает ему, что подружка этой самой Нины уехала в город учиться, никуда не поступила, проболталась год в городе, работая то в столовой (судомойкой, то (теперь) штукатуром, успела сделать два аборта, а родители вместо того, чтобы привезти девочку домой и наставить на путь истинный, шлют ей посылки с продуктами и деньги. Как же: дочка в городе!.. Ну, а Нинина бестолковость — еще полбеды: обучится, девочка боевая...

Председатель поостывает, мы едем молча, я держусь за скобку под ветровым стеклом, подпрыгиваю на выбоинах и гадаю от нечего делать: по вчерашней мы дороге едем или не по вчерашней? Черт разберет: бугры, кусочки ровной земли, засеянные то льном, то люцерной, то какими-то злаковыми, кусты, перелески, камни, желтый песок дороги, серое низкое небо... Деревня, потом еще одна. Глаз радуется желтому солнечному дереву новых домов. И возле каждого ворот — дрова, сложенные стожком; терраски и наличники покрашены заново,

крыши перекрыты свежей щепой. Июль, а деревни обстоятельно готовятся к зиме: с будущей недели начинается сенокос, потом клюква, потом уборка всякого доброго, что понаросло в поле, в огороде, в саду, в лесу,— а там и зима. Это для нас она еще далеко, а для них — вот, рядом.

Мы вдруг сворачиваем к озеру и подъезжаем к группке мужчин, молча окруживших большую мотолодку, вытащенную на берег. Председатель подходит к мужикам, подпирающим борта лодки, здоровается, тоже опирается о борт.

— Через каждый час выкачивать по сту ведер невыносимо,— говорит самый неказистый из присутствующих, с курносым серым лицом, в замурзанном пиджачке и потерявшей цвет кепчонке, насунутой на лоб.

— Это если пустой идешь, а выбери-ка мокрую снасть,— поддерживает его другой, помоложе, круглолицый, в беретке.— Так и не откачаисси, оседишь. Из-под Гдова нябось идем, не рядом тут.

— Через восемь лет полагается списывать,— произносит после паузы председатель.— А она шесть проработала. Четыре тысячи стоит.

Мужчины переглядываются, страгиваются с места и начинают делать какие-то загадочные круги возле лодки, наклоняя ее общими усилиями то на один, то на другой бок, обмениваясь отрывочными репликами:

— Сюда ни грамма не поступае вода оттуда, я рашшитывал.

— Поставили сальник, тые все равно.

— Лопнувши труба...

— Разве ето капок? И осенью и прошлый год слезки были.

Последнюю фразу произносит приехавший с нами механик, пытаясь, видно, убедить рыбаков, что они валяют дурака, морочат голову: ну течет маленько, но ездить-то можно еще. Тогда все рыбаки, во главе с бригадиром Владимиром Алексеевым, тем самым невзрачным мужиком в кепочке, насунутой на лоб, дружно и озлобленно набрасываются на механика:

— Как утром проснесси, вот до сех вода!

— И солярка всплывае, пойдн оботри яё. Я сколько концов даю!..

— Вот перед этим упругом тьяке.  
— Сейчас прижато, а на воду спустя, ена опять потьяке.

— По всему килю помаленьку дае теч.

— На такой площади тьябе и не откачаться,— вдруг легко соглашается механик, а Алексеев, с презрением глянув на него: «Пустырь ты, пустырь, тьябе бы лишь не делать ничего!» — говорит парню в беретке:

— Дай топор, Кольша.

Остальные рыбаки начинают зубоскалить:

— Дай топор, он отколе маленько бревешку там!

— Да списать яё, ету «двадцатку», и все дела!

— «Волгу» за яё можно купить! — слабо возражает механик.

— На «Волге» в озеро не поедешь! — Алексеев озлобленно глядит под днище лодки, потом действительно начинает тюкать топориком, что-то откалывая. — По всяму килю так и идет сопля... Вот не через етот болт тьяке?..

— Выбей яво, Вовка! — весело советуют рыбаки, а я удивляюсь: «Вовка»? Пожилой на вид мужчина, года рождения, если судить по наколке, тысяча девятьсот двадцать седьмого... Вот что значит жить там, где родился, среди ровесников, так и не почувствуешь, что состарился, так и умрешь «Вовкой»...

— Это он пустой шел, и мы все по очереди откачивались,— объясняет нам парень в беретке. — А ежели бы нагрузили да вдвоем шли, как обычно бывает, ну и все. Ни за что бы не вычерпаться!..

— Болт выбил, дырку живую сделал,— недоумевает Алексеев,— а вода не иде...

— Давай все болты повыбей, она и теч ня буде! — шутит механик, потом говорит примирительно: — Устареела, видно... Возись не возись, один толк...

— Ты поболтал — и уехал! — обрывает его Алексеев. — А нам роботать в озере, не на берегу!..

Председатель, помалкивая, сидит рядом с Алексеевым на корточках, тоже внимательно смотрит под киль. Я не думаю, что он точно знает, как там устроена эта лодка, не думаю тем более, что, поразмыслив, он даст рекомендацию, как устранить течь. Да и не его это

дело — с топориком ремонтировать каждую лодку или лежать под неисправной машиной. Это дело специалистов, а он просто сидит на корточках, слушает, хмурится, даже не говорит почти ничего, только переживает. Но я чувствую, что его присутствие вроде бы как-то подталкивает мужичков. Не на заводе, время не нормированное, привыкли все делать с раскачкой, а тем не менее время и тут — деньги. Пока они здесь топчутся вокруг лодки, чешут в затылках, ряпушка не ловится, деньги колхозу не идут. Да и бригаде не идет выработка, не выполняется план, но рыбаки соображают это как-то неостро. На берегу тепло, ночуют дома, зарабатывают чуть меньше — что из того?..

Вот Алексеев, пожалуй, тоже, как и председатель, из породы добросовестных — потому и худой такой и лицо озабоченно сжато в горстку. Лысенко присутствием своим как бы гасит смешки вокруг его хлопотливых дотошных стараний понять, что же с лодкой, где течь.

Кто-то пошутил:

— Колхоз большой, правда, Стяпан Палыч? Что я десять-то человек утоплю? Какой убыток, сколько ены стоят?..

Степан Павлович обернулся и то ли улыбнулся зло, то ли просто зубы показал в недовольной гримасе. Алексеев шутку мрачно проигнорировал.

— Списать яё! — неуверенно подал реплику механик.

— Списать! — высунулся из-под киля лодки Алексеев. — Таким куском-то кидаться!.. Списал! Если колхозу на каждое звено брать по таких две штуки, то когда мы оправдаем?.. Доска-то везде крепкая, почему же в киле не устранить течь?.. Списать!..

Тирада эта искренняя, она производит впечатление, и рыбаки, посоветовавшись, решают просмолить как следует везде киль, вставить болты и тоже просмолить возле, а потом столкнуть лодку на воду и поглядеть «тяке или не тяке?». Все они сообща начинают заниматься ремонтом, только механик стоит возле, руки в карманы и ворчит:

— Ну, если ты колхоз так жалеешь, себя не жалеешь. Выйдешь в озеро, да в ночь...

Председатель, вдруг успокоенный, поднимается, идет к газику, мы следом. Механик остается. На следующий день я спрашиваю Лысенко, как лодка, не поедет ли мы нынче взглянуть, чем кончилось дело. Но Степан Павлович почти равнодушно пожимает плечами:

— А зачем туда ехать, другие дела есть... Там все в порядке: болты на место поставили, просмолили и не текет. Завтра в озеро пойдут...

Дела другие есть. Последние дни нашего пребывания в Самолве председатель ездит по бригадам, проводит собрания. Главный вопрос повестки дня — сенокос, явка стопроцентная. Таких сражений — правда, словесных — здешняя земля, надо полагать, не выдывала со времен Ледового побоища.

— Чего Григорьев вóпя? Рот растопырил!

— Ванечка Григорьев, чужим-то бабам не руководи, надо свою занять!..

— Два человека у них на рыбозаводе работают, а корова на бабку пишется! Ни одного воза в прошлом годе в колхоз не накосили!

— Он на озеро на заре едет, а ты грабить идешь!

— Ишшо и крынку молока бярэ!

— Тут гостей у нас много понаехало, молоко-то они хлебают!

— Пойдут и гости косить, все зависит, как мы проценты нынче определим...

— Правильно определим — нам справки ня будут носить!

— Пушшай справками корову кормят!

— Сначала колхозу накосил, а потом уже личное!..

Наконец-то и мы, городские, усваиваем, в чем дело, из-за чего ломаются копыя. В колхозе четыреста пятьдесят пять голов крупного рогатого скота, для того чтобы обеспечить его и овец до весны сеном, нужно заготовить приблизительно восемь тысяч центнеров. Коров в личном стаде тоже надо сеном обеспечить — никуда не денешься. Ну вот, правление, а следом за ним каждая бригада определяют, сколько всего имеется косцов и сколько каждый должен скосить, чтобы обеспечить свою корову и дать проценты со скошенного в колхоз. Идет бесконечная баталия — кому косить, и сколько, и



на каком участке, и сколько должны косить рыбаки, а сколько механизаторы, и почему телятницы не косят, не давать им тогда сена: неважно, что от телят не отойти и что едва ли не главные деньги на счету колхоза от животноводства...

— В прошлом годе начала наша бригада второго июля косить и косили до пятнадцатого августа! На пятьдесят восемь коров и двадцать пять лошадей! В личном пользовании сто голов — за неделю накосили!..

— Борякова приде на проценты косить и ляжи там, а ты рубаху потишь! Надо участком давать!..

Степан Павлович стоит у стола, покрытого кумачом, опираясь кулаком об угол, смотрит неподвижно в зал. Невысокий, с широкой шеей, над загорелым лбом — дымок вьющихся волос. Резкие складки возле губ, привычка вытирать рот горстью.

Наконец он перекрывает гул и гам голосом:

— Косить будем?

Тесный клубик начинает умолкать, — так каша прекращает клочотание, когда в костер плеснули воды.

— Будем! — отзывается кто-то.

— Лишь бы трава была!..

— Так давайте предлагайте, куды мне вас прежде везти косить. Где трава поспела?

Снова поднимается гам, выясняют хором, где трава лучше, где хуже, где надо начинать косить раньше, где потом, кому ехать туда, кому сюда...

Когда Степан Павлович говорит, то улыбается, и глаза у него светятся. Улыбка присутствует на его лице во время диалогов с залом почти постоянно, как у циркача в трудных ситуациях.

— В августе скапливаются все работы: лен теребить, уборка, посевы. Сенокос до августа надо окончить! — терпеливо напоминает он бестолковому существу, гономящему в зале. По отдельности это существо состоит вроде бы из взрослых людей, однако, собранные вместе, они вдруг становятся непонятливы и озорны, точно дети. — А в сентябре вы побегите за клюквой!..

— А мы с двадцатого августа побежим! — выкрикивает какая-то молодушка, и зал гогочет, не слушает трезвых слов, обращенных к нему, забывает, что время идет впустую и дела ждут.

Степан Павлович расчленяет существо на личности:

— Дарья Ивановна, сядь, что ты там стенку-то подпираешь?

Одного выделили — остальным неосознанно завидно, что не его, по-ребячьи хочется выделиться тоже, для того орут, надрываясь, несмешное:

— Иди-иди, посиди в последний раз!

— Дю! В последний! Что она, помирать буде?..

— Бросьте вы арабски сказки разводить! Коровы прогнались, а вы все рты ротягаете!..

— Косить будем? — снова терпеливо напоминает председатель.

— За нами дело не станет, Стяпан Палыч! Лишь бы трава была.

— Все равно нам косить. Эстонцы к нам не приедут, не скосят...

Вот и улегается шум, успокаиваются в этой бригаде. Завтра пошумят и успокоятся в другой и третьей, потом в четвертой. А потом будет скошено сено, вытереблен лен, посеяны озимые и собрана клюква. Пройдет зима, и наступит весна, и все начнется сначала. Человек, который стоит у стола, покрытого красной скатертью, — обыкновенный человек со своими слабостями и недостатками. У него уже больное сердце и расшатались нервы за пятнадцать лет такой работы. Он получает гарантированную, но не такую уж большую зарплату — и никто не обязывает его ночью вспоминать, где, на какой кочке земля просохла и можно начинать сеять; о том, что надо кастрировать баранчиков в частном стаде, а то вот опять откуда-то взялись апрельские ягнята, а они слабенюкие, большой падеж, надо добиться, чтобы овцы ягнились не позже как в декабре — январе, пока у них еще много сил и ягнята рождаются крепкие, не болеют. Его никто не заставляет думать об этом по ночам, а он думает, ворочается с боку на бок, не может заснуть. Не свое ведь вроде это хозяйство — общее. Так кто его и других, подобных ему, заставляет принимать это общее так близко к сердцу — вот что меня удивляет.

Первый час ночи: ясный день за окном понемногу начинает переходить в сумерки. Звякает щеколда калитки, отворяется и с грохотом закрывается дверь в сени, потом в избу.

— Девки, спитя?..— удивленно вопрошает на весь белый свет наша неугомонная бабка.— Спят, спят!..— разочарованно отвечает она себе и, что-то свалив по дороге, проходит в комнатку за печкой, ложится, замирает...

**8** Ну вот, мы в Волкове — конечном пункте нашей экспедиции. Тут всей деревни — семь домиков: два на берегу озера и пять по склону, темнеют в зелени палисадников далеко друг от друга, точно хутора.

Тишина. Пройдет женщина или старуха с ведрами, оглянется на нас, по-цыгански сидящих с вещами у дороги, поздоровается, спросит, к кому мы приехали, обнадежит: стада прогонятся, Оля придет. Косить пошла за восемь километров, «печынка» у ней в той деревне куплена. Топятся бани на задах: суббота. Озеро черной слезой вытянулось бесконечно меж невысоких холмов, по тому берегу кудрявятся бесполезные заросли ольхи, зеленые лепешки островов застыли в черноте воды. Болтается недалеко от берега одинокая посудина: не лодка, а словно бы два корыта, выдолбленных из одного ствола — «камейка». Человек не торопясь выбирает сеть.

В высокой траве у подножья бугра пасется гнедая кобыла с жеребенком и поодаль от них — жеребец. Все четыре или пять часов, пока мы сидим в ожидании, маленькая кобылка, точно челнок, непрерывно носится от матери к жеребцу и обратно. Только ее рыжая спина с полосой и пушистый лисий хвост видны, когда она озабоченно и стремительно продирается в траве, словно депеши носит. Жеребец волнуется и ржет. Маленькая дурочка, потыкавшись в морду матери, прислушивается к сердитому ржанию и летит обратно.

— Компанию собирает,— объяснил нам управляющий.— Не понимает, что мать на веревке и вожак тоже. А ен волнуется: ему косяки надо водить...

Сюда нас довез попутно директор совхоза Николай Васильевич Кондратьев: у него, по счастью, оказались дела в этом отделении. Волково — одно из отделений Духневского совхоза. Всего отделений четыре, а деревень в них сорок четыре, но больших мало — по пять — десять домиков. Общая площадь совхоза — двадцать пять тысяч гектаров. За день все деревни не объехать.

Директор посоветовался с управляющим, и выяснилось, что есть тут один-единственный дом Ольги Егоровны Рыбаковой, куда нам можно попроситься на жилье. В остальных либо в отпуск из Ленинграда родня приехала, либо детей много, либо изобка тесная — только старику и старухе поместиться. А тут дом просторный, и хозяйка живет одна: муж в больнице, туберкулез в последней стадии. Только вот Ольга Егоровна ушла косить, придется ждать ее.

Нас осталось трое: студентки уехали из Пскова в Москву, чему Вера Федоровна откровенно рада — как гора с плеч упала ответственность. И сразу наша начальница преобразилась: из глаз ушла озабоченность и строгость — просто маленькая курносенькая женщина, которая много моложе нас с Екатериной Ивановой и потому, естественно, чувствует себя с нами почти девочкой.

Погнались стада, повышли к плетням редкие женские фигурки, зазвучали в отсыревшем воздухе призывные причитания: «Бася-бася-бася, Мань-Мань, Барыня, Барыня, иди-иди, Барыня...» Блеяние овец, мемеканье коз, мычание коров.

И тут показалась на дороге наша хозяйка. Среднего роста, плечистая, лицо большое, озабоченное, темные с сединой волосы гладко убраны под платок. Повернула к нам голову и даже не улыбнулась, только озаботилась еще больше.

— Девочки, вы мяня давно так ждете! Косить я ходила, у мяня там печынка в соседях куплена...

После я прочла, что в Архангельской области есть слово «пецищо» — надел земли в деревне. Ну и тут приблизительно значение это же. «Опекун», «опекать», «печься» — вероятно, этот же корень.

— Идита за мной етой стяжиной...

Мы слышали тут после: «стега», «стежина», «стежинка» — и ни разу «тропа». Огорчались, что в литературном языке «стежка» твердо ходит лишь в качестве колорита к деревенскому пейзажу. Много все-таки хороших слов незаслуженно порастерялось в дороге. Даже упомянутое уже мной «вороны граяхуть», от которого пошел вполне употребляемый в девятнадцатом веке «вороний грай», теперь в ходу лишь в иных стихах, для колорита.

А птичьи голоса у нас оглаголены весьма скудно: воробьи чирикают, вороны каркают, грачи кричат, кукушка кукует, ну, а все остальные — свистят... А между тем, хотя одна ворона действительно каркает, прислушайтесь к вороньей стае, что они делают? Именно «гряжут».

— Скосили свою печинку? — спрашиваем мы, идя следом за Ольгой Егоровной.

— Скосила, на островенки смятала.

— Куда?..

— Вешала такие. На островенках оно ня плотно садится и ветярок продувае, если дожжик, оно не сгние... А так, когда сухое, дак в круглый омет кладут.

Я после видела везде тут в деревнях эти «островенки»: восемь высоких жердей с оставленными сучками, воткнуты на расстоянии шестидесяти сантиметров друг от друга, поперек они связаны двумя слегами. На них навивается скошенная трава или недосушенное сено, подпирается палками для верности — сено прекрасно в этих островенках провяливается, и дожди ему не страшны. Сооружение — достойное того, чтобы его применять в местах влажных, коих у нас по Союзу предостаточно...

Избы здесь строят иначе, чем в Подборовье. Во-первых, двор или поветь, как тут называют, ставится отдельно от избы, не под одной крышей. Потом все большие избы, в которых мы тут побывали, сразу построены как бы с расчетом на две семьи: старую и молодую. Первая изба, какходишь из сеней, — со своей печью, с киотом, с тремя, а то и четырьмя окнами — все, как полагается. Дальше идет капитальная бревенчатая стена, в стене тяжелая, как на улицу, дверь, а там еще такая же изба, с такой же самостоятельной печью, с тремя окнами и со своим, самостоятельным, «божьим углом».

Вот в такой просторной «второй» избе с крашеным крепким полом, давно, как видно, не топившейся печью и нежилым застойным духом поместила нас наша хозяйка. Мебели тут у ней не было, стоял только длинный стол, скамья да медогонка в углу за печкой. Дочка Ольги Егоровны жила у мужа в соседней деревне.

Хозяйка набила нам матрасы прошлогодним сеном, дала полушубки и одно одеяло, чтобы укрываться, мы растворили окна, напустив комаров, сходили в «байну» к соседям и стали жить в Волкове.

Рядом с Волковым, на другом бугре, отделенная всего лишь пережабиной, по которой весной течет ручей, расположена деревня Васильково, домов пятнадцать. Сначала мы приняли Волково и Васильково за одну небольшую деревню, но директор совхоза нам разъяснил, что это две разных, когда-то очень враждовавших из-за земли. Потом оказалось, что деревни тут вообще маленькие испокон веков. В Волкове, например, до революции стояло четыре дома, и только сравнительно недавно оно разрослось до семи. Зато и расстояния между деревнями небольшие: четыре, пять, максимум восемь километров. Просто, видно, по соседней эстонской моде принята была в этих краях полухуторная система.

Населения в Волкове и Василькове, естественно, было не так много, молодежи того меньше: «Шшотный у нас парень пришел один после армии, на гармошке играет. И яво-то брашень в Ленинград бяре...»

Зато не знаю уж чем объяснить — возможно, каким-то особым климатом, — но было в этих краях предостаточно так называемых долгожителей. В деревне Лихово, неподалеку отсюда, мы, например, разговаривали с Марией Николаевной Мягковой, которой в апреле семидесятого года должно было исполниться сто лет — ровесница Ленину! Она сохранила не только способность самостоятельно и вполне бодро передвигаться, но и здравый рассудок и некоторую даже игривость. Вере Федоровне эта столетняя бабка устроила экзамен на тему, как надо ткать холсты и какой рисунок называется «кошачьи лапки», какой «елочка», какой «цвятница». «Сецяс, сама знаешь, готово носить не переносить. Ситцево полуцце, как пестро!.. — сказала наскучив разговаривать с нами, Мария Николаевна и шутливо махнула на Веру рукой: — Что ты меня выпытываешь, размахнись да и дам в ухо! Составилась баба, отвяжитесь...» Глаза у нее поблескивали озорно, толстые, обросшие длинным седым пухом губы улыбались не натужно, на сердце и вообще на здоровье Мария Николаевна никогда не жаловалась. Дочери ее, всю жизнь проработавшей здесь на ферме дояркой, было шестьдесят три года, видно, сравнивая себя с матерью, она тоже на годы и на здоровье не жаловалась. Руки вот только болели сильно — но это, увы, обычное профессиональное заболевание доярок.

Уезжая из Духнева, мы встретили в чайной старичка, про которого мужик, угощавший его водкой и мятными пряниками, рассказывал, что старичку девяносто шесть лет. Спустя час мы встретили этого деда на шоссе за Духневом, он бодрым шажком возвращался домой в ближнюю деревню. Будучи остановлен нами, он честно ответил, что ему только девяносто четыре года, что в начале века у него были лучшие по области ездовые лошади и что даже на каких-то состязаниях его упряжка получила приз. Потом он попросил сигарет, но никто из нас не курил, потому дедок огорченно потер раздумяившиеся после чайной щечки и пошел дальше...

Но в общем, конечно, все курьезы, связанные с этими долгожителями,— дело геронтологов, меня же поразило и всерьез тронуло редкое по нынешним временам трудолюбие местных семидесяти—восьмидесятилетних стариков и старух, по разным причинам доживающих век одиноко. Они не только в меру сил косили, возились на огороде и управлялись по дому, но многие не оставили заниматься какими-то забытыми молодежью, однако нужными пока в деревне промыслами: выделкой овчин, бондарными работами, разным рукодельем.

Одной из таких была Александра Михайловна Мельникова семидесяти четырех лет. Нам про нее говорили, что она все умеет делать: и половики ткет, и прядет, и вяжет, и сама пряжу красит,— мы, естественно, решили с ней познакомиться. Утром соседка сказала, что вроде бы тетя Саша ушла рано в лес, но к обеду, наверное, будет. Придя в обед, мы и точно на тропе, ведущей к избке Мельниковой, столкнулись с маленькой сухой старушкой, несшей на спине в большом платке вязанку хвороста.

Она опустила свою ношу подле сарайчика, поздоровалась и больше для проформы,— потому что в деревне давно знали, кто мы и с какой заботой ходим по домам,— спросив, зачем пожаловали, пригласила зайти. Внутри избка показалась нам еще меньше и неказистой: видно, была когда-то переделана из бани. По стенам и на деревянной грядке у печки висело много крашеной пряжи, на постели лежала наволочка с чесаной, но не спряденной еще овечьей шерстью. У окна стояла черная прялка с колесом — картинно-красивая, тонкой работы; а рядом ка-

кое-то громоздкое сооружение, называвшееся, как выяснилось, «разматки». При помощи этих «разматок» пряжу быстро и споро переводили из мотков на крестовинки, чтобы можно было вязать. Примерно то же, но затрачивая гораздо больше времени и усилий, мы делаем при помощи спинки стула или чых-то рук.

Александра Михайловна села возле прялки, выжидательно глядя на нас. Была она хоть и сухонькая, но вполне ладная, и талия еще сохранила гибкость, а плечи какую-то линию; на желтом от неяркого загара большело-бом лице блестели черные и огромные, как у гречанки, глаза.

— Хворосту вот принясла,— сказала она, улыбнувшись.— Холодно скоро, топить надо будет...

Вера Федоровна стала задавать вопросы, а тетя Саша рассказывать, как у ее родителей была лошаденка, которая «пустого воза не вязла, и хлеб там, в Заполье, ня рос, а лянок рос...». И как ходила в школу полторы зимы, а отец сначала говорил: «Ходи-ходи, дочка, ня плохо, ходи». А после перестал пускать в школу: «Да ну, все равно работать, дочка, труд дороже ученья». Рассказывала примерно все то, что уже десятки раз мы слышали от наших старух и стариков, но где-то в середине ее спокойного повествования меня вдруг остановила фраза: «Гляжу я на землю тяперь, дочки, и плачу. Когда молодые-то были, не было клочка зямли своего, а теперь вот не под силу. Сколькo сил хватило вясной, стольки скопала. И лучку хоцца посадить, и картовки, и всякого разного...» На самом деле, теперь уже не только мы, городские, но, видно, и многие в деревне не знают, не помнят этой жадной связи с землей: я — ей, она — мне. Когда каждый посев точно азартная игра: поставлено все, но случаются благословенные, баснословные выдачи... Той жадной, животной любви к земле, из-за которой в башкирских сказках русский мужик погибал, обессилев, так и не очертив себе от солнца до солнца круг, надел, кус землицы, который хотелось бы ему иметь. «Гляжу я на землю и плачу: тяперь она мне ня под силу...»

Зато рукоделье всякое Александре Михайловне под силу пока. Она охотно и терпеливо показывала, как прядет на прялке из кудели льняные нитки, и как шерсть прядет, и как перематывает на «разматках»: «на крясты



надевается пряжа, а вьюшка вращается, на нее, видишь, наматывается нитка — и удобно вязать...» И какие она носки и свитера вяжет и какие дорожки ткет. Не для себя, конечно — работу ей приносят со всей деревни. При нас прибежала соседская девушка, принесла завязанный в платке пухлый ком белой шерсти и пяток яиц. Сама эта девушка прясть уже не умела или ленилась, ну, а тетя Саша от работы никогда не отказывается. Пенсия у ней двенадцать рублей, и больше дохода никакого, так что любому посильному приработку она рада.

— Не именно я все за деньги делаю, дочушки. Кто молочка принясет, кто мясца кусочек, кто творожку, хоть и это дожидаетесь, и хлеб не гореванный... Я цельный день без работы ня просижу, заскуцаю. Пряду али пряжу крашу. Ето ня нравится — тряпки режу на половики, — и показала желтые скрюченные пальцы. — Пясткой оне всё привыкши. Иной раз надо узел завязать, оне ня складываются...

**9** Наша хозяйка Ольга Егоровна оказалась женщиной бывалой: муж ее после фронта попал в Магадан, и она, недолго думая, заколотила избу и подалась к нему. Жили они там хорошо, но муж вдруг заболел, и пришлось вернуться. Последние годы муж много времени лежит в больницах, без мужнины в деревенском доме, конечно, трудно, только с болезнью характер у хозяина стал капризный, раздражительный, да и уход за ним нужен особый, так что дел в доме с его приходом не убавляется, а прибавляется. И хотя заботами о муже Ольга Егоровна не тяготится, но без него она вроде бы отдыхает: много ли ей одной надо?

Если исходить теоретически из той сплошь безрадостной жизни, что досталась на долю нашей хозяйки, а также из ее довольно замкнутой натуры, то к пятидесяти семи годам должна бы она стать человеком раздражительным, озлобленным, неприветливым. А она иная. Какая — сразу даже не разберешь. Без привычной суетливой и в общем неискренней радушности, которую волей-неволей обращают в первые часы и дни на чужих людей в доме. И улыбалась она не часто, а в то же время мы чувствовали, что наше присутствие ей не неприятно, и разговаривала она с нами всегда с охотой, хотя сама с

разговорами не навязывалась. Была она не богаче и отнюдь не счастливее нашей подборовской Шуры, тем не менее в ней не чувствовалось ни жадности, ни стяжательства, ни лакейской угодливо-выжидающей позы: «А что с тебя еще можно сорвать?..» Впрочем, в Волкове вообще это не было заведено, скорее всего потому, что местечко еще не стало курортным.

И взгляд у Ольги Егоровны был прямой. Не в переносном, а в буквальном значении. Я, пожалуй, впервые в жизни увидела настоящий прямой взгляд. Сидит она за столом в своей половине дома, шьет; ты спросишь ее о чем-то, и она взглянет просто: поднимет глаза и поглядит на тебя. Не вильнет ими предварительно, улыбнувшись или там прищурившись, а просто, по наикратчайшей дуге, не смигнув, полно поглядит на тебя. Глаза подумают: что? И опять опустятся по прямой, я ни разу не видела, чтобы она катала глаза по орбитам, играла как-то ими. Полный, прямой и потому доверчиво-доброжелательный взгляд. И в лице это было — в щекастом большом лице ее существовала спокойная доброжелательность. Но внутри она была сложнее, чем казалась, часто говорила какие-то неожиданные вещи, которые вроде бы не могла, неоткуда ей было говорить.

Может быть, потому, что она шила. Отец ее тоже был портным, лучшим, в свои времена, в округе, шил верхнюю одежду — главным образом полушубки и тулупы. Дочку он тоже, еще девочкой, стал обучать ремеслу. «Я знаю, я по-серому говорю. Мне папаша сказывал: портничихой выучисси, ня надо в школу. Вот и ня пустил в школу». С детства, таким образом, была приучена она к одинокому сидению с материалом, вот и завелась в ней какая-то своя жизнь. И неподвижность мимики тоже отсюда пришла: сидишь, тянешь иголку с ниткой, идет в тебе что-то хорошее или плохое волнами попутно — внутри идет, что лицом-то играть, гримасы строить?.. Шила она хорошо, для деревни даже очень хорошо, хотя работу со стороны брала неохотно: дел по дому выше головы хватало. Интересовалась модой, даже начала при нас раскраивать дочери новое платье клешем и с воланами, хотя в деревню только-только дошла мода на прямые платья-рубahi.

Привыкнув к нам окончательно, помимо всяких там

историй «про старое время» и «слов», которые выпытывала из нее Вера Федоровна («Сядуха — курица на яйцах, курица-цыплятница», «Каво делать?» — ня скажу — «что делать?» — «каво делать?», «Дождж иде», «снег иде», «Нитина — у картошки», «Молонья вот как мяльнула стрялой, наверное, буде удар», «Стрялой убье, а молоньей сожге», «Перяхватка — завтрак. Перяхватка готова: картошки сварились и ботва», «Большой день-то: попоздовать ково-нябудь принясешь — шшей или супу»), — помимо всех этих занятных, но поднадоевших мне историй, как мылись в черной избе в деревянном корыте, а воду грели, кидая туда камни с каменки: «Чистые были, я ня помню, девочки... Тяперь дома лучынкой стали крыть, а раньше все соломкой. Раньше все такие низенькие были хоромцы, ня принято было... Дверинка ета наружу открывалась, а дым в избу шел. Ето все ня так давно было, девочки... Раньше-то как жили: пол лопатой поскоблят, и так жили. Свекор мой говорил: это что кажную субботу пол мыть, пол сгноишь!» Помимо разных интересных и приятных для уха местных слов и названий начала она нам рассказывать истории «из себя».

Однажды, еще девушкой, она шла утром на покос через лес, и вдруг видит на листьях ольхи какие-то капельки, а вокруг «пчолки» вьются. Попробовала она эту капельку — сладко. И на руках и на лице у ней вдруг такие капельки осели, и «пчолки» стали вокруг нее тоже виться. У ней был дядя-пчеловод, — через него и она переняла любовь и охоту к возне с пчелами, — так когда она рассказала ему про это утро, дядя объяснил: «А это, плямянница, роса мядовая. Ноньми мядоносный год, и вот, бывает, что выпадает роса мядовая, пчолы с росы тогда меду бярут...»

А другой раз увидели мужики, как пчелы вокруг дуба в лесу вьются, подумали, что «мед там в серяду есть». Спилили, а в дупле нет ничего. Старинный пчеловод говорит им: «Это мядовый дуб был, пчолы с его клею мед бярут, зря вы яво спилили, испортили!..»

Про аистов:

— Ходит в заду за косилкой по болоту, ня боицца, лягушек ловя. Шшалкочет: шшолк, шшолк!.. Вместе с овцами по полю ходя, не боицца, только носом краснея...

Про петуха:

— Пятун у меня хороший заболел, кто-то в зоб яму попал, пицца не проходит. Так сдохне — и так сдохне... Я взяла, ножницами яму под зобом разрешила, все вытащила, обратно зашила. Дочка говорит: «Мама, как тебе не стыдно, нахалка ты какая, каво делаешь!..» Поправился, такой пятун хороший...

Как-то вечером Ольга Егоровна, подоив корову и накормив поросенка, села на крыльчке рядом с нами и сказала таинственно:

— Коров-то раньше все загнали нынче.

— Зачем?

— А Иванов день нынче по-старому. Тяперь ничаво — бога ня веруют, чорта ня веруют, а раньше колдовали, девочки... Свекор мой сам видел: утром в Иванов день едет полем баба на помяле, хохлы растрепаны — и рожь в поле хрястом прожата насквозь и не помято нигде. Как хрест на жито положен — так ровно... Еще завязывали колдуньи жито узлом — заломы. Мы боялись их жать, говорят, сожнешь — руки пожизненно будут болеть. Коровам на Иванов день дают Иванову траву есть. Цвяток такой: иван-да-марья.

— Зачем? — спрашиваю я.

Ольга Егоровна думает некоторое время, после улыбается толстощекиным лицом:

— Ня знаю. Думаю: просто так, для красоты, праздник ведь... Мы раньше-то в етот день наряжались, в гости ходили, тяперь ня ходят... Гадали.

— Как? — оживляемся мы.

— В мочило вяночек кинем: в какую сторону я взамуж пойду, туда и плывитя. В ямку с водой кинем: куды мой цвяток поплыве?.. А то житом ночью обсыплешся: суженый-ряженный, приди ко мне жито жать. Мой-то и пришел ко мне.

— И колдуньи на самом деле были?

— Были, девочки. Ловили их ночью, убивали. Ены какую корову приколдуя, та кровью доится. Бывало мы на Иванов день замок корове на шею вешали, закрывали: тяперь ету корову ня сколдуешь. Деда колкого к двери ставили и кдлом осиновым подпирали, чтобы колдун ня взошел...

«Дедом» и «бабой» зовут здесь чертополох. «Дед да баба расту́... Дед колючий, и у бабы все так, только у

деда она голова, а у бабы растелкаф много...» «Бапками» или матрешками зовут тут еще и ромашки. «Сильно во льну любя бапки, матрешки рость. Сорву и гадаю на бапку...»

Все-таки удивительным существом бывает человек, если он умеет молчать большую часть жизни, чтобы копилось в нем свое. Тогда он действительно волшебный сосуд с непохожим на других прекрасным содержимым. Сейчас, правда, люди разучились молчать и думать — выбалтывают, выкрикивают, выплясывают себя, еще не успев накопить, осознать, обжить это внутри. Пифагор заставлял учеников своих молчать пять лет: правда, тогда не было кандидатских и докторских ставок, ученикам некуда было спешить.

— А раз в жизни трапилось мне, девочки, что корова смеялась. Пришла ее доить, а она на меня рогам. Я отскочила: «Барыня, ты что?» А она головой мотае и вот так: «Ме-хе-хе, ме-хе-хе!» — Ольга Егоровна затрясла головой и изобразила губами эту необыкновенную коровью улыбку. — Пришла я домой, говорю: «Иван, Барыня-то наша смеялась, что наполохала сейчас мяня!» Хозяин говоре: «Да иди ты!» — «Ей-богу, говору, ня вру!» А то вот пойду курям картошки давать, а ена двер рогам нажме, вертушок рогом подцыпи и держи. Хозяин дожидает, что мяня нет. «Воля, ты где?» А я: «Барыня, пусти!..» Так пришлось запор сменить... Оне хитры, коровы рябые: черны да темно-красны, колмогорки. Простые-то деревенские коровы не такие хитры, а ети хитры...

И еще миллион у ней историй, про кошку, которая хозяйина дожидает, потому что «ен яе любя, а мне с ней когда возиться?». И как начинает кошка беспокоиться, когда хозяину из больницы приехать, чувствует, за околицей встречает, «словно ей кто скаже...». И про теперешнюю корову Славку, которая ни за что не пойдет домой, если ей не шепнуть, что дома есть еда для нее, и про то, как коровы послед едят: «Когда отелится, только гляди — как собачонка кидается! Все коровы послед ядя».

Прожила эта женщина не длинную, не короткую — очень обыкновенную жизнь. Всех событий — только что в Магадан съездила. Но вот умрет она — и с ней умрет свой, особенный, не суетный, но незнакомый нам и пото-

му удивительный мир. И я вдруг думаю, глядя на нее и слушая ее: может быть, мудрость и смысл жизни не в том, чтобы мотаться бесконечно по свету,— в конечном итоге мельчаешь и сушаешь от этого, и пропадает для тебя необыкновенность в круговерти событий, в калейдоскопе впечатлений. Разучаешься удивляться чему-либо. Наверное, надо жить на своем месте, смотреть, слушать, думать и улыбаться. И не страшно, если никто особенно не заметит, не запомнит, что ты жил и умер. Не в том ведь дело...



## СТАРИКИ, ГОД 1970

**1** Отсюда, с берега, хорошо видно Красавино — холмы с купами деревьев, и через разрывы в облаках на эти купы, на поляны возле — золотой топазовый свет. Прорывается в щели и — точно дымящиеся лучи на чердаке между старой мебелью — клубится золотисто-желтое, праздничное. Может быть, потому, что этот берег невысказанно высок, а другой, пологий, укладывается перед горизонтом выпуклыми холмами, ломающими световые лучи, здесь удивительное освещение, особенно хороши закаты. Таких я не видела нигде, даже в Александровске-на-Сахалине, а там закаты необыкновенные. Каждый вечер мы ходим на берег, и каждый вечер полыхают перед нами сказочные лубочные краски.

Я здесь с диалектологами, их трое: Вера Федоровна Коннова, руководитель экспедиции, Ольга Видова и студентка-практикантка Люба. Стоим мы на квартире у Анны Михайловны Прошутинской, днем разговариваем со стариками и старухами, а вечером ходим сюда. Анна Михайловна тоже иногда ходит с нами, тут часто можно увидеть вечером на берегу — темной полоской на фоне горячего неба — какую-нибудь старушку. Видно, это в обычае, потому что никто не обращает внимания, что старая женщина смотрит на закат.

Думает о чем-то, может, о том, что скоро лопатник придет (лопатник — это тот, кто с лопатой будет рыть могилу. Анна Михайловна говорит: «Какие уж тут зубы, скоро лопатник придет!..»), удивляется, что жизнь прошла так стремительно, а может, и ни о чем не думает,

просто смотрит, колыхается кругами то высокое бездействие души и мысли, после которого любой человек — омытый, светлый, новый.

По Двине плывет моль — палочками по серой воде, черная лодка с мотором оставляет позади два бело-голубых сверкающих вала.

Через час освещение меняется. Низко над холмами — кубовые густые линии облаков, и между ними — малиновый светящийся шар солнца. Без лучей. И в реке он лежит без лучей, дважды отраженный, золотой в красноту, как старое золото высокой пробы. Кубовое густое одеяло движется вверх, накрывает шар, он еще дважды прорывается в дыры — пронзительно-пурпурный, прекрасный как глаз дьявола-альбиноса. И потом по низу неба широко разливается малиновый свет.

Вода в реке гладкая, как весенний снежный наст, и на ней малиновые потоки света. По косе идет человек, тень его черно, четко ложится на воду, кажется, что он шагает по воде. Вода застыло сверкает, как на древних эмалях...

Оторвавшись наконец от всего этого, мы заходим за молоком, возвращаемся домой и пьем парное молоко с деревенским серым хлебом, который печет наша хозяйка. Разговариваем. Свет не зажигаем, чтобы комары не налетели.

Анна Михайловна сидит на лавке в углу пряменько, в своей серой, застегнутой на все пуговицы, вытянутой кофте, ситцевый платок повязан концами вперед. Огромные глаза блестят в темноте на светлом большелобом лице. Наша хозяйка очень добрый человек, таких даже в деревне редко встретишь. Нас она взяла к себе, потому что пожалела. Жители здешние устали от постоев леспромхозовских рабочих и чужих к себе брать не хотят. Почти в каждом доме есть кто-то работающий в Красавино на фабрике, многие в совхозе работают, хозяйство у каждого есть — не нуждаются. Ну, а Анна Михайловна повела нас к себе не споря:

— Не доуго ведь...

Очень мне нравится, как наша хозяйка произносит здешнее ласковое «л» — среднее между «в» и «у», точно ребенок, не выучившийся как следует говорить: «Лен во



какой бы́, доу́гой, треплешь, так ни одну не выдержишь!»

В прошлом году пустила каких-то женщин, приезжавших сюда по ягоды. Никто не пустил, а она пустила, и не за деньги, а просто так:

— Дак это не доу́го. Не на улице же спать...

Эти женщины с ней подружились, приезжают еще, Анна Михайловна их пускает: «не доу́го...» Ходит в соседи иногда помогать картошку копать, если те не успели вовремя.

— Вам за это платят? — поинтересовались мы.

— Нет, не платят. Не доу́го дак, часа два только...

А вроде бы наработалась за свою жизнь как следует: лет с пятнадцати на фабрике Красавинской, выпускавшей тогда всемирно известные льняные ткани; потом в колхозе, потом в совхозе на ферме. Сейчас есть законная возможность отдохнуть, посиживать на крылечке, полеживать на печи...

Этой весной умерла от рака подруга Анны Михайловны, осталось семеро детей. Четверо взрослых: Тамара, старшая, ей двадцать два года, Коля женился в этом году, Вася вернулся из армии, Геннадий в армии; а трое небольших: Леня в пятый класс пойдет, Сережа в четвертый и Наташа во второй. При такой семье и хозяйство серьезное: корова, овцы, поросенок, бычок. Отец там не глава семьи: любит выпить. Тамара с детства привыкла быть за старшую, но она уходит на работу в Красавино на фабрику в шесть и приходит в седьмом часу. Вечером доит корову и обряжает (так здесь говорят) скотину она сама, а утром — Анна Михайловна. Корову подоит, выгонит, уберется, печку протопит, постряпает ребятам, иногда даже pošьет чего-нибудь из старого. Позавчера ушла на целый день: стригли с Тамарой овец. Устала, вернулась домой, легла, пожаловалась, что голова болит — так никто ведь ее не заставляет!..

— Маненькие, так жау́ко. Большие были бы, не жау́ко. А трое — тех маненьких осталось. Неволя, надо идти, если сможешь, помогать...

Воду тут берут из колодца у речки в овраге, до Тамариного дома довольно далеко. Таскает на коромысле воду одиннадцатилетний Леня, весь ходит ходуном под этой древней тяжестью, аж ноги дрожат и на бледном

лице пот. Анна Михайловна с доброй слезой рассказывает о старательном помощнике Лене и о том, как она приласкивает его иногда, гладит по голове: «Маненький еще, дак...», а тот вырывается сердито: «Ну, ты, Михайлёвна!..»

Взрослый сын Анны Михайловны живет в Сыктывкаре, не женат, и внуков у нашей хозяйки нет. Еще было у нее две девочки, но умерли маленькими, одна от воспаления легких, а вторая от дифтерита. Муж ее тоже умер лет пятнадцать тому, так что живет она одна.

Раньше я не задумывалась, чем занимаются, как живут старики и старухи. В городе их особенно и не видно: сидит старушка на лавочке возле дома, пробежишь мимо, не запомнишь — та ли это, которая сидела здесь третьего дня, или та старушка уже умерла, а сидит другая. Город целый живет в нашем доме — четыреста квартир. А здесь все на виду.

Напротив нас живет старая Наталья с сыном и внуком, неприветливая, замкнутая, желтое изморщиненное лицо с тонким носом и голубыми блеклыми глазами, никогда не улыбается. Управится немножко по дому и лежит в избе, встанет только, чтобы кур прогнать с огорода:

— Вишь каки-ие! Наплевать на вас!

Это тут так принято говорить, когда гоняешь кого-нибудь. Наша Анна Михайловна тоже этими же словами гонит чужую козу от палисадника и от ведер с водой:

— Вишь кака-ая! Наплевать на тебя!..

Коз в деревне много больше, чем коров. Наверное, потому, что если остались только старик да старуха или просто старуха, легче держать козу. Ее и вениками прокормишь, а на корову нужное количество сена не напасты.

Рядом с Натальей живет Лампия Прошутинская с внуком, ей тоже лет шестьдесят, еще вполне крепкая, в теле, старуха. Лампия целый день в хлопотах: то веники таскает из леса на зиму, то траву косит, то за водой, то в магазин за хлебом, а оттуда не скоро вернешься — надо все обсудить как следует. В общем, занята. Коза у Лампии уже старая, лет восьми, с большим черным выменем и редкостными, огромными и даже загнутыми на концах, как у архара, рогами. Отношения с хозяйкой

у нее сложные. Если коза не шастает где-то по оврагу, то стоит обычно на Лампиевом крылечке и, приподняв голову, неотрывно смотрит на дверь. Изредка она наклоняется и концом загнутого рога чешет себе зымя или живот: донимают пауты. А иногда копытом задней ноги чешет лоб: гибкость суставов в свои годы она сохранила. Когда же дверь наконец отворится, коза не бросается в избу, не начинает мемекать, выпрашивая сладкий кусок, она просто следует за Лампией либо по двору, либо вниз к колодцу, либо до дороги к магазину — с видом меланхолическим, но довольным: «Слава богу, есть с кем слово сказать!..»

Коза эта так мне понравилась, что однажды я отправилась с аппаратом, запечатлеть ее для своих архивов. Коза позировала мне долго и спокойно, потом так же спокойно спустилась с крыльца и пыталась меня боднуть, а когда поняла, что ей меня не переупрямить и отойти на расстояние, нужное для разбега, не удастся, то с тем же покойным достоинством вернулась на прежнее место.

— Она будатая! — выглянув из окна, сказала Лампия. И позвала: — Маля, Маля!..

Коз здесь зовут «маль-маль-маль», овец: «бася-бася», цыплят: «цили-цили», кур: «кутю-кутю», а поросят в зависимости от пола: «билька» или «билько». У нашей Анны Михайловны тоже есть Билька — полуторамесячная, чистенькая, очень вострая и смышленная свинка. Когда Анна Михайловна ее выпускает побегать и покопаться в земле, Билька первым делом начинает со всех ног гонять вокруг дома, причем ей непременно хочется, чтобы в разминке участвовала и хозяйка. Для этого, сделав три четверти круга, Билька затаивается за углом избы, и, когда Анна Михайловна, обеспокоенная долгим ее отсутствием, идет искать, Билька, энергично хрюкнув, проносится мимо Анны Михайловны со скоростью звука. Михайловна вступает в игру, бегают за Билькой и, поймав, берет за ноги, прижимает к себе, тискает, как ребенка, чешет ей живот.

Глядя, как наша хозяйка ласкает свинку, я спрашиваю:

— Как же резать-то будешь?

— Ой, не говори, Маруся! — Анна Михайловна огор-

ченно машет рукой.— Как режут — уйду далеко куда, лишь бы не слушать...— Она делает долгую, искренне-печальную паузу, потом улыбается: — Не скоро еще резать, маненькая наша Билечка!..

Анна Михайловна не сентиментальная ханжа и смалу существует внутри древней традиции, по которой животное, если его кормят, должно приносить пользу. К тому же добровольных вегетарианцев в деревне, как правило, не бывает. Но она добрый и привязчивый человек...

Билька — свинка, но мы все упорно зовем ее «веприком», так нам нравится, что здесь, вместо распространенного «боров», употребляется «веприк». И вообще язык тут ласковый, говорят: «задвишецка», «пецуроцка», «душницок», «жеребушецка», «кобыука», «ягнятка». То есть существуют и короткие грубые формы: «задвишка», «жеребець», но более употребимы, особенно среди людей пожилых, такие вот ласкательно-уменьшительные.

Анна Михайловна никогда не скажет про что-нибудь «мелкий», всегда «меуконькой». Про жука, например, который ползает по потолку: «Не клоп, зверинка какая-то меуконьякая, цервочка...»

В избе у ней очень чисто, нет даже мух: в окнах железные сетки. Впрочем, как выясняется, чистота тут традиционная: очень чисто и свежо пахнет во всех почти избах, куда мы ходим «разговаривать». Приятно поражает меня также и то, что женщины здесь не ругаются — не принято, хотя, что греха таить: в любой деревне, особенно среди старух, считается куда страшнее побожиться, выругаться «чертом», чем произнести крепкое слово или грубое название некоторых частей тела. Когда я похвалила здешний обычай, Анна Михайловна объяснила:

— Вот курица-то когда поет — так нехорошо. И женщина-то матерится, тоже так нехорошо, я думаю...

Мелкий дождик здесь зовут «бусенець», тучу — «морок»: «В морок солнышко-то село. Морочно стало. День такой: морочно на небе». Ладонь тут по-старинному зовут «долонь», и место, где молотят, тоже зовут «долонь». Вода не «кипяченая», а «кипелая», простое, естественное образование: «кипела» — «кипелая».

Между прочим, слушая, как говорят в деревне, вдруг начинаешь вспоминать, задумываться о первоначальном смысле слов. Пекут здесь, к примеру, на поду хлеб — без формы, просто кладут тесто, и все. Называется этот хлеб «мягкие». Магазиновый формовой хлеб называется «буфаночка». И вот, когда я прошу отрезать от вынутого из печки каравая горбушку, Анна Михайловна поправляет меня:

— Горбушка у буфаночки, а у мягких краюшка.

И правда, край бесформенный, неопределенный, просто край — краюшка. А край буханки — горб, горбушка. А я ведь, помнится, писала, ничтоже сумняшеся, нечто вроде: «И отрезал всем по большой краюхе хлеба...» Сколько у одного хлеба краев?..

Или «лукошко»: я никогда, в общем, ясно не представляла, каков именно этот экзотический предмет: «девочка с лукошком пошла в лес», вроде бы любая небольшая корзинка — лукошко. Здесь лукошко — решето из лыка, из него раньше сеяли. И сразу вспомнишь: «лукошко» — «лыкошко»...

— Чошуйчато полотенце у ней петухами вышито, — говорит Анна Михайловна. Очень красивая здесь традиционная (красным и черным) вышивка: петухи, лошади, цветы, узоры... А «чошуйчато» — это вафельное, мне, например, гораздо больше нравится.

— Без труда спáсанья не бывает, — говорит шутя Анна Михайловна нашей студентке Любе, которая пытается что-то шить на машинке, хотя знакома с этим орудием ручного труда скорее теоретически. И потом, на следующий день, ей же, освоившей с грехом пополам ремесло: — Науцисси хромать, как нога заболит!..

Про Лампию:

— Она дородно косит.

И Лампия сама про себя:

— Я дородно раньше пила, теперь не так...

Выпадают из городского языка слова, теряются: у нас «дородный» — лишь для определения объемов тела героя, и то с экзотическим оттенком. Помидоры «зорят» на окне. Заря, зарница, зорят... Хорошо.

Есть у Анны Михайловны кроме Бильки и четырех кур с хромым петухом еще жилец в доме — тигровой масти, немолодой, серьезный кот. Поминать о нем не бы-

ло бы особой нужды: в каждом деревенском доме есть такой мышелов. Но на всех нас производит огромное впечатление великое чувство собственного достоинства, которым этот кот наделен. (Не зря говорят, каковы сани, такие сами — к животным это относится еще в большей степени.) Ни разу за время, пока мы у Михайловны жили и ели, что бог послал, Барсик не унизил себя, выклянчивая подачку. Мы за столом — Барсик сидит у ножки чьей-либо табуретки, весь внимание — но не больше. Не мяукнет, не лезет на стол или, тем паче, на колени, просто ждет. Он не голодный, конечно, потому что работник: мышей у Анны Михайловны ни в голубце (подпол), ни на повети нет, однако вкусные объедки с хозяйского стола он, естественно, как все кошки, любит. Ждет — и его одаривают. Лишь однажды Барсик изменил себе, но при обстоятельствах, я считаю, исключительных. Привезли мы с собой немного сухой колбасы и как-то утром за завтраком отрезали всем по кусочку посолиться. Не то чтобы мы забыли про Барса, просто посчитали, что потом он получит шкурку, обрезочки и прочее. Наша студентка Люба, которая по младости лет больше других заигрывала с Барсом, поднесла ко рту кружок колбасы — и вдруг, не выдержав, кот молча, но настойчиво дотронулся лапой до ее колена. «Вишь како-ой!» — возмутилась Анна Михайловна, но мы вступились за Барса хором и обрезочки ему отдали.

Днем наш кот обычно сидит — наподобие зверя в Ашоковой колонне — на столбе огородного плетня. Спит дома он только в ногах у Михайловны, а если не спит, то шастает с кошками по переулку и вот тут-то орет очень громко и очень противным голосом...

К нашей хозяйке иногда приходит в гости еще одна «старинная старушка» Павла Алексеевна. (Тут говорят: «Здесь у нас есть старинных старушек», «Есть у нас таких стариков», «Дожжа сегодня было». По словам Веры Федоровны, это либо финское влияние, либо с течением времени утрачено, выпало, «много».) Нашу Анну Михайловну не назовешь бойкой, но она не застенчива: держится всегда естественно-достойно, сообразительна, сразу схватывает, о чем ее Вера Федоровна пытается, и почти всегда дает истинные ответы. Павла же Алексеевна (теперь и не услышишь такое имя, а ведь

раньше было много парных имен: Павел — Павла, Степан — Степанида, Федор — Федора, Василий — Василиса. Сохранилось в употреблении только Александра), видно, никогда не была хороша собой: вислый нос и длинный рот, глаза небольшие и лицо слишком узкое. Может, от этого дожила в ней до старости лет детская смешная застенчивость: поначалу слова не выжмешь из нее, закрывается кончиком платка, как девушка, хихикает, отнекивается: «Ты чё, Михайлёвна, чё я знаю-то? Чего я им скажу? Да я и не по-правильному говорю!..»

Потом, наконец, вслед за Анной Михайловной начинает вспоминать, как жили, как свадьбы играли, да что носили, перечисляет: жакет кретонový (бордовый), полушалок репсовый самоварного цвета (медный), юбка была кубовая, а рубаха кумачная. Забытые нами, сочные названия цветов... Курочка у ней бусенькая. И скажет вдруг: «Курочку не накормишь, девушку не нарядишь». Мы только переглянемся и вздохнем от удовольствия.

В отличие от других мест, где девушке косу после венчания расплетали на две и замужняя женщина под повойником носила две косы, тут невесте две пряди клали вперед, одну назад — и крестная мать не заплетала ей волосы, а закалывала шпильками острый пучок — «кукиль». «Я не люблю много говорить, — скажет еще Павла Александровна. — Бабы-то сейчас придумают, сосплетничают навыворот все...» «Нёбо» у нее — «потолёк», а живот коровы — «пуцина». «Морская пуцина» — отсюда же?..

Вот такие тут живут старинные старушки...

**2** Есть в деревне у нас и любимый дедушка. Первый раз я встретила его на дороге и удивилась: какой красивый старик! Высокий, прямой, загорелый, седина — серебро с чернью вокруг высокого лба. Шел он с ведрами медленно, но очень прямо, плечи широко развернуты, руки длинно висят по бокам статного, неокостенелого еще туловища. Я спросила после Анну Михайловну, кто бы такой мог быть, она сразу догадалась: Бушковский Николай Алексеевич. И рассказала, что ему семьдесят восемь лет, на один глаз он слеп, дру-

гой видит плохо, но не зная, и не заметишь. В молодости он был среди деревенских парней самый красивый, а жена Мария Семеновна — обыкновенная, как все. Однако жили очень дружно, родили пятерых детей: трех дочек и двух сыновей, оба сына погибли на фронте. Две дочери живут поблизости: одна в Красавине, другая здесь своим домом, третья вышла замуж в Куйбышев. Жена умерла два года назад, но дочери за отцом следят, помогают ему во всем — и стирают, и уберутся, и картошку посадят весной.

Когда мы спустя несколько дней пришли, ведомые Анной Михайловной, к Николаю Алексеевичу «разговаривать», средняя его дочь, немолодая уже женщина, гладила белье, собирала отца в баню. Старик сидел в углу под иконами, положив на стол локоть, выставив на крашенном мытом полу аккуратные босые ноги.

Мы тоже разулись — здесь вообще принято, входя в избу, разуваться, — поздоровались и завели свою музыку: «Наша экспедиция собирает историю, расскажите нам про старину...» Честно говоря, меня каждый раз заново удивляет, что люди, занимавшиеся всю жизнь серьезным тяжелым трудом, не гонят нас (на их взгляд, бездельников) прочь, а очень уважительно и серьезно начинают отвечать на наши вопросы.

Лицо Николая Алексеевича сделалось тоже серьезным и, я бы сказала, старательным, он стал отвечать на то, о чем его спрашивала Вера Федоровна, изредка правдиво оговариваясь:

— Цово не знаю, тово не знаю, это я не скажу... Цово не называли, дак не называли...

Анна Михайловна чутко слушает, улыбается, поправляя, уточняя, лицо у ней, когда она с нами куда-то по своей воле ходит, становится немного возбужденным и гордым миссией посредницы между соседями и наукой.

— В лесу есь птица глухарь, — отвечает Николай Алексеевич на очередной вопрос Веры Федоровны. — Ноне только мауо их стауо, потому напнтались удобрениями, потому навалено везде. Зайцев тоже ноне мауо стауо. Скворцы есь, в яшшичках. Дятел есь. Куропатка... Та напужаит, пожалуй, и не захочешь. Выскочит, да заревит, думаешь — человека убили!.. Стризики ямоцки



себе наделают, в земле живут. Где-то, вот и не помню, уж, и насмотреуся: их ить и продают вот... Тьфу, говорю, срамные! Там и лапочка такая вот: селимена...

Конечно, я сразу стала спрашивать, где же это все-таки Николай Алексеевич мог видеть, как едят стрижей или другую какую-то птицу, у которой лапочки, как соломинки? Оказалось, что в первую германскую Николай Алексеевич солдатом побывал в Польше и Австрии, там и видел, как едят мелких птиц, а в гражданскую его часть воевала в Омске и в Перми, потом в Москву вернули, оттуда перебросили в Витебск, затем в Харьков и Симферополь... А уж из Евпатории, закончив воевать, поехали домой.

— С корзинкой идти, с эстолько не перейти! — говорит Николай Алексеевич.

— Кусочки собирать! — быстренько поясняет, заметив недоумение на наших лицах, Анна Михайловна.— С корзинкой — это не укорам! От корзинки да от тюрьмы не отпирайся!

— Правда, Михайлёвна.— Николай Алексеевич, кивнув тяжелой головой, обводит нас светлым, невидящим взглядом, улыбается.— Из Еупатории кошоуку соли-те привез домой. Соли тогда никакой не быуо. В Курске табачу-самосаду много, променял цасть-то... Табачок быу жоутый, как куричий жеутыш, а некрепкий.

— Курили, значит, сильно? — ухватывается за предлог узнать нужное ей слово Вера Федоровна.— А как у вас назовут того, кто много курит?

— Куряка, табашник...— отвечает Николай Алексеевич, взглядываясь в Верочку. По-моему, ему нравится ее деловой звонкий голосок, деловая манера держаться, низкий молодой смешок, которым она сопровождает иные свои вопросы. Нашей Вере Федоровне немного за тридцать, но здесь, в деревне, загорелая и румяная, она выглядит пухленькой девочкой и никак не проходит в нашей компании за старшую. Старшую изображаю я, хотя и по энергии и по характеру, когда бык за рога берется без предварительных долгих рассуждений, старшая у нас все же Верочка. В общем, мы с ней успешно делим первое место: я как подставное лицо, она как истинный руководитель.

— Теперь не курю, доктор говорит — ногу отрежу! —

продолжает Николай Алексеевич.— Вот как. И не курю теперь... А за взятие Перми нам вот по экому листу денег дали. Это сколько денег переменяюсь, их бы все хранить, вот какая пацка-то быуа...

— Ранили вас? — спрашиваю я.

— Три раза ранил. В бок, а тут в спину попадаю, а спереди вышю...— Николай Алексеевич с непосредственностью ребенка, желающего удостовериться истинность произнесенного, задирает рубаху, показывает нам на белом чистом животе и ребрах рубцы. Наша практикантка, сидящая со мной рядом, тихо восхищается: «Ой, какое у него пузико беленькое! Какой дедушка, я его полюбила на всю жизнь!..»

— Я бы в плену быу, спасибо двоя под ету руку подхватили, двоя под ету... Шибко скоро заживало после ранений, какое-то тело... У другого-то тело гноится, а у одного нет...

Дочь укладывает на скамейке белье, уходит в баню, ласково кивнув нам и сказав отцу, что мыться он тогда пойдет после, с Мишей. Я порываюсь встать: старики обычно любят ходить париться первыми, на горячий пар. Но Верочка и Оля продолжают задавать вопросы.

— Коровы раньше у нас без пастуха ходили,— говорит Николай Алексеевич, не выражая ни нетерпения, ни досады. Видно, такое, чтобы интересовались им самим, его жизнью, реагировали на это искренне и хором, как реагируем мы, бывает у старика теперь не так часто, и он ласков с нами.— Уйдут в лес и давай за грибами шлевушить, как дяденька шлевушит. («Какое емкое слово, прекрасное,— мысленно восхищаюсь я.— Чем заменишь: «ходят», «ищут», «собирают»? Все не то. Именно «шлевушат» — тут и шорох сухого листа, и кляклая мягкость перезрелого шлюпика на коровьих губах, и ход коровы по лесу: без направления, без цели, от гриба к грибу, не спеша, нога за ногу... Шлевушат!») По семь, по восемь ночев уходили, ишшешь, ишшешь!.. Паута только и выгонят. Пауты маненькие, слепцы такие,— поясняет он на уточняющий вопрос Веры Федоровны.— Оводно стало, пауты...

Этого добра и комаров здесь хватает. Неделю назад мы пошли погулять в здешний ближний лес. Встретился нам перед лесом сухонький маленький старичок с поле-

вой сумкой на боку, в полувоенном заслуженно-потертом одеянии, шел он бодрым, неостановимым шажком, однако, поравнявшись с нами, задержался.

— В лес? — поинтересовался он, оглядев наши голые ноги и руки.— Ну ладно, дак... Тамока с товарищами моими познакомитесь.

— С какими это товарищами? — строго спросила я вслед, но старичок ничего не ответил и сделал какой-то странный жест над головой.

Мы двинулись дальше, недовольно недоумевая: никаких товарищей веселого старичка нам встречать не хотелось. Однако, углубившись в лес метров на триста, мы вдруг озаренно вспомнили, что на сером потрепанном верхе фуражки старичка густо, делая ее еще более серой, сидели комары: видимо, эти переезжали на новую квартиру — провожающие неплотным облачком вились вверху и сзади.

Как мы поняли, переселение намечалось довольно серьезное, посчитав, что подошел новый грузовой транспорт, следующая отъезжающая партия «товарищей» обсела нас столь же густо, как фуражку старичка. Вняв довольно быстро их настоятельным просьбам, мы повернули назад, все ускоряли, и ускоряли, и ускоряли шаг, «товарищи», вполне довольные нами, рассеялись лишь при входе в деревню. Вот так тут обстоят дела с кровососущими насекомыми...

Николай Алексеевич, пользуясь помощью Анны Михайловны вспоминает, как сватали да как играли свадьбы, что носили, что говорили.

— А вашу будущую жену вам родители высватали? — спрашивает практикантка.

— Ну как же, по обычаю...

— Она вам нравилась или же вы женились только потому, что родители хотят?

Николай Алексеевич вдруг дернулся на лавке и быстро ответил:

— Как бы не нравилась, не ходил бы на неделе на кладбишко. Уж два года — а нет да и пойдешь.

Вбежал пятилетний внук Николая Алексеевича Вася и, увидев чужих, встал у колена деда, нагнув быковато круглую голову. Был он по-российски хорошенький и очень уж похож на деда. Николай Алексеевич покой-

ным неторопливым жестом подхватил ладонью мальчонку за ребрышки, как бы придерживая, сказал, вздохнув:

— Другой раз просит, которого нет, где я тебе возьму? Убежит. А есть, дак дашь... Вон возьми гостинчик на столе...— Вася взял из сахарницы карамельку в бумажке. Николай Алексеевич последил за ним довольно и продолжал: — Я умру, дак концицца моя фамилия. Дочери-то остануца, да то будет не моя фамилия... Кабы от сыновей были сыновья, дак...— помолчал, вздохнул.— Это много людей угробили. Из деревни-то больше сорока человек убито было, ето сколько бы сейчас расплодилось?..— Пригорюнясь, загрустив глазами, говорит вдруг высоким сипловатым голосом: — Можно жить, накуцило что-то только... Это ухайдакала эта-то труба,— мотнул головой на видную и отсюда из окошка трубу Красавинской фабрики.— Работал в химицеском, каустик попау в глаз, не вижу теперь. Ладно этим-то левым глазом вижу немного, а то оба если не видят, дак што?.. Смерти нет, а от своих рук неохота.

На фабрику он, как и Анна Михайловна, и Павла Алексеевна, и большинство местных, пошел пятнадцати лет. Девочек и мальчиков брали тогда съемщиками: катушка заполняется пряжей, они ее снимают, ставят пустую. Потом работал ватерщиком на ватерных станках, затем, уже в сорок третьем году, когда его призвали на трудовой фронт и он опять попал на фабрику, до сорок девятого года работал в отбельном цеху, тут-то ему и выжгло каустиком глаз. После до самой пенсии работал сторожем на складе.

— Цево станешь делать, всяко наробили за свой век, голубушка... Пятьдесят-то годов роблю, сколько цево быуо...

Мы спрашиваем, какой товар производила фабрика до революции, старик, пожав плечами, начинает вспоминать:

— Полотно ткали, скатерти ткали, рушные станки отдавались по деревням, ткали салфетки. У Марейушки был такой станок, дак когда она умерла, отдал... Все ткали, половики ткали.— Тонким сиплым голосом: — Что надо, то и ткали... Скатерти ткали, она узкая была, дак сошьют в две полосы. Валёк быу в долонь шириной

а картонка перебрасывалась. Какой узор надо, так и ткали... Мареюшка она такая была, голубушка, и смыть, и сшить, и поплясать. Вот какая она была...

Мы долго уважительно молчим: что на это скажешь? Что бы ни сказал — все прозвучит фальшиво: искренне ведь вспоминает то и дело свою Мареюшку, не для нас.

— ...Когда в белилке работаю, предлагаю его делать: подвеску или цего, сейчас собирается БРИЗ и его делают...

Я ухватываюсь за его слова, начинаю расспрашивать, какие предложения он придумывал, о чем, сложные ли? Очень мне для собственного ощущения справедливости жизни хочется думать, что был он талантлив, замечен, хотя бы в том малом кругу, в котором суждено ему было прожить. Великолепный, как сказали бы биологи, экземпляр человеческой породы, такой былинный русский крестьянин — похожего не встретишь ведь теперь! И вот прожил, не оставив и царапинки на жизненной цепочке, не оставил даже сына на племя, так глупо, господи...

— Отец тоже высокой быú, — отвечает старик на мой вопрос. — Брат тоже высокой, внук-то не высокой... Брат? На кладбище живет три года уже. Один я только...

Лицо Николая Алексеевича как-то тускнеет, голова по-прежнему поднята прямо, но глаза рассеянно глядят в пол. Что-то он вспоминает, о чем-то думает или просто намекает: мол, и совесть пора знать, надо старому в баньку идти. Мы встаем, прощаемся, уходим. Он провожает нас до калитки, смотрит, прикрыв глаза ладонью, на заходящее солнце.

— Убыл день-от, пожалуй, на час против того... То за церкву соунышко садилось, а теперь вот за пихту ету...

Стоит у калитки высокий, прямой, с белой, сквозящей на ветерке, как одуванчик, головой, смотрит, как садится солнце. Никак я не освою вполне для себя, что нам этот берег и ежедневные декоративные заходы солнца за красавинские холмы — нечто великолепно-непривычное, каждый раз поражающее, смущающее. А он видел эти закаты еще с рук матери, и отец его видел эти закаты еще с рук матери, и каждый день и всю жизнь. И все здесь так. Часть их обыкновенного существования на

земле — эта ежедневная красота, и я думаю, может быть, потому лучшие из них одарены таким тонким душевным строем, особым чувством прекрасного и соразмерного?..

Теперь мы заходим к Николаю Алексеевичу часто, просто забегаем, проходя мимо, поздороваться, сказать несколько слов. Он всегда рад нам, улыбается ласково, выходит на крыльцо, стоит согнувшись, держась за прилодку.

— Низкий построй у двери... — объясняет он свою согбенную позу и, следуя каким-то внутренним размышлениям, продолжает: — Раньше-то не знали, как это — окошко завешивать, затворять. И так не укадут.

— А теперь? Тоже небось не украдут, — предполагаю я. — Анна Михайловна никогда двери не запирает. Заставит палкой — и все.

— Да я не знаю... — переходит Николай Алексеевич на свой смешной фальцет, появляется он у него, как я заметила, когда он чему-то удивляется или не уверен в том, что говорит. — Руки-ноги не оставит, кто украл. Кабы оставил, пошел бы, сказал: гражданин, не тронь!.. — Спускается медленно со ступеней, идет в палисадник, садится на завалинке, на жарком солнышке, но ему уже, видно, не жарко: кровь не греет. Мы садимся на лавочке напротив, в тени.

— Ноне стало болезней всяких много, батюшки-свиты!.. — удивляется он снова тем же сиплым фальцетом и смотрит все еще мимо нас, в себя, в какие-то свои, внутренние видения.

— Николай Алексеевич, — спрашивает практикантка Люба о том, что на данном жизненном этапе, надо полагать, волнует ее больше других проблем. — А вы когда-нибудь ругались с Марией Семеновной?

В глазах старика мелькает улыбка, он взглядывает на нашу студентку повнимательней, кивает головой:

— В хозяйстве-то цово не бывает, выйдешь, дак узнаишь. Когда ить поругаемся... — и продолжает, вздохнув: — Так старуху насмотревся нынче после обеда, спать лег... Видно, опять дожидается. В воскресенье ходил проведовать, дак нет...

Рубаха у Николая Алексеевича белесовато-серого цвета — точно как бревна старой избы, на завалинке которой он сидит. Ноги в коричневых тапках вытянул, на коленях застиранных темно-синих портов заплаты, еще более вытертые, чем сами порты. Загорелая бордово-коричневая рука, заклеенная по порезу изоляцией, сложена в слабый кулак, уперта в край скамьи и дрожит-дрожит мелко и неудержно. Голова у старика тоже дрожит, но когда он начинает говорить, трясение прекращается.

Я все вспоминала, на кого же он так неотличимо похож — сегодня, наконец, осенило: на известный портрет Хемингуэя. Борода короткой грязно-белой щетиной тянется от ушей к подбородку, растет на шее; тяжелый большой череп зарос коротким серым с чернью волосом, просвечивает загорелая кожа. Седые с желтизной усы, бугристый коричневый нос, над переносьем — излом толстой кожи, сведший кустистые седые брови... Я несколько раз фотографирую старика для себя, на память. Он слабо машет рукой:

— Пожалом на огород поставить! Плешатый стау, кудрявый ить быу...

Потянул подол рубахи на колени, положил между ними лодочкой загорелые ладони, большой палец, отставленный кверху, дрожит...

— По радио передают,— вдруг вспоминает он, наверное чтобы развлечь как-то нас,— земля качаицца...— И объясняет: — Зайди на такое место-то, болотина, она качаицца. Воздуху там скопление получилось, она и качаицца...

Мудрый наш дедушка, внимательно следящий за событиями, совершающимися в мире, и не подозревает, что точно так же «волнением воды в земных недрах» пытался объяснить землетрясения греческий философ Фалес.

— Хватает ли вам пенсии? — спрашиваю я, сдавливая поднявшееся вдруг чувство острой жалости и уважения к старику.

Николай Алексеевич усмехается глазами:

— Рот-от цего небожит? Все божит (надо полагать — приемлет). Душа цего небожит? Ножика небожит одного... Раньше-то бутылки етой нам одной быуо до слез. А ноне дяленьки вон две опростали безо слез. Раньше-то

хлебная быуа. Ноне-то градусы есь, а тоуку-то... Ярманки раньше-то были, цего хошь купишь, только отца с матерью не купишь... Ездили в Устюг на ярманку двадцать пять километров: туда бечевой ходили, обратно с покупками ехали, с песнями...

Мы примолкаем, не мешаем старику вспоминать время, где он молодой, красивый, сильный, голосистый — и Марейюшка тоже, Анна Михайловна говорит, пела хорошо...

— Несоветный народ стау. Раньше, где в котором месте пристой больше, там и собирауца, разговаривають. А ноне около магазина собирауца. Сейчас, как привезли в магазин, так и праздник. А раньше праздники были. Нонече — што. С полуцки до полуцки надеецца сейчас... У него ето от есь, — вдруг собрал в запашку, по-хулигански, рубаху на груди. — И все. Он не заботится: там жена, дети — только набить, да налить. Пока деньги видит, дак и пьет... — Взглянув на Веру Федоровну, сорвавшую лист лопуха и спрашивающую местное его название: — Ето растение? Шишобар называцца. Бываю, Марейюшка нарвет лисков, тесто положит — и в печьку садит с лиском прямо. Лисок-от к поду не пристанет. Придет с поля, дак состряпает вецером. Колобы такие состряпает... — Покивал трясущейся головой: — Так насмотреуся ее сегодни, видно, уж она меня зовет к себе... Гостенку-то вот только дожждаться, дочку. Прошлом годе на курорт ездили, не быуо...

От Анны Михайловны мы знаем, что старик нежно любит младшую дочь, вышедшую замуж в Куйбышев. Красивую, очень похожую на отца.

— А вы бы зимой сами к ним поехали погостили, — предлагаю я, зная, что два года назад после смерти жены Николай Алексеевич уезжал к дочери, а потом, соскучившись по родным местам, вернулся.

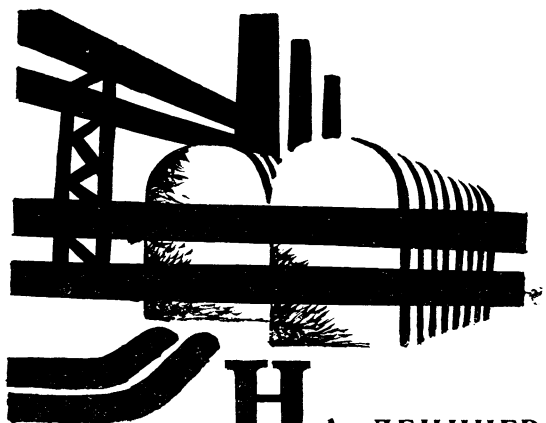
— Куда я, слепой, поеду!.. — сердито хмурится Николай Алексеевич. — Машина подомнет. Там схоронят, от старухи там останусь: она здесь, а я там. Рядом надо — место огорожено...

Практикантка наша смотрит влюбленно на старика, думает, наверное, несформулированно: «И у меня будет так же: они любили друг друга без ума, прожили жизнь счастливо и умерли в один день...» «Так не бывает...» —



грустно думаю я с высоты своих лет, Верочка думает приблизительно то же. Хотя вот он, сидит перед нами, во плоти и крови, картинно-красивый старик: «Не ндравилась, так не ходиу бы на кладбишшо на недили по два раза...»

Ах, как жаль, какая неисправимая беда, что убили его сыновей на фронте! Какую прекрасную ветку от древа человеческого отломили, сгубили зря, бессмысленно...



## **Н** А ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ, ГОД 1970

**1** Известно, что сумма грубого труда, спускаемого господом богом на землю, сокращается весьма незначительно, количество же людей, желающих этим грубым трудом заниматься, за последние двадцать лет сильно уменьшилось, и наша промышленность уже почувствовала это.

Ленинградский металлический завод — фирма с мировым именем. Здесь выпускаются турбины для Братской ГЭС, турбина для Красноярской ГЭС (крупнейшая в мире), турбины для Асуана и Югославии, для Германии и Индии; крупнейшая в мире газовая турбина, мощностью сто тысяч киловатт, для Краснодарской станции сделана на этом заводе; к столетию со дня рождения Ленина здесь выпущена крупнейшая в Европе и одна из самых крупных в мире паровая турбина, мощностью восемьсот тысяч киловатт в одновальном исполнении. Завод постоянно перевыполняет план, работники завода заслуженно получают премии, внешне дела обстоят очень хорошо. Однако предприятие живет трудно, причин много, одна из них, немаловажная, — нехватка рабочих, особенно рабочих низких квалификаций. Не хватает уборщиков стружки и стропальщиков, крановщиц и карщиков —

стало не хватать давно, а теперь уже сделалось тормозом для производства, потому об этом говорят постоянно на всех совещаниях, руководство завода делает возможное и невозможное, однако проблема с повестки дня не сходит.

Не хватает и станочников. Уникальное оборудование в ведущих цехах, должное для обеспечения плана работать в три смены, работает в две, по двенадцать часов...

В отделе кадров завода я однажды застала такую сцену: молодой сравнительно парень, проработавший токарем на заводе десять лет, пришел увольняться «по собственному желанию». Заместитель начальника отдела кадров выпытывала причины такого решения, предлагала подыскать что-то еще. Парень капризно отвечал, что переходит на завод, который рядом с его домом, и платить там будут побольше. «На десятку?» — «Да нет, на две...» — «Да ты же стаж теряешь, то же на то же и выйдет!» — «Там работа поинтересней». Аргумент неотразимый, хотя, конечно, и тут, на заводе, где много новых, уникальных станков, парень смог бы отыскать себе работу по вкусу. Однако уволился... Почему?

**2** Цех паровых турбин, где у меня были дела,— один из самых больших. Надо сказать, что я привыкла к поточным линиям массового производства, там на обыкновенных станках обрабатываются обыкновенного размера детали, там вспомогательное время сведено до минимума, и потому станок работает почти непрерывно, и рабочий у станка находится практически неотлучно. Производство паровых турбин, долго бывшее индивидуальным, уже лет семь как стало серийным.

Со временем привыкаешь к циклопическим габаритам уникальных станков, к размерам неправдоподобно-огромных деталей, в кажущемся хаосе начинаешь видеть свою внутреннюю закономерность, сложные траектории, которые чертит в воздухе многотонное литье, тоже обретают смысл и значение. И даже то, допустим, что подручные на карусельном станке сидят и спокойно играют в шашки или читают, пока на планшайбе сто три часа вращается, постепенно теряя в объеме, семидесятидевятитонная выхлопная часть цилиндра,— тоже

перестает казаться вызывающим нарушением трудовой дисциплины. Начинаешь понимать местную специфику, отделяешь необходимое от необязательного.

И к людям приглядываешься.

На фрезерном станке в третьем пролете работает Василий Кузьмич Сиротский. Станок ничем особенно не замечателен, Василий Кузьмич тоже рабочий средней руки, работает он на этом станке двадцать три года. По недавним понятиям отрицательный персонаж: двадцать три года топтаться на одном месте! Не расти, не учиться, не ставить рекорды... Те, кто некогда был у него в подручных, работают мастерами, начальниками участков, а то и начальниками цехов, главный инженер завода когда-то одновременно с ним кончал ФЗО, а Василий Кузьмич все фрезеровщик четвертого разряда!

— Надо было учиться, ругаю себя...— смущенно усмехаясь добрым толстощеким лицом, говорит Василий Кузьмич.— Ну, не вышло... Мне тут раз сказали: мастер в отпуск пошел, выручи, Кузьмич! Я и выручил... После еле руками отмахался: ну его! Там со всеми хитрить надо, не умею я...

Он и буквально двадцать три года топчется на месте. Привезут краном детали, он установит их, пустит станок и застынет, глядя, как идет фреза; стоит опершись тяжестью большого тучного тела на одну ногу: другая у него еще с финской болит. Так же, почти не сдвигаясь с места, не оборачиваясь, коленкой нажимает рычаг, переключает подачу— стол пошел в обратную сторону, а Василий Кузьмич снова застыл, глаза полуулыбаются, смотрят в себя. Очень он покойный какой-то, несуетливый, законченный.

Мастер удивляется, что я все с Кузьмичом разговариваю: передовики, мол, у нас в первом пролете. Я знаю, но мне Кузьмич просто по-человечески симпатичен.

Недавно дали ему нового подручного: старый в армию ушел. Славный парнишка в клешах и тельняшке, видной из ворота суконной форменки— этот с флота вернулся. Не по-флотски застенчивый, белокожее чернобровое, подростковых мягких очертаний лицо, глаза, как у мышонка,— черные острые точки.

— Толя,— говорит Василий Кузьмич.— Ты так болты

не затягивай, так грыжу наживешь. На себя, а не от себя старайся...

И, колыхнув большим животом, показывает, что когда на себя рукоятку тянешь, мышцы подбираются, упор идет на них, а когда от себя — тут-то как раз и наживешь грыжу.

Толя послушно делает, как сказали. Он из Новгородской области, живет здесь у одинокой двоюродной сестры, дома мать, тоже одна: отец их давно бросил.

— Я не жалею,— говорит искренне Толя.— Насмотрелся на чужих отцов, не надо...

До флота работал он в Череповце, на судостроительном-судоремонтном заводе, слесарем.

Я осторожно спрашиваю Толю, не приучился ли он за свою самостоятельную жизнь выпивать.

— Здесь можно не пить,— с той же наивной искренностью отвечает он.— У сестры, зачем? Вот в Череповце я в общежитии жил, там как от ребят отвяжешься?..

Работает он подручным, потому что, как мне объяснил Василий Кузьмич, учеником нет интереса: там оклад тридцать пять рублей, а здесь будет получать сто и больше.

— Выучится и так,— говорит Сиротский.— Теперь грамотные все...

Действительно, чертежи Толя плохо-худо еще со школы умеет читать, сразу разбирается, где какой диаметр, где чистовая обработка, где черновая...

В соседнем пролете работают карусельщики Малышев и Медведев. Малышев — страшный спорщик. Карусель у него небольшая, детали обрабатываются по часу, по два, следить за резцом надо постоянно, тут особенно не поболтаешь. Однако, установив деталь и обругав попутно соседний завод за плохое литье: раковины, песок — резцы без конца летят, Юрий Егорович начинает с азартом доказывать мне, что на заводе все не так, нет порядку, и вообще везде все не так. Он невысокий, лысый, худенький. Черный засаленный комбинезон болтается на нем свободно. Хотя ему уже близко к сорока, запал, с которым он кидается в споры, чисто мальчишеский.

— ...Что ж вы им платить будете? Ведь они же друзья ваши!

— А неужели у меня хватит совести не заплатить? Что, они мне обязаны комнату оклеивать?..

— Так ведь друзья! Другой раз вы им чем-то можете.

— И я бесплатно не стану.

В это я верю. Не потому, что Малышев такой жадный, а из-за комплекса неполноценности: думали на даровщинку проехать? Не на дурака напали!..

Мне начальник участка рассказывал, что Малышев однажды схватился драться с каким-то рабочим из-за того, что тот ему оставил после обдирки лишний припуск. Конечно, тот смухлевал, сократив время на обработку, а Малышеву добавилась лишняя операция перед чистовой, но все можно было выяснить спокойно, по закону, а он драться: «Нашел себе дурачка безотказного!»

Кипятясь, всерьез доказывает мне, что «бельгиец приезжал, рассказывал: у них там на сколько хочешь можно отпуск за свой счет взять. И потом опять на свое место вернуться: хозяин обязан принять, профсоюзы следят. Он вот на три месяца к нам приезжал. Я бы тоже кого на три месяца на лето пустил... А почему я не могу взять увольнительную, когда хочу?..»

— Юра, вы только что сами говорили, порядка нет, дисциплина хромает... Как же план выполнять, если тот взял увольнительную, этот?..

— А если мне мать надо встретить?

Однако прогулов у него нет, опозданий тоже, пьяным или выпивши за три недели ежедневного хождения на завод я его не видела ни разу — чувство внутренней зависимости от порядка в Малышеве безусловно органическое. Тем не менее начальство участка Малышева недолюбливает, видимо, из-за страсти к спорам и «качанию прав».

Напротив малышевской — карусель побольше. Работает там карусельщик Медведев. Про него мне и начальник цеха и начальник участка рассказывают, что Медведев — работник золотой, работает как зверь, и руки у него тоже золотые. Потом, смущенно отведя взгляд, добавляют: правда, грешок у него есть...

Добросовестно решив выпытать у Медведева секреты мастерства, в один из понедельников я тихо встала воз-

ле инструментального шкафчика Малышева, чтобы отсюда, не смущая Медведева, наблюдать за его работой.

Медведев в светлой рубаше с закатанными рукавами вразалочку ходил возле станка, выговаривая что-то подручному, потом вдруг ушел. Был он человеком еще не старым, возле сорока, и кудри буйно вились, но рано располневшим, огрузневшим как-то. Минут через двадцать пять он вернулся, но работа у него явно не клеилась, он снова ушел. С установкой и центровкой детали возился подручный. Наконец Медведев пришел, пустил станок, забрался на железный столик и просидел до обеда, сосредоточенно помахивая крючком для уборки стружки. После обеда он ушел совсем. Я спросила подручного, куда подевался главный, тот, криво усмехнувшись, объяснил, что шеф взял отгул за переработку. И неожиданно сообщил, что он вот увольняется «по собственному желанию», завтра — последний день. Надело...

— Понедельник,— сказал мне Малышев.— Голова болит у Медведя.

На следующий день Медведев не работал: встречал мать, как мне объяснил начальник участка. Подручный ходил с обходным листком. В среду Медведев работал, в четверг снова исчез с середины дня, в пятницу мне сказали, что он не работает, потому что выходит в ночь: надо. В следующий понедельник Медведев должен был выйти с четырех часов, но не вышел. «В ночь, наверное, выйдет»,— разведя руками, неуверенно сказал мне старший мастер Федоров. До ночи я, естественно, ждаль Медведева не стала.

Перед отъездом я попросила Федорова показать мне табель Медведева, где должно быть точно отмечено, сколько часов он работал, сколько гулял, сколько увольнялся. Раскрыв табель, я глазам своим не поверила: там стояли сплошные восьмерки!.. Ни временная нетрудоспособность в понедельник, ни встреча матери, ни прочие передислокации известного карусельщика в таблице своего отражения не нашли, хотя должны были бы найти...

— Да мы зависим от него, как вы не понимаете!— сорвался старший мастер.— Обидь — уйдет! С радостью

на любом заводе такой квалификации рабочего возьмут, еще больше платить посулят!.. А не уйдет, так попросишь другой раз поработать, когда «надо»,— мастер чиркнул себя ладонью по горлу.— Он и скажет: ты мне тогда сделал? Ну и я тебе так. Ясно?..

Ясно. А подручный уволился. Совсем уволился с завода.

— ...Вы понимаете, какая беда?.. Тут еще непочатый край работы. Емельянов расточник — лучший был на заводе... Карусельщик Чистяков, карусельщик Медведев... Бесцельное болтание в рабочее время тоже проходит безнаказанно. На одном этом факторе десять — пятнадцать процентов повышения производительности труда, ни копейки не вкладывая, только наша дисциплина... За пять месяцев девяносто три человеко-дня увольнительных по ходатайствам начальников участков. У одного мать заболела, другой загулял, а программу надо делать. Задолго до конца смены идут к проходной — и охрана пропускает...

Это из выступления начальника цеха Круглова на общецеховом собрании.

— ...Нет, я на работу выпимши ни разу не приходил,— отвечает на мой вопрос Василий Кузьмич.— Э, вру, было... Один раз от тещи приехал со дня рождения во вторую смену, глаза застило: ничего не вижу. Отпросился... Больше не было. Э-эй, Толя, Толя!.. Рано это еще!

Толя стоит у станины, копируя позу Василия Кузьмича: навалившись телом на правую ногу. Стол дошел до упора, и Толя коленом попытался переключить рычаг. Василий Кузьмич подходит, меряет шаблоном паз, переключает сам подачу, снова отходит к столику, садится. Кругом грохот и лязг металла, а Василий Кузьмич, не повышая голоса, рассказывает мне, как он во время войны в конвое торгового флота два раза обогнул шарик. Я киваю, хотя и плохо слышу: не привыкла еще свободно различать человеческий голос в лязге металла. Кузьмич очень оживляется, вспоминая о тех лихих днях: сейчас бы там побывать, где был когда-то!..

В полете останавливаются трое солдат в новеньких кителях. Это музыканты из подшефной части, дававшие



концерт на площадке перед цехом во время обеденного перерыва, а теперь зашедшие познакомиться с производством. На лицах у солдат любопытство и испуг, точно у школьников, ставящих рискованный опыт, однако точно знающих, что никогда в жизни таким неприятным делом им заниматься уже не придется.

Над их головами звенят тревожно колокола кранов, проезжают, тяжело раскачиваясь в синем от дымка горелой стружки воздухе цилиндры и коробки паровых турбин — непропорциональное, не радующее глаз угрожающе-многогонное литье. Кое-где фонари в крыше вымыты, в этих пролетах светло, в других и днем горит электрический свет. Возле станков топорщится копешками стружка: единственный на весь пролет уборщик не успевает убирать. Пролеты загромождены готовыми деталями и заготовками: в цеху нет склада достаточных размеров. Металлический грохот, скрежет, колокола электрокар — крысой, попавшей в скобяную мастерскую, чувствует себя такой позавчерашний школьник, вошедший впервые в цех... Захочется ему тут работать?.. Есть места почище и поспокойней...

А как воспринимает цех Толя Прокофьев? Да никак, просто работает, во всем подражая пока Василию Кузьмичу. Ему надо работать, надо зарабатывать, кормить его некому, самому надо матери помогать, та тяжело больна. Потому он смотрит на весь этот шум и движение уже изнутри, а не сбоку.

Я тоже смотрю на все это изнутри, чувствую цех, как большое существо, живущее своей волей, подчиняющее, собирающее всех, кто действует в нем. Существо живет давно и будет жить всегда — это мы приходим и уходим. Нам бы следовало постигнуть, проникнуть разумом в его внутреннее, чтобы не мешать ему двигаться по своим неодолимым, единственно возможным законам. Я люблю это живое существо, меня научил любить его мой отец, рассказывавший о нем вечера напролет, часто бравший меня, маленькую, с собой, я и читать училась по трем огромным красным буквам АМО. Как жаль, что теперь не в моде учить детей любить то, что делают родители...

— К нам бы сюда этих молодцов,— говорит Василий Кузьмич, кивнув на солдат.— Знаете, как у нас рабочих

не хватает!.. Хоть бы кем пошли: токарями или стропальщиками. Токарь — вымирающая профессия...

**3** На общезаводской экономической конференции начальник производства Долинский произнес слова, меня, в общем, обрадовавшие. Он сказал, что на многих заводах уже существуют в конструкторских бюро так называемые перспективные группы. Задача этих групп разрабатывать и предлагать заказчику новые, более экономичные конструкции, следить, чтобы продукция предприятия держалась все время на уровне мировых стандартов. Если раньше заказчик мог довольствоваться тем, что ему предлагали, тем, что ему распределяли сверху, то теперь он хочет выбирать, хочет платить деньги за то, что более экономично, более надежно в эксплуатации. Явление отрадное, так как предполагает здоровую конкуренцию между фирмами, производящими одинаковые изделия. А конкуренция подразумевает отсутствие умственного застоя.

На ЛМЗ, говорил Долинский, сейчас такой перспективной группы нет, а создать ее необходимо, потому что теперь, когда предприятия научились считать, может стать, настанет время, что турбины, выпускаемые заводом, перестанут находить сбыт. А ведь с внедрением новой экономической реформы заводу мало просто выполнить план, надо еще продать изделие заказчику и получить деньги на расчетный счет. Наиболее освоены сейчас на заводе гидравлические и паровые турбины, а наиболее перспективными на сегодняшний день являются турбины газовые. Крупные гидравлические турбины в будущем вряд ли будут находить сбыт: установка их связана с затоплением больших участков плодородных земель, с нарушением водного режима рек и так далее, конструкции газовых турбин пока еще недостаточно разработаны, то, что завод может предложить, не в высокой степени удовлетворяет заказчика. Он говорил о необходимости высвободить в конструкторских бюро такую группу, которая имела бы возможность заглядывать в завтрашний день, предлагать заказчику новые остроумные решения. Сейчас же большая часть конструкторов в бюро занята повседневной текучкой, дер-

гается на доделки, на исправление дефектов литья и прочие мелочи.

Главный инженер завода Чернышов рассказывал мне, что несколько лет назад он был в Америке на заводе, который по типу как бы повторяет ЛМЗ. Однако конструкторское бюро там вполосину меньше, следовательно, отдача каждого конструктора в два раза выше. Безусловно, дело в принципе оплаты конструкторов. На ЛМЗ, по словам Чернышова, в общем, царствует уравниловка. Ставка техника семьдесят пять рублей, но, поскольку ясно, что за эти деньги никакой конструктор работать не будет, то технику-конструктору платят сто двадцать рублей и инженеру-конструктору тоже платят сто двадцать рублей. Кроме того, одну и ту же зарплату платят тому, кто, что греха таить, большую часть дня перебирает бумажки, размышляя о вещах, с производством турбин не связанных, и тому, кто работает поистине в поте лица. Так какой же стимул, кроме профессиональной совести, у этого последнего прикладывать усилия к тому, чтобы лицо его потело?..

Конструкторское бюро — служба главного инженера. Главный инженер обязан знать, чем занимается и на что способен каждый его конструктор, но он же должен иметь возможность, в пределах отпущенного фонда зарплаты, определить, какой ставки заслуживает тот или этот конструктор, и разрыв между ставками должен быть ощутимым. Главный инженер должен иметь право избавиться от балласта: сократить столько работников, сколько он считает нужным. Об этом говорится и пишется давно, вопрос вроде бы ясен, возражения против такой разумной реформы весьма стереотипны: «могут быть злоупотребления». Могут быть. Но там, где они «могут быть», они уже есть в той или иной скрытой форме. Если же исходить не из принципа, что «все черненькие, все прыгают», а из того, что разумный главный инженер заботится о благе своего завода (из которого истекают его личные блага) — и потому заинтересован иметь сильное конструкторское бюро, то возражения отпадают, как не имеющие под собой почвы. На мой взгляд, только такая радикальная мера может всколыхнуть сонное царство, установившееся в иных конструкторских и технологических бюро: там человек

отсидживает часы, не дает никакой отдачи, себя не обрабатывает.

Металлический завод первым среди промышленных предприятий Союза приобрел в 1959 году электронную вычислительную машину «Урал-1», с помощью которой были механизированы расчеты по проектированию турбин. Расчеты эти раньше производила вручную армия расчетчиков. Красноярские и Братские турбины были обчисланы уже на машине. Кроме высвобождения значительной части служащих завод выиграл в точности и надежности расчетов, в повышении КПД выпускаемых турбин. Машина делала двести — триста вариантов расчетов, сама оценивала и отбирала наилучший. «Урал-1» была ламповой, возможности ее скоро исчерпались, в 1967 году завод приобрел «Минск-22» и «Наири», в 1968 году они были установлены и введены в эксплуатацию. За год экономии от применения этих машин было получено 179,5 тысячи рублей, тогда как затраты на приобретение и монтаж составили 180 тысяч рублей — короче говоря, эти машины окупили себя в первый же год.

На заводе ведутся работы по переводу производства на машинное управление. Дело это в условиях производства мелкосерийного довольно сложное: слишком большой объем оперативной информации по разным изделиям, выпускаемым заводом, нужно зашифровать, перенести на перфокарты и магнитные ленты, составить справочники и т. д. Работы рассчитаны приблизительно на три года, однако эффект ожидается большой.

Дело не только в условном высвобождении какого-то количества людей, да и наивно полагать, что эти люди (плановики, экономисты, бухгалтера) останутся после внедрения ЭВМ без дела. Задача ЭВМ — сокращение темпов роста управленческого аппарата. Сейчас в стране число управленческих работников растет в два-три раза быстрее, чем число производственных рабочих. При старых методах обработки все возрастающей оперативной информации численность аппарата грозит значительно превысить число непосредственно занятых в производстве рабочих, а значит, и сильно удорожить выпускаемую продукцию, снизить рентабельность производства.

Уже сейчас на ЭВМ обсчитываются заявки на нормы расхода материалов по новым видам изделий — на машине расчеты занимают несколько часов, техотдел же считал обычно полгода. С помощью ЭВМ будет быстро и точно рассчитано, какой предельно допустимый запас инструмента, материалов и «метизов» должен быть на складах цехов: куда еще цеха себя дилетантски подстраховывают, поэтому некоторых материалов скапливается слишком много, других же не хватает. Будет подсчитана трудоемкость и календарная длительность обработки каждого узла серийных машин, значит, будет точно определен день запуска в производство наиболее трудоемких деталей, день поступления узла на сборку и т. д. Следовательно, будут расставлены какие-то опорные вехи, руководствуясь которыми можно будет вести научную борьбу с авралами, штурмовщиной, неразберихой в производстве. С помощью ЭВМ будет вестись учет труда и зарплаты, учет работы транспорта и учет незавершенного производства; финансово-расчетные операции и учет основных средств, учет готовой продукции... Без кропотливого труда сотен людей, которые могут ошибаться как сознательно, так и бессознательно, будет дана точнейшая картина жизни завода, ее можно будет ежедневно корректировать, каждый руководитель в любой момент будет иметь ее перед глазами. И тогда уместно будет вспомнить, что самая современная ЭВМ — только инструмент в руках людей. Этот инструмент может что-то выявить, объяснить, подсказать, но он не может приказать, он не может за руководителя принять решение и скрупулезно провести его в жизнь.

Бороться со всем тем мелким и вроде бы незначительным, не принимавшимся когда-то во внимание в свете грандиозности ежедневно свершаемого, — со всем, что всплыло и всплывает на поверхность при переводе предприятий на новую систему планирования, дело людей, ЭВМ тут бессильна.

**4** — Как практически в вашем цехе выразился эффект от внедрения новой системы планирования? — спрашиваю я заместителя начальника ПРБ цеха паровых турбин Короленко.

У Короленко грубовато-умное лицо «человека из низов», возле узких губ — скептическая складочка. В этом цехе он работает тридцать лет, начинал с рабочего, в планово-расчетном бюро — шестнадцать лет.

— Ярко выразился, — отвечает Николай Анисимович. — Раньше нам засчитывали выполнение плана, если турбина испытана на стенде. Сколько ее потом там разбирают, упаковывают, сколько она у нас валяется в пролете — неважно. Сейчас выполнение плана считается, когда турбина погружена на платформу. Сроки отгрузки сократились так: по турбине К-300 — раньше девяносто дней, теперь двадцать пять — тридцать; по турбине К-200 — раньше шестьдесят дней, теперь двадцать — двадцать пять. Ну, а с экспортными и того быстрее: нам процент премиальных особый по ним платят. Для ГДР турбину в субботу тринадцатого испытали, двадцать четвертого должны отгрузить...

Простое, казалось бы, лежащее на поверхности решение, а додумались экономисты до него вот только сейчас... Впрочем, говорят, самое простое решение всегда самое трудное... Подействовала новая система выплаты премий цехам и на прохождение деталей в механической обработке: узлы на сборку теперь сдаются комплектом, начальники участков имеют так называемые «дефицитки» — список деталей, потребных на тот или иной узел выпускаемой турбины. Ну и следят, естественно, за поступлением и прохождением этих деталей...

Ритмичность выпуска товарной продукции в связи со всеми этими мероприятиями улучшилась по заводу: в 1964 году, например, в первой декаде отгружалось 9,6 процента продукции, в 1969 — уже 24,8 процента. Однако половина месячной продукции все еще продолжает отгружаться в третьей декаде.

— Эффект есть... — продолжает Короленко. — Однако то, что на поверхности было, начинаем съедать, а в глубину пока не проникли... Например, вот: заготовительные цеха дают нам заготовки на полгода. Ну-ка поставь их все на обработку, какой бы эффект?.. (Сокращение подготовительного времени на смену приспособлений и инструмента, на освоение рабочим чертежа и т. д.). А мы вынуждены дробить на месячную потребность, гнать на выпуск...

Не далее как сегодня утром, когда я подошла к станку Малышева, он мне раздраженно объяснил, что старший мастер дал ему обрабатывать десять «колец на диафрагму». Оправку он устанавливал тридцать пять минут да десять минут ждал кран, чтобы ее установить, обрабатывать эти кольца он будет минут пятьдесят, стоят они по пятаку комплект. На две турбины (месячная потребность) их идет девятнадцать комплектов. Дали бы в работу полугодовую потребность — и на склад. И Малышев заработал бы пятерку, а не полтинник (при той же затрате вспомогательного времени), и сэкономилось бы этого вспомогательного времени (45 минут×12 турбин≈9 часов!..) очень даже лично...

Кольца на диафрагму — цветное литье. Желтая стружка, меланхолически сдираемая резцом с кольца, сама собой кудрявится, свертывается компактным комочком, Малышев отбрасывает его крючком в общую кучу чернометаллической стружки. Я не поленилась взвесить этот компактный комочек — пятьдесят граммов с каждого комплекта. За сбор цветной стружки Малышеву не только не платят, но никто его и не просит ее собирать. Что там — комочек!.. А ну-ка запусти сразу полугодовую потребность — почти шесть килограммов цветной стружки. Уже есть смысл и собирать ее, и платить за то, что собирают. В немецких гостиницах, например, очески волос постояльцев собирают и набивают ими матрасы, ну, а мы люди богатые, страна у нас большая, зачем нам мелочиться, собирать килограммы отходов цветных металлов — подумаешь!..

— ...Я вам вот что расскажу,— продолжает Королев отвечать на мой вопрос, почему это на заводе мне довольно часто встречаются не только рабочие, но и начальники участков, от которых крепко пахнет спиртным. В те времена, когда я работала на заводе, такого вроде бы не было.— Например, в эту субботу мы экспортную турбину испытывали, надо было попросить карщика выйти, кое-какие детали из термички привезти. Я бы и сам мог привезти, но прав карщика у меня нет, а за техникой безопасности сейчас на заводе особо пристально следят. Прошу. Он в Зеленогорске живет, а приезжать ему надо на два-три часа всего. Он мне

сразу: восемь часов (сверхурочных) буду иметь? Народ теперь избалованный, сами балуем... Восемь, говорю, я тебе не обещаю, а «пятерочку» будешь иметь, ну и временные за проработанное... Договорились. Теперь, коли уж я обещал, то «пятерку» мне эту вынь да положь, придется просить из фонда премий начальника цеха. И считайте, сколько таких «пятерочек» набирается и сколько там этого фонда остается для настоящих премий! А главное, у такого переработчика за месяц тоже скопится по «пятерочкам» рублей двадцать пять — тридцать, ни жена про них не знает, никто. И рассуждает он так: «Если я ее за два часа заработал, эту «пятерочку» — чего бы мне ее за полчаса не пропить?..»

Может, прав Короленко, может, такие рассуждения среди некоторой части рабочих и «имеют место», однако дело не только в этом. Дело, конечно, в злополучном отсутствии «подпора» за воротами завода, когда к прогульщику и пьянице стесняются применить существующие меры наказания, потому что его, увы, нечем замечить. А такое попустительство действует разлагающе и на остальных рабочих.

Действует разлагающе на рабочего и «гонка на выпуск», когда он знает, что общие потери времени никого не заботят, лишь бы вот сейчас, ко времени вывернуться, переработать сверхурочно — дать на сборку. Будут премии, а там — хоть трава не расти. Пошел, к примеру, Малышев за плоскогубцами, подправить замявшийся край «кольца на диафрагму», постоял, поболтал у шкафчика рабочего, у которого он эти плоскогубцы брал, минут семь. А если бы все рабочее время было на счету, на виду, прозрачно? Если бы работали по сетевому графику (как когда выпускали юбилейную турбину ПВК-800), если бы — что самое главное — рабочий точно знал всегда, что он будет делать сейчас, что через три часа, что завтра, а что через неделю... Когда внутренне планируешь свое время, свою занятость, волей-неволей бережешь его.

— Вот мы в метро не плюем на пол, — приводит мне Малышев избитый, но неотразимый аргумент.

И правда ведь, не плюем.

Из той же самой, въевшейся в психологию ИТР традиции смотреть на производство турбин, как на уникаль-



ное (стране нужно, значит, любой ценой надо дать!), хотя основные виды продукции, выпускаемой заводом, давным-давно стали серийными, строго плановыми, да и вообще сейчас, слава богу, промышленность встала на плановые, а не на авральные рельсы,— происходит и нежелание некоторых технологов и конструкторов в иных случаях считать деньги, заглядывать в завтра.

Вот цитаты из выступлений на цеховом собрании:

— ...На станке дают только пятый класс, а по чертежам нужно шестой. Нашли конструктора выход, ввели ручную шабровку, как до революции!..

— ...И вписали в технологию шабровку торца...

— ...Нету дня, чтобы из конструкторского бюро не спускалось извещений о каком-то изменении...

— ...На зуборезном станке рейки не получают шестой класс—дают третий класс. Надо бы шлифовать. А технологи поставили слесарей: пусть зачистят!..

— ...Сверлильные станки на грани полного износа. Без отдыха работает уникальное оборудование, недостает высококвалифицированных ремонтников...

Надо отдать должное заводским экономистам, они серьезно продумали меры поощрения, связанные с новой системой планирования. Например, для слесаря-ремонтника, в зависимости от сложности станка, устанавливается гарантийный срок (10—15 месяцев), если станок по истечении гарантийного срока работает безаварийно, слесарю выплачивается премия. Первый год после введения новой системы оплаты слесари не чувствовали заинтересованности, теперь же, естественно, поняли. Беда, однако, в том, что на заводе осталось не так уж много высококвалифицированных слесарей, которым под силу быть на «ты» с уникальнейшим, сложнейшим оборудованием, на котором обрабатываются детали паровых турбин... Дело все в том же отсутствии «подпора у ворот», о котором подробнее я буду говорить позже.

Надо сказать, что на заводе некоторые уникальные станки износились уже, ремонтировать их бесполезно и неплохо бы заменить новыми, более совершенными. Новую технику завод приобретает, но существует лимит, превышение лимита влияет на плановую рентабель-

ность — а рентабельность сейчас, естественно, один из основных показателей работы предприятия. И вот вводится шабровка, ручные операции, очень удорожающие производство, но по другой, менее жесткой статье. Руководство завода вынуждено закрывать на это глаза.

Надо бы также в цехе паровых турбин построить новую раздевалку, та, что существует, по выражению выступавшего на собрании карусельщика Демидова, никак не соответствует фирме с мировым именем. Надо бы расширить столовую в цехе, надо бы построить хороший склад. Нет денег. Завод жмется, чтобы уложиться в плановую рентабельность, старается не смотреть не только в будущее, но и в настоящее: в том, что уволился тот рабочий, разговор с которым я слышала в отделе кадров, в том, что уволился подручный Медведева и многие другие, может быть, немаловажную роль сыграла теснота и духота в столовой, тесная, неудобная, еще военного времени раздевалка...

**5** «...6.10 — снятие детали.

7.15 — смену сдал. Демидов,

7.15 — смену принял. Ховалов.

8.30 — снятие детали, отжим кубарей, снятие их и уборка крепления, стружки.

14.00 — установка детали, центровка, крепление.

20.00 — смену сдал. Ховалов.

23.00 — центровка.

1.00 — правый ход.

Паша, риска дана в р-р 12 108, то есть она сделана в нуле. Детали отцентрованы по горизонту, и нижнее окончание рисок в нуле. Ради любопытства можно посмотреть отклонение верхних точек. Ховалов.

Убрать подвал.

Убран!!!»

Это «Журнал учета работы карусельного станка», того самого, диаметр планшайбы у которого 19 тысяч миллиметров.

Начальник участка Богданов, встав на какое-то удобное для обзора всего станка место, говорит мне, торжествуя улыбаясь:

— Здесь — самая знаменитая на нашем заводе точка. Все государственные деятели, наши и зарубежные, которые в Ленинграде были, на этом месте постояли. В Советском Союзе существуют только два таких станка. Так что вот, почувствуйте.

Я становлюсь на знаменитую точку, проникаюсь ответственностью минуты, смотрю на «девятнадцатиметровый» с почтением. Собственно, это Толя Прокофьев меня навел на мысль, что возле девятнадцатиметрового надо-таки побывать не на бегу.

— А девятнадцатиметровый вы видели? — спросил он меня. — Ну и станок, ой-ой!

Это Кузьмич водил его в первый пролет на экскурсию, он всерьез и обстоятельно занимается приобщением своего подручного к заводской жизни.

Впечатление, конечно, остается серьезное даже просто от обозрения станка, не вникая в его работу. Думаю, что многие, кто когда-либо писал о «девятнадцатиметровом», сравнивали его с пароходом, кораблем и т. д. Не удержусь и я от столь близкого, но столь похожего сравнения. В верхней своей части он действительно — закопченный, промасленный корабль с двумя высокими трубами, с верхней палубой, по которой ходят подручные, наблюдают сверху за режимом работы резцов (деталь, что вращается на планшайбе, — два человеческих роста, не заглянешь), макают в ведро с маслом швабру и густо мажут вращающуюся штангу. Детали тут обрабатываются по три, а то и по пять дней подряд, поэтому работают бригадой. Одна смена начинает обработку, следующая продолжает и так далее. Для того и журнал вахтенный ведется.

Когда вращается большая планшайба, кажется, что идет круг на сцене с установленными декорациями к пьесе о геологах. Установка и закрепление деталей, их центровка требует тут большой физической силы. Когда подручные и главный карусельщик таскают тяжелые кубари и зажимы, когда затягивают огромные болты, пот льет с них градом в самом не декоративном значении этого сравнения. Резцы тоже трудно устанавливать: весит такой резец 10—15 килограммов, рабочий забирается с ними на мостик, потом спускается сверху на деталь — практика для альпинистов. Зато после, когда станок

пущен и все в порядке, нужно только следить, чтобы не нарушался режим работы.

— Я специально сюда подручным попросился,— говорит Олег Герасимов.— Заниматься можно. Я в институте на вечернем учусь. Особенно в ночную смену хорошо: сиди, читай...

Карусельщик в этой смене Демидов Павел Михайлович, невысокий, крепкий, темноглазый, сквозь полосы металлической пыли на лице просвечивает румянец. На вид ему можно дать лет тридцать пять, на самом деле ему сорок восемь. Он депутат горсовета, вообще человек, активно относящийся к окружающему. Особенности работы на девятнадцатиметровой карусели позволяют Демидову сочетать производственную деятельность с общественной, ибо свободного времени как такового у рабочих тут нет: карусель, опять же по той самой причине отсутствия «подпора» у заводских ворот, работает в две смены, по двенадцать часов. Что делать, турбины выпускать надо...

— Так что какой уж тут спорт! — говорит мне, усмехаясь, Павел Михайлович. На мысль о спорте меня навела его подтянутая крепкая фигура и молодость.— С работы — и на работу... Раньше да, увлекался.— Слазив наверх и чего-то там посмотрев, он снова возвращается к столику и продолжает: — Учиться надо было, сейчас так себя ругаю! И возможности были. Вон Богданов тоже когда-то работал на этой карусели, сейчас начальник участка... Кончил курсы мастеров, техникум. А я дурака провалял!

Я возражаю, что Владимир Степанович Богданов, хотя и помоложе Давыдова, выглядит гораздо старше: ответственность, нервы... А тут особой ответственности нет, опора под ногами твердая, а зарплата повыше, чем у Богданова. Карусельщик получает рублей триста, а то и больше. Подручные получают по сто двадцать, сто пятьдесят рублей.

— Все верно,— отвечает мне Давыдов.— Только Богданов восемь часов отработал, руки вымыл — и гуляй. Субботу тоже свободен, а мы работаем.

Если дело только за этим, то Василий Кузьмич со своим сменщиком или Малышев — тоже восемь часов отработали, руки вымыли (особенно если новую разде-

валку с хорошим душем построят) — и свободны. Субботу они тоже гуляют. Станки у них не уникальные, обычные, работают в две смены, по восемь часов. Получают же они более чем по двести рублей — выше, чем зарплата мастера, рядового технолога или конструктора. Живет Василий Кузьмич в пригороде, возле дома у него садик, огород.

— Раньше все окрестные леса наши с женой были! — говорит Василий Кузьмич. — Ягоды, грибы первые, все... Сейчас вот ноги болеть стали, плохой я стал ходок.

Другое дело, что у Демидова есть вкус к организаторской, руководящей работе. В горсовете им не нахвалятся: ни одной просьбы, ни одной жалобы без ответа, без разбора не оставлял, по собственной инициативе ревизии в магазинах делал — общественный деятель, руководитель по призванию. Но и тут, выходит, весь вопрос упирается в рабочие кадры, в нормальную сменность, в вопрос затянувшейся авральности...

**6** «Нам представляется наиболее обоснованным понимать проблему профориентации, как частный аспект проблемы научного управления социальными процессами... Было бы грубой ошибкой понимать здесь термин «управление» упрощенно, отождествляя его с принуждением. Более того, управляющие воздействия на мотивы выбора профессии должны стоять на уровне искусства, высшего социально-педагогического мастерства. Без соблюдения этого важнейшего условия проблема принципиально неразрешима.

...Строго говоря, у нас в стране традиционно сложилась некоторая система профориентации, которая действует очень стабильно и надежно. Недаром из года в год социологи получают одни и те же сведения, а именно: молодежь стремится в очень ограниченный круг профессий, не обязательно даже наиболее высокооплачиваемых, но окруженных ореолом социального престижа, романтики и обычно связанных с получением высшего образования...»

Эту длинную цитату я взяла из книги «Проблемы профессиональной ориентации в СССР и за рубежом», изданной Всесоюзным научно-исследовательским инсти-

тутом профессионально-технического образования в Ленинграде в прошлом году.

Долгое время такое важное дело, как профориентация, у нас было пущено на самотек, сейчас этим начинают заниматься, но в раскачку, главным образом на общественных началах, дилетантски. А проблема из важнейших, решение ее отлагательства, увы, не терпит. Судя по библиографии, которая приводится в вышеуказанной книге, проблемами этими занимаются в Париже и Лондоне, в Вашингтоне и Дрездене — во всех высокоразвитых странах сейчас встает на повестку дня проблема кадров в специфических областях промышленности.

Я разговаривала в ленинградском горкоме партии с заведующей отделом школ Ниной Михайловной Марковой. Надо сказать, что ленинградский горком много сделал для того, чтобы перевести проблему профориентации молодежи с рельсов дилетантских, типа благих пожеланий «надо, надо!..», на рельсы практические. Был создан координационный совет, в состав которого вошли профсоюзные, советские, комсомольские, хозяйственные работники, ученые, учителя, журналисты и т. д. При каждом райкоме комсомола созданы консультационные пункты с психологом, врачом, консультантом-специалистом и т. д., созданы опорные экспериментальные школы, горком настоял, чтобы в план научных работ педагогического института имени А. И. Герцена и в планы ленинградского университета были включены работы по проблемам профориентации. Нина Михайловна рассказала мне, что в Ленинграде есть великолепные профессионально-технические училища, которые по подбору преподавателей и постановке обучения не уступят любой десятилетке. Однако новых училищ строится пока мало, кроме того, нет и хорошего проекта зданий для профессионально-технических училищ. Трудно разрешима и проблема кадров преподавателей-специалистов. Почему, например, из одной, не специальной школы выходят историки, из другой — биологи, из третьей — математики? Выясняется, что было влияние талантливого педагога-предметника. Вот и для спецпредметов в техучилищах тоже необходимы кадры таких талантливых профессионалов, которые были бы не только мастерами сво-

его дела, но и умели бы передать ребятам любовь к работе.

Все это правильно, только мне хочется напомнить, что в конце двадцатых и в начале тридцатых годов тоже велась широкая кампания по профорientации, однако потом это движение дискредитировало себя так, что в ближайшие двадцать лет никто не хотел, чтобы его даже заподозрили в причастности к нему. Проблема эта очень сложная и тонкая, важно не допустить, чтобы к ней под шумок прилепились вездесущие люди с холодным сердцем, но бойким пером и языком...

## СОДЕРЖАНИЕ

Сибирь, годы 1954—1957 . . . . .	5
Байкал, год 1963 . . . . .	103
Памир, год 1965 . . . . .	151
Острова, год 1967 . . . . .	169
Подборовье, Самолва, Волково, год 1969 .	261
Старики, год 1970 . . . . .	334
На Ленинградском металлическом, год 1970	353



*Ганина Майя Анатольевна*

## К СЕБЕ ВОЗВРАЩАЮСЬ ИЗДАЛЕКА...

М., «Советский писатель», 1971, 376 стр. План выпуска 1971 г. № 18. Художник *Б. В. Воронов*. Редактор *М. А. Тучина*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*. Техн. редактор *И. М. Минская*. Корректоры: *С. И. Малкина* и *И. Ф. Сологуб*. Сдано в набор 15/XII 1970 г. Подписано к печати 11/VI 1971 г. А09080. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> № 1. Печ. л. 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> п. л. вкл. (20,58). Уч.-изд. л. 20,18. Тираж 30 000 экз. Заказ № 21. Цена 85 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

OCR Давид Титиевский, апрель 2020 г., Хайфа

85 коп.

